ISSN 0130-6545

ИЛ ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

2015
4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

“БЕРЛИН — МОСКВА: ИСТОРИЯ ПО ПАМЯТИ”

Основан в 1955 году

Издание номера осуществлено при финансовой поддержке
Немецкого культурного Центра имени Гёте
при Посольстве Германии в Москве

Россия Deutschland 2014 / 2015

ГОД НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

GOETHE INSTITUT

В этом номере больше истории, чем литературы. Немецкой истории. Не той, о которой мы узнаем из многих наших учебников, с "фальсификациями" которой борются свежесозданные комиссии. История, к которой мы обращаемся, – это история, рассказанная по памяти. Наши авторы – люди разного социального происхождения, с различными убеждениями и разнообразным жизненным опытом. Все они рассказывают о событиях, которым стали свидетелями. Исключение составляют главы из книги журналиста Алоиза Принца. О побеге Ханны Арендт из французского лагеря и о скандале, который разразился после выхода ее книги об Эйхмане, мы узнаем не от нее самой, а от автора. Впрочем, Ханна Арендт интересна нам не только как свидетель истории, но и как человек, попытавшийся осмыслить причины происходивших событий.

Мы начинаем с фрагментов автобиографической книги Анны Вимшнайдер "Осеннее молоко". "Эта книга – документ особого рода, который показывает, что пятьдесят и пятьсот лет назад жизнь в Германии была одинаковой". Так корреспондент журнала "Дер Шпигель" Фриц Румлер охарактеризовал воспоминания Вимшнайдер сразу после их публикации в 1985 году. За последующие десять лет было продано более двух миллионов экземпляров этой книги. Почему же книга стала бестселлером? Конечно, сыграло свою роль человеческое обаяние рассказчицы, которая простым языком описывает свою нелегкую жизнь. И все же дело не только в ней. Румлер отметил в этой книге, вероятно, самое главное: воспоминания простой баварской крестьянки – это в первую очередь документ исторический. Благодаря им вдруг выяснилось, что всего несколько десятилетий назад в Германии жили как в Средневековье. Конечно, разговор о жестокостях военного времени для немцев уже давно стал привычным, но война в книге Вимшнайдер занимала лишь малую часть, а мучения простая крестьянская девушка претерпевала каждый день, в самое что ни на есть мирное время. Читая эту небольшую книгу, написанную женщиной, в равной степени чуждой исторической науке и высокой литературе, к тому же никогда не покидавшей Баварию, немецкое общество узнавало нечто важное о собственной истории, заполняло лакуны своей памяти.

Воспоминания Вимшнайдер дают идеальный материал для изучения прошлого методом так называемой устной истории (Oral history), предполагающим обращение прежде всего к живым свидетельствам участников событий. Этот метод был разработан американскими и английскими историками в 1930–1940-е годы. В Германии стал активно использоваться в конце 1970-х, его популяризация связана прежде всего с именем Лутца Нитхаммера, который, опрашивая очевидцев исторических событий, изучал механизмы коллективной памяти. В начале третьего тысячелетия немецкие ученые проводили исследование, названное позднее "Мой дедушка не был нацистом" (Х. Вальцер, К. Ленц. Поколение дедов в Европе / Перевод А. Ярина // Отечественные записки, 2008, № 5). Историки беседовали с молодыми немцами и пришли к выводу, что семейным рассказам опрошенные доверяют больше, нежели официаль-

ной версии прошлого. Как выразился один из участников опроса: "Все, что положено, мы узнаем в школе, а примеры из жизни потом рассказывает бабушка". И хотя молодые люди хорошо осведомлены о преступлениях нацистов, они склонны обелять своих родственников, полагая, что их-то деды в злодеяниях не участвовали, а то и пытались их предотвратить. Об этом, самом травматичном, периоде немецкой истории в нашем номере рассказывают писатели, чье школьное детство пришлось на годы Третьего рейха. Читая эти воспоминания, мы, сегодняшние читатели, можем судить, как важно многим авторам, по прошествии стольких лет описывающим свои детские впечатления, подчеркнуть: ни родители, ни они сами не одобряли нацизм. Так, Георг Хензель не забывает сказать, с какой неохотой они с мальчишками плелись к эстакаде, где должны были приветствовать Гитлера, объезжавшего новый участок автобана.

Герои нашего номера рассказывают о прошлом, свидетелями которого они стали не только в Германии, но и в России. Немецкий военнопленный Герхард Никау вспоминает о своем кратковременном пребывании на Лубянке, о том, как был осужден без суда. Маргарит Бубер-Нойман, приехавшая в Москву вместе с мужем Хайнцем Нойманом, лидером немецких коммунистов, дает развернутую картину сталинского времени с его гнетущей атмосферой всеобщего страха и абсурда. При этом Бубер-Нойман описывает, как постепенно, шаг за шагом, у нее и у мужа открывались глаза. Как и Никау, Бубер-Нойман смотрит на происходящее взглядом постороннего, замечает много такого, что для советских людей давно стало привычным. Благодаря этим воспоминаниям мы, российские читатели, открываем много нового в своей истории, тем более что, в отличие от немцев, мало что о нем знаем от бабушек и дедушек.

Сопоставляя воспоминания немцев о России и Германии, мы улавливаем много общего в жизни двух стран, и особенно в эпоху Гитлера и Сталина. Как некогда посетители знаменитой выставки "Москва – Берлин – Берлин – Москва. 1900–1950", рассказывающей о стилистической близости двух тоталитарных режимов.

Черты советского прошлого обнаруживаются и в тексте Рюдигера фон Фрича, действующего посла Германии в России. Автор вспоминает, как он помог своему двоюродному брату и двум его друзьям бежать из ГДР на Запад. Он не упускает ни единой детали хитроумного плана и его подготовки – как подделывал паспорта, изготавливал фальшивые штемпели... По увлекательности этот рассказ не уступает остросюжетному детективу. При этом опасности, которым подвергаются герои, не придуманные, любая оплошность – и читатель это прекрасно понимает – может стоить им свободы, а то и жизни.

Редакция благодарит всех переводчиков, без чьей кропотливой работы этот номер бы не состоялся, и выражает особую признательность Гёте-институту за всяческую поддержку.

Елена Леенсон,
составитель номера

[4]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Берлин — Москва:
История по памяти

Сельская идиллия

5 Анна Вимшнайдер *Осеннее молоко.* Фрагменты книги. Перевод Елены Леенсон

Этапы заблуждения

43 Маргарет Бубер-Нойман *От Потсдама до Москвы.* Фрагменты книги. Перевод Дарьи Андреевой

Мешок на голове
Из книги "Мои школьные годы в Третьем рейхе"

101 Марсель Райх-Раницки *Годы в долг.* Перевод Ирины Алексеевой

111 Георг Хензель *Мешок на голове.* Перевод Ольги Теремковой

121 Йоахим Фест *Счастливые годы.* Перевод Анны Торгашиной

125 Гюнтер Кунерт *Мучение.* Перевод Анны Торгашиной

128 Барбара Кёниг *Упущенная возможность.* Перевод Марины Ивановой

Банальность зла

135 Герхард Никау *Закономерность или все же случайность?* Из книги "В ГУЛАГе". Перевод Веры Менис

162 Алоиз Принц *Ханна Арендт, или Любовь к Миру.* Главы из книги. Перевод Ирины Щербаковой

Бегство из рая

187 Рюдигер фон Фрич *Штемпель в свободный мир.* Главы из книги. Перевод Михаила Рудницкого

БиблиофИЛ

276 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Библиография

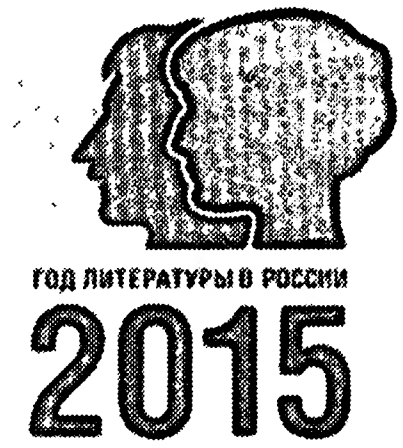
279 *Немецкая литература на страницах "ИЛ"* [2009—2014]

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Анна Вимшнайдер

Осеннее молоко

Фрагменты книги

Перевод Елены Леенсон

В районе Ротталь-Инн[1], с восточной стороны горы, на пологом склоне стоит крестьянский двор с девятью гектарами земли. В доме этом жили мои отец, мать, дед по матери да восемь детей. Старшего звали Франц, затем шли Михль и Ганс, потом я, старшая из двух девочек, следом за мной — Ресль, Альфонс, Зепп, а позже родился еще мальчик.

Нам, детям, жилось хорошо. Родители у нас были работящие, и дед по-прежнему работал, хотя ему уже перевалило за восемьдесят. Когда он брился опасной бритвой, мы сбегались посмотреть — это было очень смешно. Зеркало висело на стене, и, смотрясь в него, дед выделывал разные смешные гримасы. Коленом он опирался о скамью, а поскольку дед немножко дрожал, скамья издавала потешные звуки.

Весной мама наламывала прутьев и сгребала их в большую кучу перед воротами, и мы в этой куче играли, ползали, так

© Piper Verlag GmbH, Munich 1987
© Елена Леенсон. Перевод, 2015

1. Район в Баварии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

что, кроме копошащихся детей, там уже ничего не было видно. Еловые шишки у нас были лошадьми, сосновые — коровами, а желуди — свиньями. Из огромного куска коры мы делали двор, а из маленьких — телегу, чтоб потом с помощью нити или тоненькой бечевки впрягать в нее наших животных. Вместо колосьев у нас был подорожник, а его самые широкие листья служили нам еще и деньгами, вообще же у каждой из многочисленных трав было свое назначение, отчего наш игрушечный крестьянский двор становился богатым.

Родители не могли нарадоваться на своих детей. По вечерам мы чаще всего играли в салки да еще стряхивали с вишни бесчисленных майских жуков. Мы так увлекались, что идти спать совсем не хотелось. Как-то раз мама надела мне красивое красное бархатное платье, я уселась на тачку, и мы вместе с ней повезли пиво для тех, кто молотил[1]. Когда ехали обратно, то останавливались у каждого дома, и она меня всем показывала, потому что очень гордилась своей первой девочкой.

Однажды, не знаю почему, мама лежала в кровати, а мы, старшие дети, находились при ней на втором этаже. Слышно было, что внизу кто-то ссорится. Мама встала на колени в том месте, где из пола вынималась доска, и посмотрела вниз. Ссорились отец и дед. Дед принес воды из колодца за домом, а отец запер дверь, и дед не мог попасть в дом. Из-за этого произошла ссора.

Как-то раз мы играли особенно весело и бегали вокруг дома. Тут из дома вышла Фанни с лоханью и вылила много крови. Мы все ее обступили и стали расспрашивать: “Ой, ой, кого это зарезали?” Она сказала, что это от нашей матери. Что же это, разве маму зарезали? И мы все разом захотели к ней. Фанни сказала, чтоб мы пока были тут, она нам скажет, когда можно будет войти.

Мы стали ждать. Потом поднялись по лестнице на второй этаж. По пути встретили двух мужчин в белых халатах. В комнате еще были две наши соседки и отец. Все они плакали. Мама лежала на кровати с раскрытым ртом, грудь ее с хрипом вздымалась и опускалась. Тут же в кроватке лежал младенец и истошно кричал. Детям разрешили подойти к маме и каждому взяться за ее палец. А потом нас снова отослали играть. Вечером пришло много людей читать Розарий. Мама лежала при входе на возвышении. Ее красивые рыжие волосы были

1. Молотьба была тяжелой работой, которую делали сообща. Девушки и женщины традиционно привозили молотильщикам сытную пищу и легкое пиво.

уложены локонами, как она это всегда сама делала перед зеркалом. На ней были черное платье и туфли. Мы спросили, зачем ей туфли. Соседка сказала, что это старинный обычай, потому что роженицам приходится подниматься на небо по шипам. Соседи читали Розарий, им подносили хлеб и питье, и молитва продолжалась. Так шло два вечера.

В тот же день, как умерла мама, младенца забрала крестная мать, хотя она была бездетной и старой. Мы все хотели есть, но у нас ничего не было. Четверо младших детей улеглись на канапе — двое сзади и двое спереди, — положили под головы куртки и ими же укрылись. Мы, старшие, тоже взяли кое-что из одежды и устроились на деревянных скамьях — они стояли вдоль стен. Мы плакали, потому что у нас больше не было мамы, и от голода и горя мы уснули. Отец перенес нас спящих в кровати.

Отец сразу же стал искать себе помощницу, чтоб вела хозяйство. Пришла женщина и провела у нас две недели. Потом она достала все ведра и бадьи, что были в доме, поставила их на скамьи, замочила белье и ушла. Отец нашел еще одну, но и она пробыла у нас недолго. Как и первая, оставила белье в ведрах и исчезла. Наверное, закончить стирку помогли соседи. Но чтоб это белье кто-нибудь гладил, я не припомню. Тогда отец принялся искать себе новую жену. Но кого ни находил, оказывалось, что у невесты уже двое, а то и трое детей. Отец решил, что если он женится на такой, то его собственных детей будут держать в черном теле, а дети жены получат все наследство. Этого он не хотел. Так что он совсем оставил эти мысли. А мы по-прежнему ходили голодными.

Одну нашу соседку мама, умирая, попросила стать мне крестной. Та пришла к нам подоить коров и принесла полный фартук яблок. Дело было в середине лета — мама умерла 21 июля 1927 года.

* * *

Подошло время жатвы, больше всего работы теперь было в поле, и людям стало не до того, чтобы нам помогать. Тогда отец решил, что должен помочь себе сам. Ему ничего не оставалось, кроме как нас, детей, заставить работать.

Старшим был Франц — ему еще не исполнилось тринадцати, соседка показала ему, как доить коров. Затем шел Михль, одиннадцати лет, ему поручили чистить хлев. Другая соседка пришла учить меня стряпать, чинить одежду и нянчить младших детей. Мне было восемь. Третий по старшинству Ганс тоже должен был помогать. Кроме того, мы, старшие, кормили скотину. Вставали в пять утра, отец брал косу, Франц — тачку,

а мы с двумя братьями — грабли. Корм везли на тачке, и за час дело было сделано. Младшие дети в то время еще спали. Франц доил двух коров, которые были сговорчивее. Соседка же — двух своенравных. Я разжигала огонь, кипятила молоко, выливала его в миску, подсаливала и крошила туда хлеб. Мы вставали вкруг стола, читали утренние молитвы, "Отче наш", "Верую во единого Бога..." и просили за нашу маму. Бывало, что к этому времени просыпался кто-нибудь из младших, я бежала к нему, и на еду времени почти не оставалось. После завтрака благодарили Бога, снова произносили "Отче наш" и просили за маму. Мальчики уже были умыты и причесаны и перед школой успевали на церковную службу. Я же должна была сперва поднять самых маленьких, помочь им пописать, одеть их и накормить. Если малышам что-то не нравилось, они плакали. Дед еще оставался в постели. И только когда отец, покончив с работой в хлеву, возвращался домой, я могла отправляться в школу. До школы было четыре километра, я бежала со всех ног. Частенько мне приходилось останавливаться, потому что сильно кололо в боку, и нередко я прибегала уже к первой перемене. Остальные дети смеялись надо мной.

Вскоре мальчики решили, что всю работу по дому должна делать я одна, что не мужское это дело. Когда я возвращалась из школы, приходила мать Маередера и учила меня стряпне. Отец в моем присутствии ей сказал: "Если девчонка чего-то не поймет, дай ей оплеуху, она быстренько все запомнит". Дольше всего мы с ней стряпали по воскресеньям, потому что в эти дни не было занятий в школе. В девять лет я уже умела печь ронудель, дампфнудель[1], яблочный штрудель, готовить мясо и многое другое. Но поначалу я еще делала много ошибок — нередко приходил отец, заглядывал в печку и говорил: "Ну, девчонка, если не подбавишь огня, никогда мяса не изжаришь. И воды подлей, сколько тебе говорить?". И вот уже я получала затрещину. Мать Маередера тоже иногда меня бранила, но чтобы бить — никогда.

Во время работы мне приходилось ставить себе табуретку — я была так мала, что не могла заглянуть ни в одну кастрюлю. Чтоб подбавить огня — табуретку отодвигала, чтоб взять что-то из буфета — тащила ее с собой, и сколько же раз мне приходилось перетаскивать ее туда-сюда во время стряпни! <...>

Главной нашей пищей были молоко, картошка и хлеб. По вечерам я уже не могла как следует готовить — чаще всего в школе мы были с раннего утра и до четырех часов вечера, воз-

1. Ронудель и дампфнудель — виды дрожжевых пирожков, традиционных для баварской кухни.

вращались только в сумерках. Дома мы варили лишь огромную кастрюлю картошки для себя и свиней. Младшие дети с трудом дожидались, пока она сварится, и часто засыпали на канапе или прямо на жесткой лавке. Приходилось их будить, чтоб поели. Мы были так голодны и съедали столько картошки, что для свиней оставалось слишком мало. Отец нас за это бранил. Ганс как-то съел тринадцать картофелин, и отец сказал: “Ты что, совсем спятил? Жрешь больше свиньи”. <...>

Зимними вечерами мы жарко растапливали печку, и в доме становилось тепло. На втором этаже, прямо над печкой, стояла кафельная печь. Если топилась печь внизу, кафельная печка тоже нагревалась. Она имела форму подковы, и мы, дети, по очереди забирались в излучину. А если кто слишком засиживался, остальные его выпихивали — перед сном всем хотелось согреться. Отец клал на большую печь дощечку, а сам садился сверху, частенько после этого тянуло горелым — это были отцовские штаны. Отец любил покурить по вечерам короткую трубку. Над столом висела керосиновая лампа со стеклянным абажуром, и было очень уютно. Мы упрашивали отца рассказать нам зловещие истории о привидениях, убийствах и войне, в которой он участвовал. Дед вспоминал, как он на лошадях перевозил тяжелые, длиннющие бревна из Эггенфельдена в Пассау. Керосин в лампе постепенно выгорал, и чем темней становилось, тем мы делались оживленней. Мы ловили мышей и при этом пихались и толкались, было очень весело. От керосинового чада наши ноздри и подбородки чернели, и мы друг над другом смеялись.

Пока остальные слушали отца, мне полагалось корпеть над швейной машинкой и старательно ставить заплаты. Для этого требовалась маленькая керосиновая лампочка — она стояла в литровой кастрюльке, без нее я б не видела швов. Отец и все дети отправлялись в постель, а мне еще долго нельзя было закончить с шитьем, часов до десяти вечера. То и дело я засыпала от усталости, тогда отец стучал мне сверху и кричал: “Ну, чего там у тебя? Не слышу швейной машинки!” Я просыпалась и работала дальше. <...>

Пока не выпадал снег, мы ходили в деревянных башмаках, и, если кто-то завязал в грязи, остальные его вытаскивали. При входе в школу стояло множество таких башмаков, часто перепутанных, и, прежде чем каждый находил свою пару, происходила настоящая свалка. На уроках нередко сидели в мокрых чулках. Мы с сестрой вязали перчатки, но их всегда не хватало. Малышам они тоже были нужны, чтоб кататься на санках или лепить снеговика. И каждый день рвались штаны. Поэтому-то отец и заставлял меня штопать и чи-

нить до десяти часов вечера, когда остальные уже лежали в кроватях. Сам он тоже ложился. Если ж мне становилось невмоготу, я шла в кладовку, открывала дверь настежь и вставала за ней. Только там, за распахнутой дверью, я могла спрятаться от всех и хорошенько выплакаться.

Я плакала так горько, что мой передник насквозь промокал. В такие минуты я всегда думала о том, что у нас больше нет матери. И почему умерла именно наша мама, ведь у нее было так много детей? Потом я умывалась, чтоб меня не видели заплаканной. Бывало, кто-то спросит, почему фартук у меня мокрый и мятый, но я так никому и не открылась. Дважды в неделю в школе было рукоделие, в эти дни отец запихивал в мой ранец старые, а иногда и грязные штаны, чтоб я починила их в школе, он считал, что другим рукоделием мне заниматься не обязательно. Я стеснялась вытаскивать это рванье из ранца. Тогда подходила учительница и доставала сама. Дети смеялись, а мне было очень стыдно. У других была с собой вышивка, какие-нибудь красивые яркие вещи. Но учительница одергивала остальных девочек: “Радуйтесь, что у вас есть мать!” Три девочки были на моей стороне, они не смеялись, а жалели меня, потому что дома им все объяснили их мамы. <...>

На переменах я не могла играть с другими детьми, потому что у меня не было штанов. Я прислонялась к стенке и смотрела. Однажды ко мне подошла дочка учителя, она отвела меня на половину учителя и спросила, не могу ли я на перемене наполнить водой огромный бак в плите. Так я стала каждый день доверху наполнять этот бак, за что жена учителя меня кормила обедом. Как-то раз пришли другие дети и хотели меня прогнать, но она им не позволила. Еще она дарила мне кое-какие платья своей дочери. Тут уж все мне стали завидовать и называть учительской любимицей. Одно платье оказалось коротко, и отец взял и оторвал подпушку, так что все нитки вылезли наружу. Назавтра я как всегда наполняла бак на перемене, как вдруг за моей спиной раздался резкий голос жены пономаря: “Эй, неряха, ты уже достаточно большая, чтобы подшить себе юбку!”. Я посмотрела на свой подол и очень смутилась. На следующий день, проходя мимо, жена пономаря в упор посмотрела на мою юбку, но я уже все поправила. Отец говорил, что девочкам перчатки не нужны — по пути в школу мы можем прятать руки в передник. Но поскольку у нас не было ни штанов, ни нижних юбок, ни накидок, а только тоненькие платьица, нам было очень холодно. Мальчики одевались получше: у них были подштанники, а сверху — штаны на подтяжках. Сзади на штанах отстегивалось окошко, чтобы справлять нужду. Еще у них были куртки

из толстой материи, шапки и перчатки. Благодаря заплатам их одежда становилась еще теплей. Зимой и в дождливые дни мы ума не могли приложить, где бы нам все высушить, а переодеться было не во что. Новая одежда у нас появлялась редко. На Рождество мать Маередера приносила нам огромную корзину детских вещей и рождественское печенье. Это было важным событием, о котором помнили долго.

* * *

С наступлением весны нам становилось полегче. Отец и братья кормили скотину, я же доила коров. Но это было не просто. Я бралась обеими руками и прикладывала все свои силы, чтобы сцедить молоко с одного соска. В школу я уходила последней, потому что сперва нужно было позаботиться обо всех малышах. Из-за этого я регулярно опаздывала. Учитель относился ко мне с пониманием, чего нельзя сказать о священнике. Каждый день он бранил меня за то, что я опоздала к школьной молитве. Мол, могла бы и раньше вставать, ведь твои братья уже в сборе. Я очень расстраивалась, но поделать ничего не могла.

За то, что мы хорошо себя вели, весной каждому из нас разрешили выбрать какое-то животное. Франц и Михль получили маленького барашка — он родился в конце зимы, и пастух отдал его отцу. Этому пастуху и без того приходилось следить за четырьмя сотнями овец, когда он гнал их по нашему полю. Гансу разрешили ухаживать за голубями, которые к нам прилетели. Мы с сестрой — она была двумя годами меня младше — выбрали маленьких утят. Утятам сестры мы обрезали хвостики, чтоб отличать от моих. У каждого теперь была своя живность. Все мы прилежно кормили своих подопечных, чтоб они стали больше и краше, чем у остальных. Еще до того в доме жили кролики, кошки и собака — она была хорошо выдрессирована и к детям никого не подпускала.

Частенько нам приходилось вместе с отцом ходить в лес, собирать ветки, поваленные снегом и дождем. Самому старательному отец обещал два пфеннига, остальным — по одному. Если он и вправду давал деньги, что случалось не всегда, приходилось тратить их на грифели или карандаши. Лишних денег никогда не бывало, у отца в том числе. По-другому и быть не могло, когда тридцать яиц стоили марку, да и мало что получалось продать, ведь мы сами много съедали. Нередко являлся судебный исполнитель, потому что отец не мог платить налоги. Тогда нужно было показаться всем детям, и он уходил.

Из утят моей сестры ни один не вырос — все трое упали в колодец. Мои же выросли, и мы их съели. Хуже всего дело об-

стояло с барашком, который быстро рос и становился все сильнее. Мальчишки выучили его бодаться. Он и нас, детей, начал бодать, от чего мы падали на землю, а барану это очень нравилось. <...>

Однажды ко мне подошел директор школы и спросил, разрешат ли мне пойти на школьное представление. Братья сказали, что отцу платить нечем. Учитель обещал, что сам за все заплатит, и отец разрешил. Спектакль произвел на меня огромное впечатление. Это было единственное представление, на котором я побывала за все время учебы. Спектакль был о Гензель и Гретель. <...>

Обычно школу из нашей семьи одновременно посещали четверо детей, а тут выдался год, когда ходили пятеро. Но у нас по-прежнему было только четыре сборника хвалебных песен, которые требовались для школьной службы. А поскольку я все равно не часто на нее успевала, отец дал мне другой молитвенник. Как-то наш священник решил проверить, у всех ли детей есть с собой молитвенники и книги песен. Когда он приблизился ко мне, то сразу увидел, что у меня другая книга, поменьше. Велел подойти к нему. Я подошла. Он посмотрел на мой сборник и сказал: "Вы только посмотрите, у нее книжка не иначе как от Пресвятой Девы Марии!", швырнул книжку в сторону и своей тяжелой рукой отхлестал меня по обеим щекам так, что у меня шляпа слетела с головы. Свидетелями этому были все дети.

Домой я пришла заплаканная и все рассказала отцу. Отец заявил, что он этого так не оставит, и пошел в полицию. Полицейский пришел в школу и стал всех опрашивать. Родители, которые были дружны со священником, запретили своим детям давать показания, и те сказали, что ничего не видели. Но было довольно и честных родителей, чьи дети отвечали правдиво. До судебного разбирательства священник довести не дал, но обязался выплатить тридцать марок штрафа. В следующие два воскресенья он кричал во время проповеди, что начались гонения на церковь. Из-за этого некоторые женщины на меня косо смотрели, и мне было стыдно. Отец с невозмутимым видом сидел на своем месте. Я была ему так благодарна за то, что он встал на мою защиту. Он всегда был хорошим отцом. Священник же был бессердечным человеком, он и других детей нередко охаживал тяжелой дубинкой. <...>

Прежде, когда какой-нибудь крестьянский парень или девушка поступали на службу, полагалось кому-то из дома их провожать. У нас это всегда делал отец. Пошел он и с Михлем. Дело было на Сретенье, 2 февраля. Две рубашки, две пары чулок, две пары штанов, одна пара деревянных башмаков да то, что

на нем было, — вот и все имущество, которое Михль взял с собой. Час они с отцом шли пешком. Когда уже подходили ко двору, куда Михль нанимался в работники, отец совсем притих. Михль посмотрел на отца и увидел, что тот плачет. Михль тоже заплакал. И какую думу думал отец?.. Мальчишка был совсем невысок и не так уж и крепок. При таком обилии детей, как у нас, пищи всегда было в обрез, так что все недоедали. Когда отец пошел обратно, ему дали с собой буханку хлеба да еще какую-то выпечку. Каждое воскресенье Михль приходил домой постирать и починить белье. Эту работу делала я.

На одну, а затем на полторы марки, которые Михль получал, он долго ничего не мог себе купить. На первых порах с ним довольно грубо обходились, потому что он мало что умел. Как пришла весна, выросла первая трава, и настало время сенокоса, хозяин ему сказал: "Хорошо себя прояви, получше замахивайся косой, не то вылетишь — от тебя и так мало проку". К Михлю вечно придирались, и первый год был очень тяжел. Ни белья, ни велосипеда, ни башмаков — ничего у него не было.

У других братьев все шло так же. В комнатах для прислуги на стенах поблескивал иней, постельного белья обычно не полагалось, одеяло за ночь совсем промерзало. Резиновых сапог в то время еще не делали. Кто побогаче, мог позволить себе так называемые мангеймские сапоги, из свиной кожи на деревянной подошве.

Зимой многим приходилось идти в лес в деревянных башмаках. Конечно, снизу на носки нашивали заплатки из вельвета, и все равно было очень холодно — со штанов, да и с пяток свисали сосульки. Уходили в лес каждый день в полседьмого утра, вставали в половине пятого. Покончив с работой в хлеву, шли на улицу. Брали с собой длинные деревянные пилы, тяжелые топоры и прочий инструмент. Мотопил тогда еще не было. Пилили дерево обычной пилой, и, пока оно не падало, почти ничего не было слышно. Когда деревья уже были повалены, а ветви обрублены, приходили девушки собрать прутья. Покончив с работай в лесу, везли бревна и прутья домой — делали это на лошадях, на волах, а иногда и на коровах. Но прежде разрубали эти бревна на мелкие части. Тягачей еще не было, круглых пил тоже. Служанки вязали хворост. Дóма мужчины кололи дрова, а женщины клали их на просушку. Выкладывали бревнышко к бревнышку, и, если у кого штабель дров опрокидывался, это считалось очень стыдным. Такие случаи называли "крещением младенца".

Были добрые хозяева, но были и настоящие свиньи. Добрые относились к прислуге по-человечески. Остальные же в обеденное время посылали своих работников на ловлю кро-

тов. <...> Смеяться не разрешалось — полагалось быть вечно уставшим от работы.

Постирать белье и починить одежду девушки могли только вечером и по воскресеньям. И только хорошие хозяева позволяли для этой цели брать немного теплой воды, а нет — так приходилось стирать в холодной. Если штопка затягивалась, нужно было жечь свои собственные свечи. Так заведено было почти везде. Даже ткань, через которую цедят молоко, и ту приходилось стирать в холодной воде.

* * *

В один прекрасный день я обнаружила, что на груди у меня выросли два холмика. Я страшно перепугалась, но спросить ни у кого не решилась, чтоб не засмеяли. Я знать не знала, как это получается, но день ото дня они становились все больше. Каждый раз во время мытья оказывалось, что они еще подросли. Меня это очень беспокоило. На ощупь они были мягкими, и я решила, что внутри воздух. Открыла шкатулку с шитьем, достала тонкую иголку и проткнула себе грудь, чтобы воздух вышел наружу. Но это оказалось больно. Тогда я обрадовалась, что они хотя бы сами по себе не болят, и уж наверное Небесный Отец знает, зачем они нужны. Мне захотелось узнать, как у других женщин, есть ли у них такие же. Я стала внимательно смотреть по сторонам и увидела женщину, у которой эти холмики были даже намного больше, чем мои. Это меня чуть-чуть успокоило.

Как-то раз отец принес яиц директору школы. Его жена отдала нам груду старого тряпья, по большей части рваного. Но я-то могла все залатать. Так у меня появились первые штаны, правда, у них не доставало ширинки, и я ее вшила. Еще там были подушки — когда я их заштопала, они у нас стали самыми нарядными. Люди меня часто хвалили, потому что у нас всегда было прибрано, даже лучше, чем в некоторых домах, где были матери. Отец меня тоже хвалил. Отчего я становилась только прилежней. <...>

Однажды, когда мне было четырнадцать, у меня внезапно промокли штаны, и я подумала: это еще что? Мне же совсем не хотелось в туалет! А когда увидела, в чем дело, пришла в ужас. Святые угодники, я, наверное, скоро умру, подумала я и вспомнила о маме, у которой так же шла кровь, прежде чем она умерла. Я забралась в укромное местечко и горько заплакала. Через некоторое время меня хватились и стали повсюду искать: в хлеву, в доме, в сарае... Тогда я вышла из своего укрытия, и все увидели, что я зареванная. Стали меня спрашивать, что случилось. Я ответила, что это из-за сильных болей в животе. Отец сказал, мол, не так уж это и страшно, умереть ты не умрешь. Я

промолчала. Из старого коричневого одеяла я сделала себе шлепку и пришпилила ее безопасными булавками, а потом кровотечение само собой прекратилось. Я все выстирала и украдкой повесила сушиться вместе с другим бельем. Снова я была весела, потому что осталась живой. Правда, через некоторое время это началось снова, но так страшно мне уже не было — ведь после первого раза я не умерла.

Как-то я пришла за фунтом сахару к жене лавочника, которая была повивальной бабкой. Она стала расспрашивать, начались ли у меня уже кровотечения. Сказала, что это бывает у всех женщин, да еще подарила мне специальный ремешок и к нему — несколько женских накладок. Теперь я была во всеоружии, и к тому же мне кое-что объяснили.

Изредка заходили соседские дочки и прочие девушки рассказать о своем житье-бытье. Они ходили на танцы с братьями и работниками — по вечерам у нас играла гармоника, и все очень веселились. Я спросила у отца, не позволит ли он мне тоже пойти, но он не разрешил. Пока в доме останутся хоть одни драные штаны, ты у меня никуда не пойдешь, вот как он сказал. Поразмыслив, я поняла, что так мне никогда не уйти, ведь рваные штаны в доме были всегда, и очень расстроилась. Подруг у меня тоже не было, потому что я была очень бедна, все девушки говорили: быть тебе в девках, потому что вечно торчишь дома. Так прошло несколько лет.

* * *

Мне было уже восемнадцать, когда к отцу пришла мать Маередера и сказала, мол, у нас в доме будет свадьба, и ты должен отпустить туда дочку. Отец ответил, что отпустить меня не может, потому что иначе ему пришлось бы купить мне платье. На это мать Маередера сказала: “Сама куплю, а дочке твоей и так приходится много работать, хоть раз можно ее и порадовать”. Тогда отец все же сам купил новое платье, и мне в первый раз разрешили пойти на свадьбу.

Это была большая семья, поэтому гостей на свадьбу пришло очень много. Некоторых я знала по школе — и девушек, и парней. За соседним столиком сидел некто по имени Конрад. Я с ним была дружна еще со школы. Он пригласил меня на танец, хоть я и не умела танцевать. Во время перерыва к нам подошел его приятель. Оба всего несколько недель назад вернулись из трудовых отрядов[1], и Конрад взял с собой друга

1. В 1920-е гг. трудовая повинность в Германии была добровольной, а с июня 1935 г. — обязательной, для чего была создана Имперская служба труда.

на свадьбу. Звали того парня Альберт. Вышло так, что я и с ним немного потанцевала. После танцев они позвали меня за свой стол. Но сперва я должна была спросить у отца — он был неподалеку. Отец разрешил. За тем же столом сидело много молодых людей, они шумели, смеялись и шутили, мне тоже было очень весело. Они заплатили за мою закуску и всячески меня развлекали.

В течение вечера гости перешли в ближайший трактир и там стали пить еще больше. Каждому из приглашенных гостей полагалось выбрать себе девушку. Особенно почетным считалось, если тебя выберет шафер. Шафером был брат жениха, и его выбор пал на меня. Теперь я сидела на специальном месте, хоть и не могла понять, как это все получилось.

Поскольку моя сестра уже умела доить коров, а моей крестной было со мной по пути, то на празднике я могла оставаться допоздна. Тут вдруг оказалось, что Альберту, который уже не отходил от меня ни на шаг, идти той же дорогой, и я не возражала, чтоб он меня проводил. Крестная с мужем ушли далеко вперед, а мы с ним поотстали. Одной рукой Альберт вез велосипед, а другой держал мою руку — так мы дошли до нашего дома.

Была лунная ночь. У нашего сарая мы остановились. Долго разговаривали, а потом замолчали и поцеловались. Уж верно, мы пришлись друг другу по сердцу. Но в конце концов мне, да и Альберту, пришлось идти по домам. Точной дороги он не знал и пошел наудачу.

Я же в ту ночь долго не могла уснуть. Не без гордости думала о том, как хорошо я показала себя на свадьбе. И вот уже у меня появилась надежда — может, и мне когда-нибудь суждено выйти замуж, хоть соседские дочки уверяли, что об этом и думать не стоит. Долго и с радостью я вспоминала тот вечер, но никому ничего не сказала.

Как-то ночью ко мне под окно пришел один парень. Дело было к полуночи. Моя сестра спала со мной в одной комнате. Некоторое время он стучал и кричал, а я не обращала внимания. Но поскольку он не успокаивался, я, так и быть, открыла окно. Мы немножко поговорили, и тут он начал причитать, как на улице холодно, да как у него ноги замерзли, стал просить, чтоб я его пустила согреться в постели. Я в его слова не очень-то поверила, но он не унимался. Парень этот жил с нами по соседству, и я его хорошо знала. В конце концов я его пустила. В кровати нам обоим хватало места, но тут он подвинулся ближе и уже начал было распускать руки. Это мне совсем не понравилось. Я взялась за другой конец простыни и в нее завернулась. После этого он довольно скоро встал и пошел до-

мой. Сестра так крепко спала, что ничего не слышала, отец тоже. Назавтра было воскресенье, и я пошла в церковь. Перед церковью стояли парни и довольно громко подшучивали надо мной и моим вчерашним гостем. Оттого что я завернулась в простыню.

* * *

Об Альберте, который проводил меня со свадьбы домой, не было ни слуху ни духу. Так прошло месяцев девять. Однажды в солнечный воскресный день я отправилась на велосипеде в город, в церковь. Около фото-студии я остановилась и принялась разглядывать витрины. Тут подошли двое парней: один — мой родственник, а другой — Альберт. Но я его не узнала, ведь столько времени прошло, да и виделись мы всего один раз.

С этого момента мы с ним стали друзьями и каждое воскресенье встречались. Из церкви шли в трактир, ели там свиные колбаски с капустой, а после заглядывали в кондитерскую. Мы держались за руки и были очень счастливы. Я ждала, не могла дождаться следующего воскресенья. Теперь и он стал приходить под мое окно.

Позднее я даже разрешила ему с собой спать. Это стало для меня огромным событием, и я полюбила его еще больше. <...>

Как-то раз вечером в воскресенье неожиданно зашел Альберт. Я как раз занималась уборкой. Работа у меня никогда не заканчивалась. Ему стало меня очень жаль. С тех пор он приходил каждое воскресенье, и мальчики рассказали об этом отцу. Сестра же ничего не сказала. Отец очень рассердился и пригрозил, что если этот рыжий кобель — так он называл Альберта — придет снова, то ему не поздоровится. Все же в следующее воскресенье Альберт опять появился, он прошел прямо к отцу и назвал свое имя. Я тотчас вышла из комнаты и стала смотреть через дверную щель, чем все кончится. Но отец был не так уж и зол, вскоре они уже спокойно разговаривали, и я осмелилась войти. Альберт сказал, что у его семьи есть двор, который по размеру не уступает нашему. Сейчас там хозяевами — его тетка и двое дядьев, он же будет наследником. Его старикам уже под семьдесят, и можно надеяться, что нам с Альбертом дадут пожениться. После этих слов отец уже не возражал, чтобы Альберт приходил к нам по воскресеньям. Сестре Альберт приносил шоколад, а младшим братьям — инжир в сахаре, и все были довольны. <...>

Каждую Пасху священник делал в церкви наставления, готовил всех прихожан к пасхальной исповеди, люди при этом должны были стоять. С утра устраивали торжественную службу, потом священник долго говорил, как важно участво-

вать в этом стоянии. Незамужние девушки исповедовались в свой день, неженатые мужчины — в свой, отдельный день был и для семейных. Сначала священник долго взывал к нашей совести, потом, наконец-то, заходил в исповедальню, а мы выстраивались в ряд. Исповедоваться мы подходили по очереди — один человек с одного конца, другой — с другого. Иногда исповедь проводил другой священник, которого мы знали хуже, многие шли к нему гораздо охотней.

Сперва священник спрашивал имя, у семейных — число детей и сколько лет самому маленькому. Так он выяснял, не предохраняются ли супруги, что считалось смертным грехом. Если предохраняются, то в случае внезапной смерти попадут прямо в ад. Моя мама умерла при родах своего последнего ребенка, потому что не хотела попасть в ад. Хотя врач ее предупреждал, но она не хотела брать грех на душу. Теперь-де наша мама из вечности заботится о своих детях, а потому мы все стали взрослыми и совестливыми людьми.

Но не все женщины на исповеди были такими. Как-то одна из них довольно громко сказала: “Я вам не печка какая-нибудь, где только один хлеб спекся, а уж заталкивают другой”. Отпущения грехов она не получила и ушла ни с чем. Люди стояли к исповедальне совсем близко, да еще сторона, где иногда сидел помощник священника, была открыта, так что эти слова многие услышали, и пошли толки.

Один женатый человек признался в измене, это было всего хуже — для вящей убедительности святой отец громко крикнул: “Тебе уже ничто не поможет, тебя черти приберут!”. Так он этого мужчину перед всеми опозорил, что тот потом долгие годы не ходил в церковь. А ведь он не был скверным человеком и всякому помогал.

Меня священник спросил, не играла ли я со своими братьями, когда они были маленькими, — может, когда их купала или помогала им писать. Я не поняла, к чему он клонит, ведь для меня это была просто работа. Позднее, когда я уже познакомилась с Альбертом, то старалась исповедоваться в городе, где меня никто не знал. <...>

* * *

Наступил 1939 год, и некоторые заговорили о войне. В очередное воскресенье Альберт спросил, согласна ли я стать его женой. Поначалу я не могла в это поверить. А он тем временем попросил моей руки у отца. Отцу было не так-то просто меня отпустить, ведь он терял рабочие руки, а сестра еще не могла полностью меня заменить. Он сильно осерчал и ни за что не

хотел соглашаться. А поскольку я еще не была совершеннолетней, нужно было его письменное согласие. И я попросила совета у крестной. Та сказала: “С отцом я поговорю, но подумай хорошенько, у твоего Альберта дома четверо стариков”. Кроме двух дядьев и тетки, с ним еще жила мать — она переехала из городской квартиры, думая, что в деревне жизнь легче. Пока крестная говорила с отцом, я ждала у двери. “Радуйся, что устроил дочь, — сказала крестная. — Младшие уже подросли, день ото дня будет легче”. И отец дал согласие.

Мне еще не исполнилось двадцати одного, а Альберту было двадцать три. К счастью, мы всегда держали уток и гусей, и я смогла набить пару перин. А поскольку частенько я нанималась на поденную работу, кое-что у меня было отложено, я купила полотенец, простыней и белья, и мне не пришлось идти с пустыми руками. Для начала это было не так уж плохо — у девушек, которые росли с матерями, часто было не больше того.

Родные Альберта тоже поначалу противились свадьбе. Перед дядей ему даже пришлось встать на колени. Чтобы его старики легче согласились, я нанялась к ним собирать урожай, и прожила у них в семье неделю. Так они смогли меня лучше узнать, а я их. Но дядя Отто заметил, что между мной и Альбертом что-то не ладно, потому что наши ноги то и дело сталкивались под столом. Как только Альберт сказал, что я его невеста, меня все стали бранить, хотя прежде очень хвалили.

25 июля 1939 года Альберту отдали весь двор. 18 августа мы официально поженились, а 19 августа состоялось церковное венчание. <...>

* * *

Когда мы поженились, никаких торжеств не было и в помине. Мы пришли регистрироваться, служащий наскоро надел пиджак, а мы, в полной растерянности, присели на стулья с высокими спинками. Он начал что-то тараторить про брак в новую эпоху, когда за все мы должны благодарить нашего фюрера. Потом мы и свидетели расписались. Нам с Альбертом подарили альбом для семейной хроники, книгу Гитлера “Майн кампф” и месячную подписку на “Фёлькишер беобахтер”[1]. Газета занимала полстола, и заголовки не предвещали ничего хорошего. Когда спустя одиннадцать дней моего мужа забрали на фронт, она мне ничуть не помогла, в подарен-

1. “Фёлькишер беобахтер” (“Народный обозреватель”) — печатный орган НСДАП. Газета издавалась с 1920 г. по 30 апреля 1945 г.

ный альбом мы мало что успели записать, а книгу куда-то сунули, позднее ее купил коллекционер вместе с боевыми наградами мужа.

На следующий после регистрации день мы с отцом приехали в церковь на стареньком автомобиле, Альберт с дядей, который был свидетелем, добирались на автобусе. Священник сидел в трактире и выглядывал в окошко. Завидев нас, он вышел и надел ризу. Отслужил мессу и обвенчал нас. Церковь была вся в строительных лесах, внутри стояли пять бетономешалок, повсюду — разбросаны доски. Кроме нас в церкви была какая-то старая женщина с корзинкой в руке. Через полчаса дело было сделано, мы стали мужем и женой. В тот же день мы сменили нашу красивую одежду на обычную и принялись за работу. Ели то же, что и во все дни. Свадебной фотографии никто не сделал. Хоть брат моего мужа и собирался — он был хорошим фотографом, но на свадьбу не пришел. После обеда я мыла посуду, а муж чистил хлев. Вечером мы принесли с чердака две кровати, набили соломой два тюфяка и устроили себе супружескую постель. Дядя Отто спросил: “Ну что, подготовили уже себе рабочее место?” Мы смутились и прождали до вечера, пока все улягутся, и только потом сами пошли ложиться.

Мою мебель столяр привез только спустя три недели. В комнате, где ее хотели поставить, глиняная штукатурка во многих местах облупилась, и столяр не хотел вносить туда красивую мебель. Это был старый дом, на первом этаже — каменная кладка, на втором — деревянные балки, обмазанные глиной. В кухне — дырчатый цементный пол, посередине — деревянная колонна, которая подпирала потолок. Вокруг колонны соорудили круглый стол.

Семье Альберта этот дом достался непросто. В 1912 году они купили усадьбу вместе со всеми долгами. Пришлось им приложить немало сил и труда, прежде чем долги погасили. К северной стороне дома примыкал коровник, над которым был закром. В коровнике помещались три коровы, два вола, три свиньи и пять телят. По документам всем этим еще два года должен был владеть дядя Альберт, он же имел право на доходы.

Сегодня даже представить себе трудно, как мы были бедны, когда поженились. К такой нужде привыкают с малолетства, иначе не выдержать. Да еще с нами жили четверо стариков, трое из которых почти не ходили! Замужем из них раньше была только свекровь, и именно она особенно к нам ревновала. Больше всех по душе мне был дядя Отто. <...>

Мать мужа не хотела нашей свадьбы. Я же, наоборот, радовалась, что у меня теперь будет семья, и надеялась, что свекровь станет мне матерью. Но я горько разочаровалась.

Когда мы приехали с венчания и я вошла в дом, свекровь сказала: “Что ж, хорошего не жди, если она уж и в дом заходит с левой ноги”. А я и не знала, что это важно, иначе б, конечно, вошла с правой. Свекровь же хотела помешать нашей женитьбе, чтобы я не забирала у нее сына.

У обоих дядьев был вывих бедра, передвигались они только с палкой, и то с большим трудом. Тетя еще могла стряпать. Свекровь же совсем ничего не делала, но за мной следила очень внимательно. Еще у них была старая горбатая служанка с вывороченными наружу ногами. Ну а мы с мужем так усердно работали! Мы подбадривали друг друга и были уверены, что постепенно со всем справимся.

* * *

Еще не был убран урожай, и у соседей стояла молотилка, как вдруг в разгар дня по почте пришло известие, что мужа призывают в армию. Мы же собирались после уборки урожая устроить себе маленькое свадебное путешествие в Бад-Висзе, где жил мужнин брат. Теперь об этом нечего было и думать. Мы были женаты одиннадцать дней, когда моего мужа отправили в Шробенхаузен. В ночь после свадьбы я долго плакала, предчувствуя недоброе. Мой муж стал первым в округе, кого призвали на фронт, — с него начали. А я-то еще толком не знала, где у нас что растет, и вот уже мне пришлось все делать самой.

Я страшно рассердилась, что призвали именно моего мужа. И все потому, что он и четверо старших членов семьи не были нацистами! Другие молодые мужчины еще долго оставались дома. Летними вечерами наша соседка, нарядно одетая, прогуливалась вместе с мужем, а я не знала, за что мне хвататься, — это меня очень злило.

У Гитлера в наших краях было мало приверженцев — крестьяне были о нем невысокого мнения. И только после пожара в рейхстаге многие обрадовались, что он нас спас от коммунистов. Слово “коммунист” было худшим ругательством и остается по сей день.

После смены власти устроили выборы, на которых всех вынуждали голосовать “за”[1]. Перед входом на избирательный пункт стояли члены СА в форме и пришпиливали к одежде людей слово ДА из жести. Поскольку дядя Альберта ходить не мог, он на выборы поехал. В деревне его прозвали

1. По-видимому, речь о референдуме 12 ноября 1933 года, на котором решался вопрос о выходе Германии из Лиги Наций. Референдум был совмещен с выборами в рейхстаг.

Чернофрачником. Сосед за ним наблюдал, как он старается вложить бюллетень в конверт. У дяди была нервная болезнь, и у него сильно дрожала правая рука. Сосед сказал: "Ну что, небось черный фрак тебе мешает?" Рядом стоял офицер СА, но на шутку внимания не обратил.

Кое-кого из наших мест отправили в Дахау. Об этом перешептывались, но наверняка, конечно, ничего не было известно. Что времена изменились, мы поняли, когда в городе арестовали священника. Нищие исчезли, крестьян с большими долгами больше не заставляли все распродавать, если они поддержали новую власть.

Некоторые возвращались из Дахау, но ничего не рассказывали. У Альберта в Нойёттинге жил брат, тремя годами его старше, он был социал-демократом, и в марте 1933-го его заключили в Дахау. Через полгода его отпустили, поэтому я смогла об этом узнать.

Первое мая теперь был праздничным днем. Дядя не пустил меня в поле окапывать картошку, потому что работать запрещалось, и некоторых крестьян штрафовали за то, что те работали. Так что я могла ехать в город смотреть демонстрацию. Музыка мне всегда очень нравилась. Люди в форме маршировали по городу, и, когда зазвучали "Песнь немцев" и "Хорст Вессель"[1], все должны были вскинуть руку, но я этого не сделала. Ко мне подошел мужчина и попросил поднять руку, но я его уверила, что у меня очень болит рука. Тут уж он ничего не смог мне сделать. Я видела, какую важность напускали на себя некоторые из тех, кого я знала в обычной жизни, и мне становилось смешно. Никакого страха перед этими людьми я не испытывала — совершенно спокойно с ними говорила, не обращая внимания на мундиры. Они тоже понимали, что я самая обыкновенная девушка, и переставали корчить из себя невесть кого.

Когда Альберт ушел на войну, я пошла в военный комиссариат в городе и попросила отпустить его в отпуск для уборки урожая. Там я встретила нашего соседа, который служил майором. Он сделал запрос, и муж смог приехать.

Во всех домах теперь висели портреты Гитлера, а некоторые еще и убрали из угла распятие — мы же ничего такого не

1. "Песнь немцев" Гофмана фон Фаллерслебена на музыку Гайдна с 1922 г. была официальным гимном Германии. В Третьем рейхе исполнялась только первая строфа, после чего звучала "Песня Хорста Весселя" (или просто "Хорст Вессель") — официальный гимн НСДАП, названный по имени автора текста. В 1945-м исполнение "Песни немцев" запретили. После объединения Германии в 1990-м официальным гимном стала третья строфа.

делали. Позже мы не вывесили из окон белые тряпки, когда мимо нас проезжали американские танки. За столом все вместе мы произносили молитву, что делаем до сих пор, для этого нам портрет фюрера не нужен.

У ветеринара, который лечил животных во всей округе, жена была еврейкой, и муж стал для нее спасением. В нашем городе был еврейский коммерсант — уже тогда он начал продавать что-то в нагрузку. Дело у него отобрали, что с ним сталось дальше, я не знаю. У нового хозяина торговля не задалась, потому что чужое добро впрок не идет. Его уже давно нет в живых, и его имя забылось. В то время творилось много несправедливостей.

Некоторых мужчин с желтоватым цветом лица стерилизовали, как говорили, во избежание наследственных болезней. Большую славу у нас приобрел молочный контролер, который должен был у всех крестьян измерять надой молока. Крестьяне стали называть его молочным волом, потому что вол — это кастрированный бык, и так оно и повелось. Впрочем, этот контролер не вполне еще потерял свои мужские способности и сошелся с моей служанкой Пепи с вывороченными ногами — вот уж каждый сверчок найдет свой шесток.

У нашего штютцпунктляйтера[1] был двор-однодневник[2], он бог знает что вообразил о своей должности и своей персоне. Когда в Бюккебурге устроили большой праздник урожая, он туда тоже приехал. А поскольку денег у него не водилось — расторопным хозяином он никогда не был, — он загодя срубил огромный дуб, росший на пересечении двух улиц. Рядом была автобусная остановка, и все этот дуб очень жалели. Еще он убрал распятие из своего сада. А люди говорили, что его нельзя было трогать, — крестом нужно дорожить, ведь его установили предки.

Этот человек давно уже умер, на месте его двора теперь растет трава, и вскоре уже никто не будет знать, что когда-то здесь был крестьянский двор. Когда война закончилась, американцы поместили нашего штютцпунктляйтера в сборный лагерь на ипподроме, там его пинками повалили в грязь, и ведь именно его, хотя он, может быть, меньше других этого заслуживал.

Портреты Гитлера из крестьянских домов исчезли, и никто уже не мог вспомнить, что они вообще там когда-то висели. Со-

1. Политический ранг в НСДАП.
2. Анна Вимшнайдер определяет размер крестьянских угодий числом дней, за которые можно справиться с молотьбой.

сед, который тогда высказался насчет черного фрака дяди Альберта на выборах, снова стал совершенно нормальным — в день рождения его чествовали в газете как очень уважаемого человека. Так на наших глазах сгинул тысячелетний рейх.

* * *

Свекровь мне сказала: "Пока твой муж в отъезде, ты должна спать со мной в одной комнате. Ты еще молода, и, чего доброго, к тебе кто-то может прийти". А мне было все равно — к вечеру я так уставала, что хотела только спать. Так что я переехала к ней.

В два часа утра я вставала, чтобы вместе со служанкой идти косить на сено траву. В шесть я уже чистила хлев и задавала корм скоту, потом накрывала в доме на стол и снова бежала в поле. По целым дням мне приходилось бегать. А свекровь стояла в дверях да приговаривала: "Давай, поворачивайся, а иначе зачем ты стала крестьянкой!" Сама же она не делала ничего.

Война началась, и до Рождества Альберта ждать не приходилось. Но уже спустя три недели, в субботу ночью, кто-то постучал в окно. Я крепко спала, и вдруг я услышала, что свекровь разговаривает с Альбертом. Мне она сказала: "Никуда не ходи, я сама ему открою". Она ушла вниз, а я вскочила, схватила в охапку постель и пулей помчалась в нашу с мужем комнату.

Несмотря на огромную радость, та ночь была и печальной. Я плакала и все ему рассказывала. У меня ведь кроме него никого не было. Он меня утешал и твердо обещал, что скоро вернется. В воскресенье ему пришлось снова уехать. Я его провожала до небольшой горки, что примерно в пятидесяти метрах от нас. Заслышав крик петуха, я утешилась, ведь это был добрый знак. А вот карканье сороки — предвестник несчастья.

Пахать я не умела, и мне как можно быстрее нужно было научиться. Я достала из сарая телегу для навоза, положила на нее плуг и посадила в телегу дядю. Впрягла волов. Они так долго простояли в стойле, что теперь побежали очень быстро, а мне приходилось за ними поспевать. У меня была палка, чтобы их бить по головам, но они на это мало обращали внимания. Оглядываться у меня времени не было. Когда мы, наконец, доехали до пашни, дяди в телеге не оказалось. Я его потеряла по дороге. Где-то далеко позади он махал мне своей палкой.

Пришлось развернуться, чтобы его подобрать. Он установил плуг, и я опять впрягла волов. Дядя сказал: "Плуг хорош, и волы хороши, если что-то не заладится — твоя вина". Это было плохим утешением. Деревянный плуг нужно было держать совсем низко к земле, это требовало сил и сноровки, а тут я со своими пятьюдесятью килограммами веса, и волы бе-

жали, куда им вздумается. От страха и ужаса я расплакалась. Но вскоре волы начали уставать, и я приободрилась. Дядя тем временем сидел в траве и на все это смотрел. Когда дело у нас пошло, он тяжело заковылял домой со своей палкой.

Через несколько дней настало время везти сено. Загружали его вилами, прежде я этого не делала. Мне доводилось лишь укладывать сено. Теперь же пришлось его грузить — это была самая настоящая мужская работа. Горбатая служанка забралась в телегу, чтобы поправлять сено внутри. Когда гора в телеге подросла, она сбросила мне вниз пять охапок, которые были неважно уложены, — все-таки с вилами я управлялась хуже, чем мой муж. Меня охватила такая ярость, что я стала встряхивать сено на вилах, но оно разлеталось во все стороны, а я была так мала!

Жатки у нас еще не было — ее могли купить только зажиточные крестьяне. Например, наш сосед — он впрягал в нее двух лошадей, и это было очень даже удобно. Однажды я спросила соседа, не согласится ли он убрать и мое поле. Но он не захотел. А вот во время молотьбы крестьяне друг другу помогали. В такие дни приходилось очень рано вставать, чтоб успеть сделать все в доме. В поле работа начиналась в полшестого утра, домой же возвращались не раньше семи вечера. Это была тяжелая работа, и очень много пыли.

Подошла осень, и мне пришлось самой обработать все поле. Но я управилась довольно быстро, и люди меня хвалили за то, что я сделала все не хуже мужчины.

* * *

Тем временем мужа должны были отправить на передовую, но прежде он еще раз приехал домой. Мы с ним взяли велосипеды и покатили к фотографу, прихватив с собой свадебную одежду. Мы сделали вид, будто это день нашей свадьбы, ведь брат мужа не смог прийти на свадьбу нас фотографировать. Фотокарточку с того дня муж взял с собой на войну, шесть лет она была с ним. Он мне писал каждый день, но старики злились, что письма только для меня, тогда он стал писать всем сразу, и старшие смогли читать его письма, пока я была в поле.

Свекровь меня невзлюбила, потому что люто ревновала. Все твердила, что я отобрала у нее сына. Конечно, муж писал и такие письма, которые предназначались только мне, их я прятала, но свекровь не успокаивалась, пока их не находила. Дядья были ко мне добры, а тетю Лини свекровь настраивала против меня. Вдвоем они всегда оказывались не на моей стороне.

Когда я уходила из родительского дома, отец мне сказал: “Если ты все снесешь от старших и ничего не скажешь в от-

вет, то сможешь с ними поладить". Я это отцу обещала и слово сдержала. Хотя иногда это было непросто, ведь обе женщины были ко мне так несправедливы!

По воскресеньям я теперь никогда не отдыхала. Утром чистила хлев, потом ненадолго ехала в церковь на велосипеде, и снова домой — стряпать, стирать, мыть дядьям ноги, брить их, стричь волосы и ногти. Если ж я не успевала все постирать, свекровь говорила: "Ну конечно, в будни у тебя нет времени и в воскресенье у тебя нет времени, а других дней не бывает, неряха она и есть неряха". За словом в карман она не лезла. Но я слушалась своего отца и ничего не отвечала. Очень редко я ходила в гости к своим братьям и сестрам и никогда им не жаловалась.

Следующим летом муж приехал в отпуск домой. Как-то раз я стелила постели, а муж со свекровью стояли на улице, прямо под распахнутым окном, и я слышала, как она ему говорила:

— Альберт, я не понимаю, как ты мог жениться на этой женщине? Ты только посмотри, как она ходит! Она же станет горбатой, и коленки у нее торчат, а ты, между прочим, мог жениться на дочери богача.

Муж ей ответил:

— Мама, я не понимаю, чем она тебе не угодила, мне она так люба, да она еще и работящая.

Мне же свекровь говорила при муже:

— Подожди, вот он уедет, и мы снова будем тебе помогать.

В тот приезд муж купил мне чудесной ткани на летнее платье. Это было не так-то просто, потому что вещи продавались только по карточкам[1]. Ему это удалось только потому, что он был фронтовиком. Из этой материи получилось красивое цветистое платье и жакетка к нему. Один наш знакомый из города сфотографировал нас с мужем, когда я была в этом платье, эту фотографию муж тоже забрал с собой. Потом отпуск подошел к концу, и я снова провожала его до нашей горки. Я все время улыбалась, чтоб ему было легче уехать, а обратно шла в слезах. И опять я услышала крик петуха — это было хорошей приметой.

Наступило воскресенье, прекрасный солнечный день. Я надела свое новое платье, чтоб идти в церковь. Когда я спускалась по лестнице, свекровь уже меня поджидала. У нее бы-

1. Карточки на покупку изделий из текстиля были введены 14 ноября 1939 г., вскоре после введения продуктовых карточек.

ла нервная болезнь, и язык во рту дрожал, как у змеи. Она сказала:

— В этом платье ты у меня в церковь не пойдешь. Ты теперь женщина замужняя, в ярком ты у меня ходить не будешь.

Я пошла назад и надела другое платье. Когда я снова сошла вниз, она процедила:

— Ты немедленно пойдешь и наденешь другое, так ты у меня из дома не выйдешь.

Я переоделась в третий раз. После пятого раза я сказала:

— Мама, больше у меня платьев не осталось, могу я теперь идти?

Только тогда она меня отпустила. Всю дорогу к церкви по щекам у меня лились слезы. Когда я ставила велосипед, половина службы уже прошла. Я забилась в угол, чтоб никто не видел меня заплаканной. А ближе к концу, когда еще никто из церкви не выходил, я быстро выбежала и уехала домой, где меня поджидала работа.

Всем старшим членам семьи, кроме свекрови, было уже не под силу ходить в церковь, так что время от времени священник приходил к нам, свекровь же еще ходила хорошо, но путь к церкви казался ей слишком долгим.

Теперь я была беременна. Когда свекровь это заметила, то стала поносить меня последними словами. Мол, только ты одна и виновата, только ты и хотела ребенка, наверняка Альберт не хотел. Ты у меня сполна отведаешь осеннего молока[1]. Чтоб тебе издохнуть в родах, за то, что отобрала у меня сына". Но я с радостью ждала ребенка, ведь мы оба этого хотели. Поэтому я ей ответила: "Мама, но я его не одна сделала". На это она ничего не смогла возразить.

Шли месяцы, а я так ничего и не слышала, кроме ругани. Как-то раз мне нужно было плугом вспахать картофельное поле. До родов оставалось четыре недели. И тут волы понесли. Высвободиться я не могла, так как на руку у меня были намотаны вожжи, и волы добрых сто метров волокли меня на животе поперек борозд. А сзади наезжал плуг — он всю меня изранил, пока я пыталась освободиться. Наконец, пошло в гору. К счастью, волы замедлились, и мне необходимо было встать на ноги, чтоб их остановить. Собрав все свои силы, я быстро поднялась и заставила их повернуть, волы пошли по кругу и, наконец, остановились.

1. Суп из осеннего молока — традиционное блюдо баварской кухни из скисшего молока. Хотя в семье Анны его регулярно готовили, здесь, очевидно, употреблено в переносном смысле.

Выглядела я жутко. Земля, трава, клубни картофеля — все это пристало ко мне, фартук разорван, руки исцарапаны. Это был самый настоящий кошмар, я думала о ребенке, и мне было страшно.

Но тут меня обуяла лютая ярость: теперь-то я вас заставлю поработать, подумала я и пахала до тех пор, пока волы не взмокли. И хотя был вечер воскресенья, закончила я лишь после того, как вспахала все поле. Когда мы наконец-то вернулись домой, все ужаснулись моему виду. И никто не мог понять, как это я не сдалась.

На следующий день я решила, что дальше так продолжаться не может. Взяла велосипед и поехала в город, в окружной комиссариат, чтоб потребовать для моего мужа отпуска. Но оттуда меня отправили в местное крестьянское объединение — там мне обещали помочь, выделить помощника. На следующий день, около половины шестого вечера, когда я, по-прежнему одна, обрабатывала свекловичное поле, ко мне подошла совсем молоденькая девушка и спросила мое имя. Оказалось, что она и есть выделенная мне помощь. Я страшно разозлилась — чем она могла мне помочь? И тут же отправила ее назад.

На следующее утро я сразу поехала к начальнику штаба. На площади я встретила его подругу, она попрекнула меня тем, что я отослала прочь бедную девушку. Но мне уже было все равно. Да и что мне было с этой девушкой делать? Дома я и сама управлялась — мне необходим был мужчина для тяжелой работы в поле. И я пошла к начальнику штаба. Он готов был съесть меня со злости. Мы так с ним поругались, что в конце концов я сказала:

— Я останусь здесь, а ты можешь идти делать за меня всю работу и заботиться о моих стариках!

И мы стали дальше препираться, а он еще и начал угрожать:

— Думаешь, раз ты беременная, тебе уж и все сойдет с рук?

Я сказала:

— Зато тебе не сойдет. Я-то еще долго проживу, после того как они тебя убьют.

Он вскочил как ошпаренный. Заорал своей секретарше, чтоб она вызывала полицию, что меня прямо сейчас арестуют. Рыжеволосая секретарша не знала, правда ли ей звонить в полицию, потому что он часто так шумел. Я же с места не двинулась и только сказала:

— Ну, это пожалуйста, тюрьма станет для меня отдыхом в сравнении с домом.

Начальник совсем растерялся и уже не знал, как бы меня спровадить. Наконец, он обещал, что на утро отправит ко мне помощника.

Я сказала:

— Хорошо. Но если он не придет, послезавтра я опять буду здесь.

Он чуть не задохнулся от злости и немного успокоился, лишь когда я уходила. Мужчину ко мне и правда прислали — он должен был помогать мне столько, сколько потребуется.

* * *

23 июля 1941 года в районной больнице у меня родилась девочка. Муж в это время был на юго-западе Франции, я ему телеграфировала. Обычно в таких случаях давали отпуск. Но ему давать не хотели, потому что его часть собирались отправить в Россию. Все же он добился отпуска у высшего начальства, и один раз ненадолго приехал домой. В октябре он уже стоял под Ленинградом. <...>

Белья для малышки у меня было совсем мало. Кроватка осталась еще с моего детства, пеленки я мастерила из старых полотенец. Денег никаких. Их не было и раньше. Мое приданое составляло 1400 марок, после того как были куплены подвенечное платье и прочие мелочи, осталось 1200 марок, их мы потратили вместе с мужем. У него тоже немного было отложено — когда он еще был работником, то получал в неделю по три марки. На месячное жалованье до начала войны можно было купить пару обуви.

Как молодоженам, нам полагалась ссуда в тысячу марок. На эти деньги мы приобрели кухонную плиту, кафельную печку для комнаты, жатку, сеялку, корморезку и круглую мотопилу. Это был огромный шаг вперед, но тут все наши деньги и вышли. Дядя Альберта еще на два года выговорил себе право распоряжаться хозяйством, все деньги он положил в сберегательную кассу, чтобы накопить себе на пенсию, и они потом пропали.

Когда мне понадобилась соска для ребенка, в кошельке у меня было двенадцать пфеннигов. После долгих раздумий я, в тайне от других, продала кусок копченого мяса — этого хватило на соску, да еще мне кое-что осталось.

Когда я возвращалась с работы домой, мне так хотелось прижать к себе малютку! Но женщины меня к ней не подпускали. Они закрывали кухонную дверь, и я должна была молчать, чтобы ребенок не заплакал. Сквозь дверную щель я видела свою девочку — она спала на холодном полу, под головкой — ни подушки, ничего. У меня сердце кровью обливалось, я так хотела, чтоб моя дочка спала в кроватке! Но целыми днями мне приходилось работать — меня то и дело выставляли из дома.

Мужа в России ранили, и ему дали отпуск. Наконец-то он познакомился с дочкой, а она с ним. Утром, когда она проснулась, то вместо меня увидела папу и залилась горючими слезами. Ей нужно было время, чтоб привыкнуть. Правда, совсем небольшое. Но отпуск закончился, и папе пришлось снова уехать.

Как-то к нам зашел полицейский. А поскольку на нем была форма, дочка подбежала, повисла у него на ноге с криком: "Папа!". Папа для нее был человеком в форме.

Вскоре дочка научилась ходить и все норовила улизнуть от стариков. Тогда они привязали ее веревкой к ножке стола. Как же мне было от этого горько!

И сколько ночей я провела без сна! Ведь своими глазами я видела, как мое единственное дитя, моя маленькая девочка день напролет сидит привязанная за пояс к ножке стола, а мне даже нельзя ее видеть, потому что нужно работать в поле, пахать на волах! И тогда я сказала мужу: пока ты на войне и пока ничего у нас не изменится, я больше детей не хочу. Хватит с меня! А свекровь, та бы вообще хотела, чтоб я умерла в родах. Пилюль в то время еще не было, так что во время следующего отпуска мужу пришлось предохраняться обычным способом. <...>

В конце войны в Пфаркирхене была бомбежка. У нас как раз очень болел дядя. Мы ждали священника, чтобы дядя мог причаститься. По пути к нам священник и пономарь прошли мимо машины, на которой развозили молоко. Вдруг в небе появился штурмовик и открыл огонь по 22-летней девушке, которая грузила бидоны с молоком. Ее отец залез под машину, но девушке спастись не удалось — ей раздробило голову. Священник и пономарь прыгнули в канаву, но потом священник побежал обратно и вложил половинку гостии в кровоточащую рану на шее девушки.

Услышав взрывы, я убежала на горку и спряталась за большим деревом. Надо мной пролетели самолеты. Несколько минут спустя подошли священник и пономарь. Священник сказал: "За всю свою жизнь ни от кого я не слышал таких проклятий, как от этого человека, отца девушки". Священник и пономарь помолились о погибшей. В Пфаркирхен они возвращались поздно, да притом кружной дорогой через лес, потому что очень боялись.

Все это время муж при первой возможности писал мне письма. И вдруг письма прекратились, дни шли, а от него — ничего. Я страшно беспокоилась. Свекровь попрекала меня, будто у меня нет веры в Бога. Хотя от нее самой за все эти годы я не раз слышала: мол, погоди только, если Аль-

берт не вернется, мы тебя вышвырнем. Ей было б лучше, чтоб его убили, лишь бы и я его потеряла. А вестей о нем все не было.

Однажды в пятницу, после двух долгих недель молчания, приходит письмо авиапочтой. Такого еще не бывало. Письмо было от товарища Альберта, он писал, что в канун Троицы 1944 года, под Римини, моего мужа тяжело ранило в шею. Услышав это, я едва не подавилась — время было обеденное. Господи, выживет ли он? Тут свекровь снова принялась корить меня за неверие. А ведь я всегда молилась за своего мужа, потому что любила его всей душой.

Сразу мне вспомнился один странный случай, который меня сильно напугал. В понедельник, накануне Троицы, я переодевалась в спальне, чтоб идти в церковь, свекровь тоже была наверху. На комоде у нас стоял большой портрет Альберта в раме, как вдруг он ни с того ни с сего упал лицом вниз. Случайно он так упасть не мог, потому что был очень велик и стоял на широкой подставке, а рядом никого не было. Это произошло в полдевятого утра, а позднее муж рассказал, что именно в этот момент его ранили.

Мы с Альбертом еще долго не виделись. Лишь намного позднее его перевели в Ландсхут, и я наконец-то получила разрешение его навещать. Он представлял печальное зрелище. В горло ему вставили трубку, через которую он дышал. Из-за повреждения голосовых связок Альберт не мог вымолвить ни слова, а только писал. Когда я вернулась домой и об этом рассказала, мне никто не поверил.

* * *

В деревне во время войны особой нужды не было. Карточек на покупку вещей не хватало, но голодать не голодали. На волах я поехала на мельницу и привезла оттуда муки, пусть и не самого высшего сорта, но мы были довольны. Мясо у нас было свое. И только когда в конце войны появились беженцы, всего стало в обрез. В некоторые дни у нас был полон дом людей.

Сперва пришли силезцы — женщина с четырьмя детьми. Потом к нам переехала от соседей еще одна семья с четырьмя детьми, потому что соседи не давали им сварить даже картошки. Иногда по целым дням у нас не затухал огонь, и даже наша большая печь казалась слишком маленькой. То и дело заходил соседский мальчик, он всегда был голоден и брал хлеба для себя и для брата. Очень нас благодарил и всегда хорошо себя вел.

Затем целой вереницей на повозках с лошадьми приехали венгры, и девятнадцать человек остались у нас надолго. Дом

был переполнен, даже в нашей с мужем спальне люди спали на матрацах и тюфяках из соломы. И тогда всего стало не хватать, даже сена и соломы, ведь лошадям тоже нужен был корм. Куры несли недостаточно яиц. Бывало, что венгры за раз съедали два, а то и три десятка. Правда, иногда венграм, кто чем, помогали и соседи. <...>

После ранения и до конца войны муж лежал в разных лазаретах и, наконец, оказался в Мюнхене. По вечерам, когда Мюнхен бомбили, я видела зарево от падающих ракет. Позднее Альберту сделали операцию в Герршинге на Аммерзее, и он пошел на поправку. Он получил отпуск, но из-за бомбежек поезда не ходили, и ему пришлось немалый путь проделать пешком. В результате он заработал себе воспаление легких и в нашем городе снова попал в лазарет. Но здесь я уже могла его видеть.

Только в апреле 1945 года, когда на подходе уже были американские танки, мужа выписали, и он вернулся домой. Американские солдаты с оружием в руках обыскивали наш дом, но Альберт был в гражданской одежде, и на него они внимания не обратили.

У мужа все еще была трубка в шее. После того как в трубку влетела оса, и он едва не задохнулся, он стал прикрывать трубку тонким платком. Когда стало поспокойней, муж поехал в Мюнхен к врачу. Его снова успешно прооперировали. Теперь он уже мог тихо говорить. Но когда попробовал снова пахать, волы его не послушались — для них голос у него был слишком тихим. Так что эта работа так и осталась за мной.

Чтобы получить отставку, Альберт должен был явиться к американцам. Благодаря ранению все уладилось, а многих, кто прошел с ним войну, передавали русским, и они долгие годы прожили в плену.

* * *

Помню, как в конце войны мы услышали приближение танков. Они подходили все ближе, и уже были слышны разрывы снарядов. Я вышла на улицу и увидела, как первые танки въезжают на наш холм. Один из них уже выстрелил — рвануло совсем рядом со мной, у деревянного сарая. Я побежала в дом. Танки палили по лесу, так что в небе было много-много огненных черточек. Некоторые из танков остановились у нашего двора. Все бывшие в доме мужчины должны были построиться на улице. Американцы отобрали у них наручные часы и вошли в дом. С винтовками в руках они искали немецких солдат — я должна была провести их по всему дому. Всех мужчин — их было около тридцати человек, в основном венг-

ры, — на автомобилях повезли в Пфаркирхен и заперли на ипподроме.

В деревне поднялся страшный вой. Все жены в своих домах попадали на пол и, воздев руки к небу, голосили: “Святая Мария, Матерь Божия, помоги!”. Женщины были совершенно растеряны — перестали следить за собой, да и вообще не проявляли ни к чему интереса.

На ипподроме заперли многих мужчин. Тем из них, которые раньше были нацистами, пришлось худо: их били и пинками валили на землю, прямо в лужи. Некоторые приносили им в бидонах поесть, потому что пленных начал одолевать голод. Разговаривать и брать еду разрешалось только через деревянный забор, и то под строгим надзором. Через несколько дней большинство отпустили. Женщины вновь стали следить за собой, заплели в волосы ленты, и жизнь пошла по-прежнему. Впрочем, молиться тоже перестали.

Нужно отдать венграм должное, они были работящими. Умели заработать денег и сделать жизнь более сносной. Они и работали, и торговали из-под полы. Помогали мне ухаживать за садом да еще посадили овощи.

Однажды ночью к нам пришли американцы, человек пятнадцать-двадцать, и я очень испугалась. Никто еще не ложился, и я попросила полковника венгра остаться со мной, потому что очень боялась. Тогда американцы принялись подшучивать над ним и женой другого венгра, которая была тут же. Напридумали бог знает чего, а все-таки тот венгр не ушел. Было так шумно, что Карола, наша старшая дочка, которая давно уже была в кровати, вдруг пришла к нам. Кто-то из солдат дал ей шоколадку. Другие же пошли в нашу кладовку и вынесли оттуда все, что только можно было вынести. В огромной сковороде, где я готовила дампфнудель, мне пришлось пожарить тридцать яиц, да еще двадцать пять — в другой. Но это меня не печалило — главное, что тот венгр был рядом.

Вслед за венграми пришли судетские немцы. Они собирались пробыть у нас недолго — им обещали новые дома, куда вскоре можно будет переехать. Они тоже помогали по хозяйству, да еще мои дети получили себе няньку. Кристина, наша вторая дочка, сейчас говорит, что Лени была для нее как бабушка. Условия у нас были неважные, и вскоре они переехали к своим знакомым в Гессен. Но прошло совсем немного времени, и они вернулись, потому что в Гессене терпеть не могли беженцев, относились к ним все равно как к свиньям. Несколько лет они прожили у нас, а потом муж Лени умер. О новом доме уже не было речи. Другие беженцы тоже ничего не получили.

Только теперь многие поняли, сколько горя принесла людям война. Страшно было смотреть на целые эшелоны беженцев. Но когда их расселяли по домам, находились и жестокосердные люди, причем всегда из богатых.

Некоторые старались напакостить беженцам, что усложняло их и без того нелегкую жизнь. Один раз в доме, где они жили, заткнули трубу, и печь стала ужасно коптить. Но трубочист вовремя это заметил и прочистил дымоход.

Со временем многие беженцы переехали в город. Для них выстроили целые кварталы. В большинстве своем беженцы работали очень усердно, у них появились новые дома, и они всем были довольны.

* * *

Альберт был теперь дома. Но его мать, у которой, кстати сказать, в городе пустовала квартира, по-прежнему хотела нас разлучить. Как-то муж меня спросил, правда ли все, что она обо мне рассказывает. Я ответила только: "Ты знаешь, что я тебя никогда не обманывала. Но если ты мне не веришь, что я могу сделать". Он мне поверил.

А за несколько лет до этого случилось вот что — свекровь оторвала меня от работы и велела идти в дом, там она подвела меня к канапе, на котором сидел дядя Альберт, и сказала:

— Сию же секунду встань перед ним на колени и извинись.

А тетушка ударила меня по лбу острием своей палки. Причем я понятия не имела за что. Я встала на колени и сказала:

— Дядюшка, если я тебя чем-то обидела, прости мне, хоть и не знаю, чем я провинилась.

Дядя заплакал вместе со мной, а женщины только злорадствовали.

Поскольку муж теперь работать не мог, он частенько сидел на софе за кухонной дверью. Однажды вечером свекровь в очередной раз стала науськивать на меня дядю. Дело было в комнате, и муж за дверью слышал каждое ее слово, а поскольку он сам был свидетелем того случая, о котором мать говорила, то поймал ее на лжи. Больше терпеть он не мог. Вскочил и, дрожа от злости, сказал:

— Мама, своими собственными ушами я сейчас слышал, как ты наговаривала на мою жену. Сейчас же собирай свои вещи и убирайся к себе в город!

Она заголосила:

— Мой собственный сын выгоняет меня из дому!

С того самого момента в нашем доме воцарился мир. Дядюшки повеселели, я теперь то и дело пекла для них какую-то безделицу. Эта выпечка была только для них, я клала ее в ма-

ленький ящичек стола, и, найдя ее, они всякий раз очень радовались.

В ноябре 1945 года у тетушки случился удар, одну сторону парализовало, и за ней теперь нужно было постоянно ухаживать. Свекровь мне написала: “Надеюсь, ты знаешь, что должна делать”. Я подумала: она удивится, но я и впрямь это знаю. И я стала ходить за тетей: приносить ей еду, хотя тетю потом часто рвало, мыть каждый день, расчесывать... Я сажала ее на плетеный стул и подносила зеркало, чтоб она видела, как хорошо она еще выглядит. Тетушка была мне очень благодарна, ведь я все для нее делала. Каждый день приходил врач с электроприбором, но ничего не помогало. Целыми днями рядом с ней были дядюшки, но они ничем не могли ей угодить.

Тут она почувствовала, что конец близко. Долгие бессонные ночи я проводила с ней рядом и так уставала, что чуть не падала со стула. Муж меня сменял. Но он всегда принимался за книгу, тетя ругалась, и мне снова приходилось идти.

Однажды, когда я готовила обед, она призвала к себе дядюшек. Когда они вернулись от нее, то оба плакали — такими я их никогда еще не видела. Я спросила, что стряслось. Они ответили, что тетя наказала им рассказать моей свекрови, как несправедлива она была ко мне все эти годы. Мол, ни от кого она не видела столько заботы, как от меня. Через шесть недель тетя умерла. Но свекровь это не больно тронуло. Она пришла и забрала из ее платьев и белья все, что смогла унести, ведь свекровь была наследницей. А мне бы все это так пригодилось для детских платьиц... <...>

В то время еще не было медицинской страховки, больные оставались дома, и ухаживали за ними члены семьи, а за некоторыми и вовсе не было никакого ухода. Моргов тоже не было. С тремя стариками, которые умерли в нашем доме, мы прощались здесь же. А тетя — та еще при жизни радовалась, что ее похоронят с моей фатой. Замужем она никогда не была и на смертном одре считалась невестой.

* * *

Пришло время подумать, как нам увеличить наши доходы. Все деньги, которые удавалось выручить, вкладывали в удобрения и технику, увеличивали поголовье скота. Мы верили, что все у нас получится. Только вот нам самим ничего не оставалось.

Из старших в живых был только дядя Отто. Но и у него был вывих бедра да еще водянка. На ноге началась трофическая язва, и постепенно она становилась все больше. Сначала перевязки делал врач, но, когда дошло до того, что мясо ста-

ло отваливаться от кости, врач больше не захотел к нему прикасаться. Пальцы ног пока были целы, а все остальное мясо из стопы вывалилось, так что кость оголилась.

И днем и ночью, каждый час я обрабатывала ему ногу антисептиком и перевязывала. Почерневшие куски мяса обрезала ножницами. Иногда за этим наблюдали врач и священник. Оба говорили, что не смогли б этого делать, и предостерегали меня от заражения. Но я ничего не боялась, ведь я то и дело протирала руки антисептиком.

Дядя уже не мог вставать с постели. Ногу разъело до колена. Но он не очень-то жаловался. Каждый раз во время перевязок мне приходилось выбрасывать огромные куски запекшейся крови, пятка и пальцы все еще были не тронуты, а вся остальная часть до колена — голая кость. Прошло несколько месяцев, и, наконец, язва перестала увеличиваться. Сначала образовалась сухая пленка, а потом наросло новое мясо — нога теперь была вся в бороздках.

Когда дядя увидел, что дело пошло на лад, он снова сделался веселым, а с ним и я. Пока он лежал, я его мыла, брила, стригла ему волосы. Он так меня благодарил, что хотел все отдать, что у него было. Но его небольшие сбережения ничего не стоили — денежная реформа еще не прошла[1]. Только его бархатную шляпу, которую он мне отдал, я и смогла переделать.

С какой бы радостью я стала медицинской сестрой! Прежде, когда я спрашивала отца, можно ли мне попытаться, он так сердился, что даже меня колотил. Всю свою жизнь я охотно ухаживала за больными, и пять раз мне приходилось помогать умирающим. А все же медсестрой я не стала. Когда дядя Отто начал поправляться, мы сажали его на плетеный стул перед домом. Тут, на солнышке, он вновь веселел. Ему снова захотелось курить. Я набивала ему трубку и ее раскуривала, а он каждый раз говорил: “Ну-ка, подай мне, а то выкуришь половину”. И мы оба смеялись. Потом я вставляла трубку ему в рот. Зубов у него уже не было, да и руки дрожали, и сам ее удержать он не мог.

Дядя выздоровел и снова начал ходить, так продолжалось еще два года. Но потом, когда дяде было семьдесят девять, и ему пришел черед умирать. Я стояла рядом с кроватью и старалась его утешить. Вдруг он сказал, причем он был в полном сознании:

1. Имеется в виду денежная реформа в Западной Германии 1948 г., в ходе которой вводилась немецкая марка. За сорок обесцененных рейхсмарок каждому немцу полагалось по сорок новых, остальные менялись по курсу 1:10.

— Глянь-ка, какой-то парень стоит у меня в ногах, он там уже давно, чего он хочет?

Я ответила, что никого не вижу. Но дядя настаивал:

— Смотри же, вот он стоит. И молчит. Поди, спроси, чего ему нужно.

— Да там нет никого. Тебе все это привиделось!

Но он не соглашался и все просил меня узнать у того парня, зачем тот пришел. Это были его последние слова. Он отошел при мне.

Я в то время уже была третий месяц беременна нашей второй дочкой, но больному дяде об этом не сказала, ведь когда в семье рождается новый ребенок, кто-нибудь из стариков должен уйти.

Дядя Отто был единственным из старших членов семьи, кто получал пенсию. Она составляла двадцать три марки. Он очень гордился, потому что кое-что сам мог купить. И даже позволял себе некоторую роскошь, например, специальную щетку для мытья шеи после стрижки или щеточку для усов. Я всегда старалась, чтобы он хорошо выглядел. Дядя был совершенно седой и почти всегда веселый. Печалился он только, когда сидел на своем канапе, и у него вдруг случалась неприятность. “Ну вот, опять я в штаны наделал!” — говорил он. Я его всегда утешала: “Ничего страшного, Отто. Не важно, по какому там делу. Не беспокойся, я сейчас все выстираю”. У стариков это вообще часто бывало. Уборной у нас в доме не было, стиральной машины тоже. Так что все это доставляло много хлопот. Но я еще до замужества знала, на что шла, понимала ведь, что в доме старики, и такой работы никогда не боялась. Вот если б не было тяжелых полевых работ, тогда б нам и вовсе жилось хорошо.

Любимой едой старших членов семьи был густой суп из осеннего молока, с кислыми сливками да жареной картошкой. Осеннее молоко — это кислое молоко, к которому почти каждый день подливают новую порцию свернувшегося молока. Затем все перемешивают, берут литр этого молока, вбивают в него муку, добавляют один литр кипящей воды и кислых сливок. <...>

* * *

Домой после работы мы приходили совсем поздно. Еще нужно было потрудиться в хлеву и по дому. Дети уже спали. Мы смертельно уставали.

В 1952 году появилась маленькая Моника. Теперь у нас было уже три дочери. Позднее Моника стала мне большим утешением, когда старшие уехали.

* * *

К Рождеству 1960 года мы переехали в новую пристройку к нашему дому, это была большая радость. В старой части дома ничего не поменялось. Карола вскоре пошла работать на предприятие. Но по утрам и вечерам все равно нам помогала и часть своей зарплаты отдавала на хозяйство.

Через некоторое время в городе открылась школа медсестер, и Карола записалась на первый курс. Моя дочь начала учиться ремеслу, которым я сама когда-то так хотела овладеть. В месяц обучение стоило девяносто марок, рабочую одежду и учебники студенткам приходилось покупать самим, так что это было тяжелое время. Карола лучше всех сдала экзамены, но в нашу районную больницу ее не взяли — придерживали места для следующего курса. Тогда она переехала в Мюнхен, и я очень горевала, оттого что моя старшая девочка теперь так далеко.

Кристина, наша средняя дочка, работала с нами. Но постепенно положение крестьян менялось, и все чаще мы слышали по радио, что сталось с маленькими фермами, если они не приспособились к новым условиям. Муж решил, что в сельском хозяйстве у наших детей нет перспектив, и Кристина пошла учиться на коммерсанта.

Мы использовали много техники, и все же основная работа была на наших плечах. К вечеру я так уставала, что во время ужина ложка выпадала у меня изо рта, и прямо за столом я засыпала. Дети меня тормошили: “Мамочка, не спи за едой!” Я была так измучена, что мечтала об одном: раз в жизни выспаться, хоть один-единственный раз. Но об этом можно было только мечтать.

Моника, наша младшая дочка, окончила среднюю школу. Она хотела быть юристом и начала учиться в городе, при участковом суде, потом переехала в Пассау и в конце концов оказалась в том же Мюнхене. Теперь все наши девочки жили в большом городе. Но они часто приезжали к нам на выходные, помогали с работой в поле и по дому.

Долгие годы никогда не прекращающейся работы подточили мое здоровье, неделями я лежала в больнице, но дома все равно не могла как следует отдохнуть.

* * *

С братьями и сестрами мы никогда не теряли связи и дружны до сих пор. Я первой обзавелась семьей, затем, еще во время войны, женился мой старший брат Франц.

Франц был радистом BBC, в конце войны он решился на отчаянный побег из Берлина и благодаря этому спасся. Толь-

ко однажды он рассказал, как едва не угодил в плен к русским — несмотря на часовых, он смог ускользнуть и переправился на плоту через Эльбу. Франц был мастер на все руки, поначалу ему с женой пришлось нелегко, но потом они построили замечательный дом.

Ганс в начале войны женился на девушке из крестьянской семьи, у ее отца был двор-двухдневник — чтоб управиться с молотьбой, ему требовалось добрых два дня. В войну Ганс служил в горнострелковых войсках и дошел до Кавказа. Гансу всегда везло, но во время своей последней побывки у него было предчувствие, что он больше не вернется, и он об этом сказал. Уходить ему было тяжело. Ганс оказался прав: восьмого мая, всего за день до конца войны, в Штирии его убили партизаны. Несколько лет назад мы были на его могиле и украсили ее цветами, за ней хорошо ухаживает местная община.

Михль попал в плен к американцам, вместе с другими заключенными его отправили в Америку. Пока они плыли, разразился сильный шторм, даже матросы боялись, что корабль утонет. Тем не менее они достигли Нью-Йорка. Пленные были одеты в американскую форму. На пирсе корабль встречала толпа — люди пришли поприветствовать своих солдат. Сперва они не поняли, что перед ними немцы. Стали дарить им шоколад и сигареты, как вдруг в толпе разнеслась весть: это нацисты. Тогда люди принялись искать глазами, где у немцев рога, — им же рассказали, что у нацистов есть рога.

Они бы, конечно, забрали свои подарки назад, но было уже поздно — заключенные тотчас все съели. Затем пленных перебросили в огромный лагерь в Оклахоме. Тамошний комендант получал удовольствие, когда ему демонстрировали немецкую дисциплину, он устраивал торжественные марши со вскидыванием руки, как при Гитлере.

В лагере царили жестокие порядки, никто не смел и пикнуть против Гитлера. Троих человек убили бывшие эсесовцы. Но большинству пленных там жилось неплохо, пока не вскрылось, какие там творятся бесчинства. После этого немецких пленных чуть не уморили голодом. Еды им почти не давали, в то время как на спортивной площадке разметку делали мукой.

Михль скоро вернулся и женился на вдове своего брата. Михль с женой вырастили девочку, мальчик у них родился мертвым. Заново отстроили дом и переделали двор. Их дочь вышла за работящего человека. Вместе с ним устроила образцовое хозяйство, сейчас туда водят экскурсии для студентов сельскохозяйственного училища.

После смерти отца в 1949 году дом со всем хозяйством получила сестра. Никто из нас не возражал, потому что во время войны она была с отцом одна. Потом она вышла за шорника, у них родились девочка и мальчик. Со временем они перестроили весь двор.

Мой брат Альфонс, четвертый по старшинству, во время войны был в Югославии, он чудом не попал в руки партизан и тоже об этом нечасто рассказывал. После войны Альфонс служил в разных местах, а потом решил переехать в Канаду. Квалифицированным специалистом он не был и попал к фермеру. Зимой, когда работники шли рубить лес, они всегда с собой брали оружие, потому что в лесу водились медведи. Все деньги, которые брату удалось отложить, он прятал в кровати, и в конце концов их украла дочка фермера. В общем, он был сыт по горло этой Канадой. Вернулся домой и женился на крестьянке, наследнице богатого дома. Они тоже все сделали по-новому, но дом не тронули, потому что он считался памятником архитектуры. Это был крестьянский деревянный дом с резьбой, какие сейчас редко увидишь.

Зепп, которого мы все, дрожа от страха, однажды искали, а он, оказывается, просто уснул в траве, этот самый Зепп тоже кое-чего достиг. Девушка, на которой он женился, получила в наследство небольшой участок земли. Но поскольку денег эта земля приносила слишком мало, Зепп долгие годы ездил в Мюнхен, работал там каменщиком, пока, наконец, и в наших краях не развернулось строительство. Со своими тремя сыновьями он много чего перестроил, не только собственный дом.

Шорш попал на войну еще мальчишкой. Очень быстро у него началось воспаление легких, и он умер в лазарете в России. За свою короткую жизнь совсем он ничего не успел.

Наконец, самый младший брат, при рождении которого умерла мама, уехал дальше нас всех. Он работает в Штутгарте, в строительной компании. Вместе с женой он тоже построил дом и давно уже дедушка.

Вот так мы, дети из бедной семьи, устроились в жизни. Один священник, у которого был с нами дом по соседству, всегда повторял, что наша мама помогает нам с небес. Наверное, так оно и есть, потому что никто из нас не пошел по неверной дорожке.

Каждый год, в День Всех Святых, когда поминают усопших, мы встречаемся на могиле наших родителей и за все их благодарим, им пришлось принести нам, детям, огромную жертву, и особенно болит душа оттого, что нашей маме

суждено было умереть так рано, в тридцать девять лет. Старшие никогда не смогут забыть тот скорбный смертный час нашей матери, когда каждый из нас держался за палец ее руки. <...>

* * *

Нам с мужем пришлось нелегко, мы были никем и лишь постепенно заслужили всеобщее уважение, смогли поставить наше хозяйство на ноги. Правда, некоторые нам завидовали, а зависть ведь ничем не одолеешь.

Отец всегда говорил, что зависть пожирает все живое. Это он знал по собственному опыту, а теперь и мы в этом убедились. Когда наши дела были плохи, вокруг всегда были люди, когда же, наконец, все налаживалось, тотчас мы оставались одни.

На протяжении десяти лет я больше времени проводила в больницах, чем дома, врачи махнули на меня рукой, и больничный священник, который меня часто навещал, как-то сказал одной своей знакомой: “Сегодня я опять к ней собираюсь, но не знаю, успею ли — она в любой момент может умереть”. Лишь много лет спустя я узнала об этом. Как-то, во время особенно тяжелого приступа астмы, я подняла глаза наверх, к распятию, и стала молиться: “Святый Боже, спаси, дети еще нуждаются во мне”.

Пусть и не совсем здоровой, но все же я вернулась домой — больше, из тех, кто был со мной в больнице, никто не выжил. Однажды, когда я еще там лежала, пронесся слух, что я умерла ночью, и, когда несколько медсестер встретили меня на лестнице, они заголосили и бросились мне на шею. Говорят, тот, кого объявили умершим, будет жить долго. <...>

Тем временем наступил 1971 год. Нужны были огромные усилия, чтобы поддерживать наше хозяйство. Мы насадили кукурузы — это помогло содержать еще больше скота и увеличить доходы. Но теперь нужна была еще более современная техника. И нам пришлось выбирать: вести хозяйство дальше или от всего отказаться. И вот как-то в пятницу вечером мы решили сдать наш участок в аренду.

Арендатором стал один очень порядочный человек, наш сосед, а мой муж начал искать себе работу. Это было в сентябре. А в октябре я снова тяжело заболела, и меня перевели в Мюнхен. С того времени я так полностью и не выздоровела. Началось все с тяжелой аритмии, затем была операция на желчном пузыре, потом астма со страшными приступами удушья, так что я много часов пролежала без сознания. Я натер-

пелась такого страху, что уже не боюсь смерти, только бы не от удушья. Потом были другие болезни, и в течение многих лет, вплоть до 1980 года, я больше пробыла в больнице, чем дома. <...>

* * *

Скот мы продали, и стойла опустели. Муж теперь хорошо зарабатывал и сам перестраивал половину нашего дома. Все выходные и весь отпуск он прилежно работал. Годы миновали, прежде чем все было готово, зато он все сделал сам. Тут подошло время устраивать детей. Мы продали бóльшую часть нашего участка и деньги отдали детям. Прибавив к этому свои сбережения, наши дочки смогли купить себе по квартире. Теперь они навсегда остались в большом городе.

Уже полтора года я не попадала в больницу. Мне стало лучше. У нас все еще есть участок земли с большим садом и огородом, вокруг дома растет много цветов. Это доставляет мне огромную радость. Наконец-то мне удалось воплотить в жизнь свою мечту, которая была у меня с детства, — я теперь могу высыпаться, ничто мне не мешает спать столько, сколько хочу. <...>

До сих пор люди говорят, что не могут понять, как это мы отказались от всего нашего хозяйства. Но мы поступили верно, потому что больше не могли с ним справляться. <...>

Частенько мы ездим в Мюнхен навестить наших детей, или они гостят у нас. Мы с Альбертом оба довольны и счастливы, как никогда в жизни. Мы оглядываемся назад, на прожитые годы, и в последнее время мне захотелось записать свою историю, что я и сделала.

Доведись мне родиться опять, ни за что не стала бы крестьянкой.

Маргарет Бубер-Нойман

От Потсдама до Москвы

Фрагменты книги

Перевод Дарьи Андреевой

Первые впечатления от СССР

ЗИМОЙ 1930 года один товарищ принес на собрание нашей партячейки журнал о Советской России, в котором вышла статья о самом большом московском универмаге[1]. Мы с увлечением прочли ее и подумали, что хорошо бы послать коллективное письмо нашим коллегам и товарищам в "главный" Мосторг. Мы описали универмаг "Тица", рас-

© 1981 by "Hohenheim" Verlag GmbH, Köln-Lövenich
© F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© Дарья Андреева. Перевод, 2015

1. Маргарет Бубер-Нойман работала в редакции журналов "Инпрекор", издававшихся Коминтерном и Четвертым интернационалом. Она состояла в компартии, и по партийной линии ее определили в партячейку универмага Тица, где она должна была оказывать влияние на служащих универмага. (*Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.*)

сказали, как эксплуатируют его работников, и поинтересовались, каковы условия жизни московских коллег. Наше послание, в котором мы выражали восхищение социалистическим строительством в Советской России, заканчивалось обещаниями сделать все, чтобы как можно скорее добиться победы революции в Германии. Вскоре мы получили желанный ответ — письмо с советскими марками и московским почтовым штемпелем. Мы с трепетом вскрыли конверт и обнаружили, что ответ написан по-немецки. Я должна была зачитать письмо вслух, но от предложения к предложению мне становилось все сложнее сдерживать смех. Это было не письмо, а нагромождение фраз на наречии вроде идиша, из которых мы с трудом могли извлечь смысл; ни на один из наших вопросов нам так и не ответили. Мы были разочарованы и утешали себя лишь тем, что товарищи в Мосторге наверняка нас просто не поняли. Невзирая на это, мы тут же сели писать ответ. Последовало долгое молчание, вестей из Москвы все не приходило, пока однажды партийное руководство не поразило нас сообщением, что в Советскую Россию приглашают представителя "Тица". Поехать хотелось всем. Но в ту пору бушевала безработица, и путешествие в Москву могло стоить сотрудникам места. Поэтому выбор пал на меня, и в апреле 1931 года во время отпуска я отправилась в Советскую Россию в качестве делегатки "Тица".

Прежде я встречала советских коммунистов, не считая Зинаиды и Ломинадзе, только на приемах в посольстве СССР: именно там я познакомилась с послом Крестинским и его женой, с руководителем Отдела международной связи Коминтерна Абрамовым-Мировым и секретарем посольства Марселем Розенбергом[1] — этими людьми я искренне восхищалась. Естественно, я считала, что все советские русские похожи на этих товарищей, которые были убежденными приверженцами западных ценностей. На прие-

1. Зинаида — первая жена Хайнца Ноймана. Виссарион Виссарионович (Бесо) Ломинадзе (1897—1935) — советский партийный деятель. В 1925—1929 гг. работал в Коминтерне. В 1935 г. под угрозой ареста пробовал покончить с собой, выстрелив себе в сердце. Умер после операции по извлечению пули. Николай Николаевич Крестинский (1883—1938) — революционер-большевик, затем советский политический деятель. В 1921—1930 гг. — посол в Германии. С 1930-го по 1937 г. — первый заместитель наркома иностранных дел СССР. Расстрелян. Александр Лазаревич Абрамов (Абрамов-Миров) (1895—1937) — один из руководителей военной разведки СССР, глава ОМС Коминтерна в 1926 г. Расстрелян. Марсель Израилевич Розенберг (1896—1938) — советский дипломат. В период Гражданской войны в Испании — полпред СССР при республиканском правительстве. Расстрелян.

мах в советском посольстве на Унтер-ден-Линден в те годы царили братские отношения между гостями из КПГ[1] и всеми работниками посольства, от швейцара до посла. Конечно, я могла только догадываться, какие тайные нити связывают, к примеру, Лео Флига[2] и этот уголок советской страны на немецкой земле: будучи высокопоставленным функционером секретного аппарата КПГ, он встречался здесь с представителями советской разведки, и большинство работников являлись его агентами. Тогда в посольстве еще бывали советские эмиссары Коминтерна, и там же распределялись денежные переводы, регулярно приходившие для КПГ из Советской России. Таинственной и доверительной была уже сама атмосфера на приемах, которые советское посольство устраивало для представителей КПГ, чей внешний вид производил странное впечатление. Мы, немецкие коммунисты, для визитов в посольство выбирали не красивые наряды, а, наоборот, пролетарскую одежду. Женщины демонстративно надевали красные блузки, синие юбки в складку и туфли без каблуков. Мужчины приходили в будничных костюмах, словно только что с работы. Не без презрения мы отмечали "буржуазные замашки" жен советских дипломатов, которые появлялись в элегантных вечерних туалетах. Но по ходу вечера мы очень быстро забывали о подобных расхождениях, ели, пили и танцевали в свое удовольствие и чувствовали себя как дома в посольстве нашей пролетарской Родины.

Вопреки буржуазной критике, более чем убедительным свидетельствам Панаита Истрати[3] и воинственным нападкам членов некоммунистического рабочего движения, для меня Советская Россия оставалась образцом лучшего мира. И хотя моя вера в безупречность коминтерновской политики к 1931 году была уже не столь истова, меня до крайности возмущало даже простое упоминание о негативных сторонах советского режима. Каждый критик этого режима становился в моих глазах злонамеренным контрреволюционером и лжецом. В ту пору многие утверждали, будто коллективиза-

1. КПГ – Коммунистическая партия Германии.
2. Лео Флиг (1893–1939) – член политбюро КПГ. С 1928 г. – высокопоставленный деятель Коминтерна. Расстрелян в Москве.
3. Панаит Истрати (1884–1935) – румынский писатель. Симпатизировал коммунистам, после поездки в СССР (1927–1928 гг.) выпустил книгу "К другому огню: Исповедь проигравшего", в которой описывал произвол советской бюрократии. Западные коммунисты расценили книгу как предательство. В СССР Истрати обвинили в мещанстве и фашизме.

ция в советском сельском хозяйстве привела к чудовищному голоду — я же считала это самой злостной из выдумок. Конечно, иногда, рассматривая фотоснимки в журнале Вилли Мюнценберга "Советская Россия в картинках", я испытывала что-то вроде неловкости, так как лица молодых советских людей, сидевших на тракторах или стоявших у верстаков, ничуть не соответствовали моему представлению о социалистическом идеале человека. Вообще эти снимки производили тягостное впечатление, словно бы в жизни советских людей не было никакой радости. Но впечатление это могло быть и ложным, ведь во всем прочем, что доходило до нас из этой страны, бурлило счастье новой жизни: в революционных песнях, в стихотворениях Маяковского, в гастрольных спектаклях театра Таирова и берлинских постановках "Ревизора" Мейерхольда, равно как и в советских фильмах "Потемкин" или "Десять дней, которые потрясли мир". Особенно меня впечатлил и убедил в величии советской культуры сборник современных русских рассказов, вышедший в издательстве "Малик". Я так страстно желала видеть в стране Октябрьской революции только хорошее, что переносила на нее даже свою любовь к Толстому, Гончарову и Тургеневу. Теперь мне предстояло увидеть эту страну собственными глазами, и от радости я была словно в лихорадке.

На польско-советской границе в Негорелом советские солдаты в зеленых фуражках обходились со всеми путешественниками, в том числе со мной, как с опасными врагами, долго проверяли у нас паспорта и перерывали чемоданы. Счастья в моей душе поубавилось, и ничто уже меня не радовало весь долгий, однообразный путь до Москвы. Хайнца и Германа Реммеле[1], которые встречали меня на вокзале, я приветствовала радостно, почти как спасителей. Оба уже пробыли какое-то время в Москве по делам Коминтерна. Первым делом мы проехались по городу, чтобы я могла получить впечатление обо всех достопримечательностях. Но я в изумлении взирала на улицы, которые напоминали копошащийся муравейник — потоки людей непрерывно струились во всех направлениях. И все эти люди походили друг на друга: убогая, серая, плохо сшитая одежда и озабоченные лица. Мне с трудом удалось скрыть замешательство и подавлен-

1. Хайнц Нойман (1902–1937) — член политбюро КПГ, представитель КПГ в Коминтерне. Расстрелян в Москве. С 1929 г. М. Бубер-Нойман была его женой. Герман Реммеле (1880–1939) — член КПГ, сотрудник Коминтерна. Расстрелян в Москве.

ность, ведь ни Хайнц, ни Реммеле не поняли бы моего разочарования. Для них, знавших Советскую Россию уже десять лет, все это само собой разумелось. В "Метрополе", самом роскошном московском отеле того времени, еще сохранившем дряхлое, изрядно запыленное великолепие царской эпохи, для меня был забронирован номер. Некто вроде администратора в полувоенной форме сунул мне в руку две дюжины листочков — талоны на питание, а официант в белом переднике, свисавшем почти до мысков, подал меню, в котором я ни слова не могла разобрать. Зато мне объяснили, что на завтрак уже можно заказывать икру — это произвело на меня впечатление.

На следующий вечер было назначено собрание в клубе Мосторга, где мне предстояло познакомиться с коллективом и рассказать про Берлин. По телефону Хайнц обсудил все с ответственным работником местного профсоюза, и вопрос, кто будет переводить мою речь, вызвал некоторое замешательство. Товарищ Рогалла, московский секретарь Эрнста Тельмана[1], взял эту обязанность на себя. Я предложила ему зайти в "Метрополь", чтобы ознакомиться с моим докладом, но Рогалла посчитал это совершенно ненужным и, выговаривая слова с сильным гамбургским акцентом, заявил: совершенно безразлично, что я буду рассказывать, он все равно будет толкать делегатам одну и ту же речь...

В помещении клуба с ленинским уголком и множеством красных транспарантов на стенах не было ни души, когда мы, по моему настоянию, наконец-то туда прибыли, хотя и опоздав на двадцать минут. Произошло именно так, как предсказывал Рогалла: собрание началось на полтора часа позже. Большинство слушателей составляли женщины и девушки в красных и разноцветных платочках, со смертной скукой на лицах, словно они исполняли весьма неприятную обязанность. Суетились и мололи языком разве что организаторы, которые уселись вместе с нами за длинный стол на сцене. Некоторые из них постоянно обращались ко мне. Вероятно, на немецком, но я не понимала ни слова. Наконец началась долгая церемония, во время которой все много и долго хлопали: собрание объявили открытым и стали выбирать президиум и почетный президиум. Мероприятие продлилось несколько часов, под конец одна из работниц обя-

1. Эрнст Тельман (1886–1944) — лидер немецких коммунистов. Председатель ЦК КПГ с 1924 г. С 1925-го по 1929 г. — депутат Рейхстага. Арестован после поджога Рейхстага в 1933 г. Расстрелян в Бухенвальде.

залась от имени коллектива изготовить знамя для ячейки "Тица" и собственноручно его вышить. Подарок должен был быть готов к тому времени, когда я поеду обратно в Германию. На прощание мы условились, что я осмотрю универмаг, детские сады и новые фабрики. На другой день мне дали гида, который действительно хорошо говорил по-немецки; с ним я прошлась по универмагу, внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы рассказать моим товарищам из "Тица" все как можно точнее. Меня поразило, если не сказать ужаснуло, что в огромном здании, кроме очень искусно расписанных деревянных поделок и красочно расшитых льняных скатертей, продавались только туалетные принадлежности, например, духи с назойливым запахом, а в других отделах царило чудовищное запустение. С особой гордостью мне продемонстрировали "современные" настольные лампы — основание такой лампы представляло собой столбик, на который опирался трубящий в горн пионер из раскрашенного гипса. Маленький абажур над его головой весь состоял из пышных рюшек. При всем желании у меня не повернулся язык похвалить эту "красоту". Зато в детском саду, где все малыши были одеты в красные фланелевые платьица, несмотря на их наголо остриженные головки, я наконец-то смогла воодушевиться и отбросить все дурные впечатления. Меня засыпали внушительными цифрами, касавшимися социальных благ для матерей и детей, и сердце мое вновь забилось веселее. На заводах, куда меня возили на автомобиле, тоже нашлось, чему подивиться, и я судорожно старалась не замечать мусора и беспорядка во дворах, где ржавели под дождем наполовину ушедшие в землю детали станков и даже целая динамо-машина. Но когда я заметила, как на одной из центральных улиц перед витриной толпятся оборванные ребятишки, я больше не могла сдерживаться и спросила своего гида — неужели на всех детей еды не хватает? Мне был дан ответ, который одним махом развеял все мои сомнения и возродил прежнюю веру в идеальную Советскую Россию. Ибо мне поведали, что в СССР сейчас, конечно, кое-чего не хватает, так как приходится экспортировать зерно, чтобы ввозить технику, которая жизненно необходима для развития собственной социалистической промышленности. Однако, как усердно объяснял мне переводчик, если пятилетний план будет выполнен, то есть самое позднее через два года, Советская Россия будет несметно богата. Он энергично заверил меня, что советский народ охотно мирится с временным дефицитом, потому что знает, какое светлое будущее его ждет. Эти

объяснения подействовали как заклинание; мне показалось, что даже солнце стало светить совсем иначе.

Кульминацией моей московской поездки стало празднование 1 Мая: военный парад на Красной площади и торжественный марш, в котором принимали участие сотни тысяч демонстрантов. Я сидела на трибуне совсем близко к Мавзолею Ленина, на балконе которого стоял Сталин, окруженный представителями советского руководства, и я видела, как марширующие мимо толпы махали ему и приветствовали его ликующими возгласами. Разве стали бы люди вести себя так, будь они недовольны положением дел в стране? Я подумала о Германии, где демонстранты — как левые, так и правые — осыпали правительство Веймарской республики только проклятиями и презрением. <...>

Советские сановники и функционеры

Мне вспоминается один случай в Симферополе. Я ехала из Москвы в Крым с группой делегатов, чтобы посмотреть красоты черноморского побережья, и в Симферополе мы ждали автобуса, который должен был отвезти нас в санаторий в Суук-Су. Автобус опаздывал, и, чтобы скоротать время, я пошла вниз по улице, которая тянулась вдоль товарной станции. И вдруг увидела, как по рельсам идет странная группа людей. Мужчины со спутанными бородами, на головах папахи, хотя солнце пригревало по-летнему, а ноги обмотаны лохмотьями. Словно стадо животных, их окриками погоняли солдаты с примкнутыми штыками. Я поспешила назад и спросила гида нашей делегации, что за людей там ведут; в ответ я услышала, что это преступники, враги государства, кулаки, которые убивали в деревнях представителей партии и правительства, жгли амбары и чинили всяческий саботаж и вредительство. Я промолчала — а что мне оставалось? — но покорные, страдающие лица под папахами никак не вязались с тем, как должны были бы выглядеть убийцы и поджигатели. <...>

Знамя

О том, что на самом деле творилось в Советской России, тогда, в 1931 году, я ничего не знала. Я была лишь правоверной делегаткой и, вернувшись из Крыма в Москву, сразу же отправилась в Мосторг, чтобы забрать обещанное знамя для моих товарищей по ячейке. Его принесли. Оно было величиной

в полдвери, изготовлено из тяжелого темно-алого бархата, а в середине красовался светло-голубой земной шар, расшитый серпом и молотом и окруженный желтыми колосьями. Через все знамя тянулись золотые буквы, складывавшиеся в надпись по-немецки: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" В четырех словах насчитывалось три орфографические ошибки, но какое это имело значение? Профсоюзный работник вручил мне сию красоту со словами, что знамя — дружеский дар коллективу универмага "Тица". В Мосторге наивно полагали, что все работники "Тица" должны обрадоваться такому подарку. Наши московские коллеги не подозревали, что вся ячейка состоит от силы из двадцати членов, а я благоразумно воздержалась от объяснений.

Мои берлинские товарищи в универмаге "Тица", равно как и в районном комитете партии, пришли в неистовство, когда увидели знамя во всем великолепии. Передачу знамени членам партячейки универмага обставили как торжественную церемонию, чтобы подчеркнуть политическую значимость этого события. Наш хор разучил революционную песню на несколько голосов, я вызубрила речь, и мы собрали деньги на древко для знамени. Древко покупали в универмаге "Тица" и выбрали самое лучшее — с увесистым медным грифом и ярко сверкающим медным наконечником. Сцену в зале украсили вечнозелеными растениями, а над ней наискось растянули знамя во всю ширину. Около пятисот человек, в основном сотрудники-коммунисты, явились на собрание; вел его тот самый Эрнст Торглер[1], председатель коммунистической фракции в Рейхстаге, которому в 1933 году предстояло сыграть существенную роль в деле о поджоге Рейхстага. Это событие глубоко впечаталось в мою память, быть может, потому, что мне в первый раз приходилось выступать перед столькими слушателями, но, вероятно, еще и из-за особой атмосферы, пропитанной театральностью и сентиментальностью. После короткого выступления Торглера на сцену вышла я; сердце колотилось как сумасшедшее, и, запинаясь, я начала отчет о своей поездке. Волноваться меня заставлял не только страх публичного выступления. Еще раньше, когда я впервые рассказывала о своем путешествии коллегам в "Ин-

1. Коммунист Эрнст Торглер (1893–1963) после поджога Рейхстага добровольно сдался полиции. На процессе был оправдан и затем находился под защитой полиции. В 1935 г. исключен из компартии. С 1940 г. работал в министерстве пропаганды. После окончания войны безуспешно пытался вступить в КПГ, в итоге стал членом СДПГ.

прекоре", я поняла, что на этот раз мне вряд ли удастся выступить так же эмоционально, как обычно. Казалось, четыре недели пребывания в незнакомой стране, к тому же — в "нашем" Советском Союзе, станут для меня неисчерпаемой темой. Но что-то не складывалось, проскальзывали фальшивые нотки, я удерживалась от того, чтобы прямо поведать обо всем плохом, что я повидала за время поездки. Против собственной воли я начала приукрашивать и сыпать пустыми фразами. В свое оправдание могу сказать, что чувствовала я себя при этом скверно. Но дать этому неловкому чувству правильное название я никак не могла. Я лгала не сознательно, просто инстинктивно ощущала, что чего-то недоговариваю. Моя теперешняя речь была такой же. Должно быть, и на слушателей она произвела странное впечатление, не случайно, когда Хайнц, явившись с опозданием, подошел к стоявшему в глубине зала Торглеру, тот шепнул ему: "Смотри, это говорит простая русская коммунистка, которая привезла из России знамя..." Может быть, не только мое жалкое заикание навело Торглера на мысль, что немецкий для меня — не родной; виной тому мог стать и мой необычный наряд. А одета я была, в соответствии с партийной модой, в коричневую кожаную куртку. Подобный костюм мы считали особенно большевистским, хотя никто в Советской России так не одевался.

Речь подошла к концу, и хор запел: "Смело, товарищи, в ногу..." Собравшиеся поднялись. И тут случилось то, чего программа не предусматривала. Никто не покинул зал — все внезапно устремились к сцене, чтобы поближе рассмотреть знамя — подарок из Москвы. Я по-прежнему стояла на трибуне и смотрела сверху на благоговейные лица проходящих мимо людей. Некоторые останавливались и гладили ткань, бережно, словно прикасались к святыне. Прочитав "Пролетарии всех стран...", они замечали ошибки и растроганно перешептывались: "Боже, как непросто пришлось нашим русским товарищам, раз они совсем не знают немецкого..." Один старый рабочий особенно внимательно разглядывал древко. Он потрогал его, провел рукой по полированному дереву и взглянул на резной наконечник: "Черт возьми, вот это отличная работа! Да, нам есть чему поучиться у советских рабочих!" Стоящие вокруг товарищи из "Тица" смущенно отвернулись и промолчали...

На всех последующих демонстрациях мы гордо несли это знамя над головами. Оно давало нам чувство сопричастности нашей пролетарской Родине. Один товарищ взялся следить, чтобы его не повредили. Мы купили для знамени черную клеенчатую обертку на случай дождя, и бархат всегда оставался

сухим. Однако затем к власти пришли национал-социалисты, и, если бы они нашли у кого-то знамя, его владельца неминуемо отправили бы в концентрационный лагерь. Но уничтожить знамя?.. Немыслимо. С ним были связаны наши надежды на будущее. Сама я не могла после 30 января 1933 года проследить за его судьбой, так как вскоре покинула Германию. Однако волею случая в мае 1945 года, возвращаясь из концлагеря Равенсбрюк, я встретила некоторых бывших коммунистов, в том числе товарища из Берлина. Он рассказал мне, что давний член нашей ячейки в универмаге "Тица" годами прятал знамя у себя на чердаке, вопреки всем опасностям, с которыми это было сопряжено. Вероятно, впоследствии оно погибло во время одной из бомбежек. <...>

Быть *или не быть* КПГ?

В 1930 году Сталин в разговоре с Нойманом впервые раскритиковал его методы борьбы с нацистами. Он упрекал его в "левосектантской массовой политике". Тогда этих нападок Сталина Нойман не понял. По прошествии года, в течение которого Ноймана неоднократно ругали в Коминтерне за то, что он продолжает свою "левосектантскую" политику, Сталин снова имел с ним разговор. У диктатора было обыкновение облачать приказы или суждения в наводящие вопросы. Во время этой беседы, которая состоялась в конце 1931 года, Хайнц пытался оправдать свою политику возрастающей угрозой со стороны нацистов.

Сталин перебил его:

— А не думаете ли вы, товарищ Нойман, что, если в Германии к власти придут националисты, они будут заняты исключительно Западом и мы сможем в тишине и покое строить социализм?

Я никогда не забывала этот вопрос Сталина, так как это было первое, о чем Хайнц рассказал на вокзале Фридрихштрассе в Берлине, когда вернулся из Москвы. Мы пытались разгадать смысл этой фразы, который, впрочем, был очевиден, но мы изо всех сил не желали его понимать и старались отыскать в этом высказывании другое значение. Мы гнали от себя мысль, что эти слова могут отражать внешнеполитические намерения Сталина. Сейчас, когда прошло уже более пятидесяти лет, можно посмотреть на позицию Сталина с другого ракурса, а именно, как на логическое следствие его политической программы, которую он пытался претворить в жизнь с конца двадцатых годов. Ленин после победы боль-

шевиков твердо рассчитывал на революцию в Германии. Это была существенная часть его веры в интернационализм. Успехи социалистического строительства в Советской России должны повлечь за собой, полагал Ленин, победоносные революции в других европейских странах. После смерти Ленина его преемник Сталин очень скоро усомнился в правильности интернационального подхода и его шансах на победу. Поэтому уже в конце двадцатых Сталин провозгласил, что сначала нужно построить социализм в своей собственной стране. А после 1930 года он окончательно похоронил все надежды на интернационализм и мировую революцию в старом большевистском смысле; на смену пришел ядреный русский национализм и империалистические завоевательные планы. Революции в соседних странах отныне должны были свершаться с помощью Красной армии. В соответствии с этой новой внешнеполитической концепцией, которая уже не имела ничего общего с исходной коммунистической программой большевиков, изменилась и сталинская политика в отношении Германии. Отбросив ленинские надежды на германскую революцию, Сталин изо всех сил старался такой революции не допустить. Для его империалистических целей националистическая Германия была полезнее, чем коммунистическая. Поэтому он прилагал все усилия, чтобы коммунисты не смогли объединиться с социал-демократами, и даже приказывал КПГ выступать совместно с нацистами, в то же самое время разжигая все более непримиримую вражду между КПГ и СДПГ[1]. Вероятно, он боялся социал-коммунистической Германии. Боялся, что если к власти в Германии придут коммунисты, то благодаря индустриальному могуществу этой страны немецкая секция Коминтерна может поставить под сомнение главенство Советской России. Поэтому, начиная с 1931 года, он делал все, чтобы систематически ослаблять боевую мощь КПГ и таким образом воспрепятствовать коммунистической революции.

Сталинский рупор Мануильский[2] пытался прикрыть эту политику лицемерной ширмочкой, заявив в январе 1932 года, что национал-социализм следует рассматривать как своего рода пролог к пролетарской диктатуре, так как он якобы способствует разгрому СДПГ и профсоюзов. Дескать, после

1. СДПГ – Социал-демократическая партия Германии.
2. Дмитрий Захарович Мануильский (1883–1959) – высокопоставленный политический деятель, в 1921-го по 1923 г. – первый секретарь ЦК КП Украины, с 1922 г. – сотрудник Коминтерна.

этого рабочие массы доверят управление КПГ. Даже после 1933 года Сталин упорно продолжал следовать прежнему плану и рассчитывал осуществить свои завоевательные замыслы, заключив союз с национал-социалистической Германией. Кривицкий, который был руководителем советской Военной службы новостей по Западной Европе, бежал из Советской России, а в 1940 году выпустил книгу "Я был агентом Сталина", где рассказал, что Сталин приказывал ему постоянно поддерживать контакты с Германией вопреки гитлеровскому Антикоминтерну. Только в 1939 году Сталину представилась долгожданная возможность заключить с Гитлером печально известный пакт. Он поделил с нацистами Польшу и обеспечил германскому вермахту надежный тыл, чтобы тот смог раздавить Запад. Тем временем он надеялся "в тишине и покое построить социализм", а потом под шумок посредством революций, совершенных с помощью Красной армии, присоединить ослабленную войной Западную Европу к вымечтанной великорусской империи.

В течение 1931 года Тельмана, Реммеле и Ноймана несколько раз вызывали в Москву, критиковали и призывали к покорству и сотрудничеству. Снова и снова Ноймана обвиняли в "двуличии", потому что официально он следовал новой линии, а в действительности продолжал, как и прежде, бороться с нацистами. <...>

В *Советском Союзе. 1932 год*

Дом Коминтерна

В мае этого года нам приказали немедленно прибыть в Москву. Мысль воспротивиться приказу Коминтерна никогда не приходила Хайнцу Нойману в голову. Во всяком случае, вслух он подобных мыслей не высказывал. Впрочем, он никак не ожидал, что отзыв в Москву означает окончательное отстранение от партийной работы в Германии. Незадолго до нашего отъезда у нас побывала Хильда, судетская немка, жена Амо Вартаняна[1], который дружил с Хайнцем. Она приехала из Москвы и заклинала меня взять с собой как можно больше вещей, необходимых в хозяйстве.

1. Амаяк Арменакович (Амо) Вартанян (1902–1938) – с 1932-го по 1935 г. – парторг ЦК ВКП(б) на авиационном заводе в Горьком. Расстрелян.

— Не забудьте туалетную бумагу! В Советской России все в дефиците. О нехватке продуктов я вообще молчу!

Наслушавшись этих предостережений, я уже начала собирать огромный плетеный короб, когда Хайнц застал меня за приготовлениями. Он отругал меня. Как только я могла поверить трепотне мещанки Хильды! Он, мол, ничего не знает о дефиците в Советской России. Таскать за собой много чемоданов, по мнению Хайнца, пристало только буржуа, а уж никак не революционеру. Все его пожитки должны умещаться в один чемодан, который он сам может унести. Только тогда он будет готов в любой миг сорваться с места. Если закрыть глаза на огромные ящики Ноймана с книгами, сам он оставался верен этому принципу, однако меня так и не смог перевоспитать. Семь лет в концентрационном лагере впоследствии показали мне, что прожить можно с гораздо меньшим количеством вещей. Но до того я таскала за собой по миру свои "буржуазные пожитки".

Мы приехали в Москву в конце мая и поселились в просторном номере на втором этаже отеля "Люкс", где размещались все коминтерновцы. Нашим соседом справа оказался французский коммунист Андре Марти, слева через несколько комнат жил некто Вильямс, русский индолог из Коминтерна (его настоящего имени я так и не узнала). Он жил вместе с высокой светловолосой американкой, которая своей застывшей улыбкой, казалось, извинялась перед всеми и каждым за сам факт своего существования. Когда мы встречали ее в широких, но темных коридорах этого старомодного отеля, она жалась к стене, словно боялась занять слишком много места. Вильямс, маленький тощий человечек с нездоровым желтым цветом лица, по утрам и вечерам ходил в шелковом халате с восточными узорами, чудесно сочетавшимся с убранством его номера, стены которого украшали яркие гобелены с диковинными орнаментами и змеиная кожа. Из дальневосточной миссии Вильямс привез, кроме сувениров, еще и малярию. Когда он говорил об этой болезни (а говорил он о ней много и часто), нельзя было не почувствовать, как он прямо-таки гордится тем, что пожертвовал здоровьем во имя мировой революции.

Однажды Андре Марти, наш сосед справа (его и наша комнаты, к сожалению, сообщались), пожаловался, что мы шумим. Он был прав, и на следующий день я постучалась к нему, чтобы извиниться. Первое, что я увидела, войдя в комнату, — это большое полотно маслом, на котором бушевало синее море, а по морю плыли украшенные красными знаменами военные корабли. Мне ничего не оставалось, кроме как почти-

тельно склонить голову перед революционным прошлым нашего соседа, ибо в 1918 году, во время Гражданской войны в России, он сумел на этих французских военных кораблях, стоявших под обороняемой большевиками Одессой, поднять бунт. Об этом подвиге Марти и напоминала картина. После того как он тихим, немного жалобным голоском изложил мне, что после многолетнего тюремного заключения очень страдает от каждого шороха, его беспокоит даже жужжание мухи, меня пронзило горькое сознание нашей непочтительности. Тогда я, конечно, не могла даже вообразить, что спустя четыре года этот герой с истрепанными нервами войдет в новейшую историю Коминтерна как Мясник Альбасете и его сверхчувствительные уши с легкостью выдержат свист пуль, которыми во время Гражданской войны в Испании будут убивать людей по приказу русского НКВД.

В каждом из многочисленных номеров "Люкса", нашего нового дома, жил какой-нибудь функционер Коминтерна, один или с семьей. На нижних этажах обитали "сливки" Интернационала. Первый номер этого коминтеровского дома, состоявший аж из нескольких комнат, занимал теоретик Коминтерна Варга[1] с женой и сыном; но от этажа к этажу персоны становились все менее важными, и на самом верху ютились, по несколько человек в одной комнате, стенографистки и технические работники. Комендант — так именовался директор "Люкса" — строго придерживался новых советских понятий о верхах и низах и в соответствии с ними обустраивал свое хозяйство.

Уже в первые дни московской жизни у нас в гостях побывал товарищ Кнорин[2], политический руководитель среднеевропейского отдела Коминтерна. Чтобы наша комната смотрелась уютнее, я повесила в углу у двери занавеску, за которой спрятались раковина и посуда для еды и готовки. С изумлением, близким к восторгу, Кнорин отметил мое изобретение и с любопытством заглянул за занавеску, где увидел в том числе вешалку для полотенец, на которой красовались крохотные эмалевые таблички с надписями: "Для тарелок", "Для ножей", "Для рук". Из груди его вырвался восхищенный возглас:

1. Евгений Самуилович Варга (1879—1964) — венгерский ученый, экономист, видный деятель Коминтерна.
2. Вильгельм Георгиевич Кнорин (урожд. Кнориньш; 1890—1938) — руководитель информационно-пропагандистского отдела Коминтерна, руководитель коллектива авторов-составителей "Краткого курса истории ВКП(б), с 1927-го по 1937 г. — член ЦК ВКП(б). Расстрелян.

— Вот это здорово! Да, сразу видно... Германия приехала!

Позже мы нанесли Кнорину ответный визит в Дом правительства, и тогда настала моя очередь удивляться. Квартира была обставлена унылой, но совершенно новой мебелью, чего я до сих пор ни разу не видела в Москве. Из вежливости я сказала, что мне нравится обстановка, а Кнорин объяснил, что ее полностью меняют, по крайней мере, четыре раза в год. Через определенные промежутки времени мебельная фабрика все вывозит из квартиры и заново обставляет ее новейшей продукцией. Я сперва подумала, что неправильно поняла его, так как не могла представить себе, что каждые несколько месяцев человек может добровольно избавляться от всей своей мебели; кроме того, это никак не сочеталось с тем, что рассказывали мне о жизни в Москве друзья и знакомые. В 1932 году в этом городе было попросту невозможно купить хоть что-то из обстановки.

В *гостях у Сталина на Черном море*

Не успела я втянуться в настоящую московскую жизнь и сравнить новые впечатления с прошлогодними, как нам пришлось отправиться в трехнедельную поездку на Кавказ. Мы всего неделю прожили в "Люксе", когда Хайнцу позвонили из сталинского секретариата и вызвали на беседу в Кремль. Он ожидал этого и надеялся, что тут-то ему и представится возможность обсудить со Сталиным все разногласия, из-за которых Нойману больше не дают заниматься партийной деятельностью в Германии, и объяснить свою политическую позицию. Сталин встретил его дружелюбно, словно между последним разговором, который имел место зимой 1931 года, и теперешним ничего не произошло, и первым делом задал тот самый вопрос, который вот уже почти два года задавал при каждой встрече с Хайнцем:

— Что поделывает ваш друг Ломинадзе? Когда вы последний раз с ним виделись?

Конечно, это могли быть пустые вежливые фразы — при разговоре с любым другим человеком ничего иного нельзя было бы и заподозрить. С любым — но не со Сталиным, который наверняка знал, как теперь ненавидит его прежний сторонник Ломинадзе. Сталин был известен тем, что не забывал и не прощал ни бранных слов в свой адрес, ни политической критики. Чего же он добивался, из раза в раз повторяя один и тот же назойливый вопрос? Быть может, просто хотел поставить Хайнца в неловкое положение, потому и попрекал

его дружбой с одним из своих личных врагов? Или это была скрытая угроза? Не исключено, что измена и ненависть Ломинадзе так глубоко поразили Сталина, что он снова и снова заговаривал о нем. Однажды, когда Бесо еще рьяно отстаивал политику Сталина, тот сообщил Хайнцу, что Ломинадзе — единственный из поколения молодых большевиков, кого он желал бы видеть своим преемником. Конечно, весьма примечательное признание для генерального секретаря КПСС, который уже в конце двадцатых годов, по всей видимости, ощущал себя единовластным правителем и даже подыскивал наследника трона. Личные отношения между Сталиным и Ломинадзе резко оборвались в 1930 году, однако агенты ГПУ, надо думать, подробно информировали Сталина, какая именно политическая критика звучит на тайных заседаниях группы Ломинадзе-Шацкина[1], где никто не стеснялся в выражениях. Я, конечно, сомневаюсь, что Сталину в полной мере передавали, насколько непочтительно отзывался о нем Ломинадзе. В последнюю свою встречу с Хайнцем Ломинадзе был крайне подавлен и, когда речь зашла о будущем, сказал, что следует ожидать худшего: Сталин, как кавказский виноградарь, мыслит понятиями кровной мести и использует свою власть, чтобы задушить остатки свободы в Советской России и принести коммунистические движения в других странах в жертву замыслам, которые тешат его манию величия.

Хайнц ответил на ставшие привычными вопросы Сталина о Ломинадзе, рассказал, что тот работает партийным секретарем на железо- и сталелитейном комбинате в Магнитогорске, хотя точно знал, насколько хорошо Сталин обо всем этом осведомлен. Затем Хайнц попытался перевести разговор на тему, которая была ему особенно дорога, а именно поговорить о Германии, но Сталин мягко его перебил, поинтересовавшись, был ли Хайнц в этом году в отпуске. Хайнц ответил, что на отпуск у него нет времени, и Сталин, лукаво подмигнув, тут же предложил поехать на Кавказ — дескать, теперь-то можно, когда работы поубавилось. Не дожидаясь ни согласия, ни отказа, Сталин сообщил, что сам в эти дни планирует отдохнуть в Мацесте и надеется, если Хайнц поселится в одном из соседних пансионатов, там с ним встретить-

1. Лазарь Абрамович Шацкин (1902–1937) — советский партийный деятель, один из основателей комсомола. В 1930 г. вместе с Ломинадзе и Сырцовым образовал блок, который Сталин назвал “право-левацким”. В 1935 г. арестован и исключен из партии. Расстрелян.

ся и обсудить все вопросы. Хайнц принял это предложение, и сталинский секретариат уладил кучу формальностей, ведь в Советской России не каждый мог просто так взять и поехать в отпуск. Маленькому человеку для этого требовалось разрешение партийной организации, так называемого профсоюза или руководства предприятия. Только эти вышестоящие органы и могли оформить ему желанную "путевку", которая давала право приобрести билет и запросить место в доме отдыха или санатории. Разумеется, при распределении путевок учитывалась далеко не только потребность человека в отдыхе: прежде всего он должен был быть хорошим работником, по возможности "ударником" и, конечно же, "политически благонадежным".

Тем временем из провинции в Москву приехал хороший друг Хайнца Вальтер Бертрам – одно время он был редактором "Красного знамени" в Берлине, а затем уехал в Советскую Россию, чтобы поучаствовать в социалистическом строительстве, и стал работать редактором газеты поволжских немцев. Бертрам недавно перенес тяжелую болезнь, поэтому мы уговорили его поехать с нами. Он бегал целыми днями, чтобы собрать нужные для поездки документы, и купил за сто рублей "путевку" в тот же дом отдыха, где получили места и мы. Затем Перси – это была его партийная кличка – добыл в "Инснабе", закрытом магазине для иностранных специалистов и работников Коминтерна, все, что полагалось по его и нашим продуктовым карточкам, чтобы мы, как он объяснил, не оголодали за время долгого путешествия. Он посмеялся над Хайнцем, который заявил, что еду можно купить и в дороге, на станциях. Перси получше нас знал про нужду и голод в сельской местности и заявил, что мы бы глазам своим не поверили, если бы увидели все как есть.

И вот мы устроились в "международном вагоне", в купе класса "люкс" скорого поезда, который повез нас на юг. Но, несмотря на изоляцию, нам очень скоро пришлось столкнуться с советской действительностью. Мы подъезжали к какой-то крупной станции, когда проводница предупредила нас, чтобы мы плотно закрыли окна купе на время остановки, иначе нас обязательно ограбят. Поезд остановился, и мы тут же их увидели – этих маленьких воришек. На них были рваные мужские куртки, которые свисали ниже колена, а из засученных рукавов торчали тощие грязные детские ручонки. Они стояли за поездом, который прикрывал их от платформы, и пристально наблюдали за окнами вагонов. Едва заметив нас, они закричали, размахивая руками:

— Дай, тетя, дай хлеба! Дай папиросы!

Эти маленькие попрошайки со старообразными лицами, покрытыми копотью, были беспризорниками; они появились в России после революции и Гражданской войны, а когда в результате насильственной коллективизации наступил чудовищный голод, стали шататься по стране большими стаями, воруя и попрошайничая. Четверо или пятеро из этих маленьких оборванцев, которым было не больше двенадцати лет, ехали с нами зайцами, повиснув на осях между колесами скорого поезда. Они тоже стремились на юг, чтобы вкусить все блага курортного сезона. Естественно, без всякой "путевки", даже без железнодорожного билета. Их не ждали санатории, и они наотрез отказались бы жить в любом из многочисленных детских домов, разбросанных по черноморскому побережью. Больше всего беспризорники любили свободу и ради нее готовы были голодать, воровать и спать под открытым небом. ГПУ силой помещало их в государственные детские дома, а если там они вели себя плохо, то есть раз за разом пытались сбежать, их как заключенных отправляли в сибирские лагеря. Конечно, обо всем этом я узнала позднее, только в 1938 году, когда сама попала в лагерь. Лагерным воспоминаниям посвящена моя книга "В заключении у Сталина и Гитлера"[1]. Но в 1932 году я еще питала иллюзии (особенно после того, как посмотрела советский фильм "Путевка в жизнь"[2]), что с этими бездомными детьми все обстоит так, как показано в киноленте. Я верила, что их отвозят в прекрасные приюты, где умелые педагоги воспитывают из них достойных членов советского общества.

Целью нашего путешествия был Сочи. Этот город расположен на Черном море, соленые воды которого в хорошую погоду имеют красивый темно-синий оттенок, но в бурю становятся черны, как ночь, из-за чего море и получило свое имя. Почти до самого берега тянутся в Сочи горы, густо поросшие лесами, а за ними высятся снежные вершины Кавказа. В большом парке с темно-зелеными кипарисами, могучими кедрами и другими субтропическими деревьями стоят белые виллы, которые в царские времена принадлежали бо-

1. В книге "В заключении у Сталина и Гитлера" (1949) сравниваются советские лагеря, куда Бубер-Нойман попала после расстрела Хайнца Ноймана, и немецкие нацистские лагеря, в которых она содержалась после 1939 г., когда в числе других немецких коммунистов была передана Германии. На русский язык книга не переводилась.
2. Фильм Николая Экка (1931) о перевоспитании подростков в Болшевской трудовой коммуне.

гачам и аристократам. Некоторые из этих домов построены с размахом, другие невелики и имеют идиллический вид. Между ними разбросаны скучные одноэтажные деревянные строения — архитектурный вклад первого десятилетия советской власти. Все расположенные в парке здания принадлежали дому отдыха для партийных функционеров, к которому мы были приписаны. Нас проводили к очень странному дому с плоской крышей. Здание в таком стиле лучше смотрелось бы в Северной Африке на краю пустыни, чем в этом зеленом саду. С жаркого полуденного солнца, изможденные долгим путешествием, мы попали в прохладную полутемную комнату, куда свет проникал сквозь разноцветные окошки, проделанные под высокой крышей, так что нельзя было ни выглянуть из них, ни их открыть. В комнате царил полумрак, воздух был затхлый, как в часовне. Алтаря, конечно, не было, зато имелись две шаткие, очень жесткие походные кровати, неуклюжая железная подставка, на которой стоял помятый таз, и два потрескавшихся деревянных стула, явно отслуживших свое. Только мы собрались проверить, как выглядит комната Перси, как в дверь постучали и вошла, приветливо поздоровавшись, уборщица в узорчатом ситцевом платье и спортивных тапочках на босу ногу. Наливая свежую воду в жестяной таз, она охотно отвечала на расспросы Хайнца о необычной вилле и о том, кто в ней жил прежде.

— Этот дом построили для великого певца Шаляпина, — с гордостью сообщила она.

Когда она ушла, мы, покачав головами, решили, что старина Шаляпин имел весьма диковинный вкус. Впрочем, в его время комнаты наверняка были обставлены лучше, чем сейчас, через пятнадцать лет после Октябрьской революции.

— Только представь себе великана Шаляпина на этой походной лежанке! — смеялся Хайнц. — Она бы точно под ним проломилась!

Вернулась женщина в белом платке, положила на кровати белье и сообщила, что скоро позвонят к завтраку. Затем нерешительно подступила ко мне и потрогала мое летнее платье. При этом она тараторила так быстро, что Хайнц не поспевал переводить. Она дивилась великолепному качеству заграничной ткани и, не переводя дыхание, тут же принималась жаловаться, что в Сочи вообще ничего невозможно купить. Затем она поинтересовалась, откуда мы, и, услышав, что из Германии, не могла взять в толк, почему мы избрали для отдыха бедную Россию. Я не понимала, что Хайнц ей отвечал, но выглядел он не очень уверенно и быстро сунул в руку тараторя-

щей женщине коробочку с едой, оставшейся с дороги, после чего она рассыпалась в благодарностях и ушла, сияя.

Странное белье на кроватях, которое мы сперва приняли за пижамы, при ближайшем рассмотрении оказалось... санаторной одеждой. Мы весело принялись за примерку. Серые тиковые брюки и пиджак поверх рубашки без воротничка были обязательны для всех отдыхающих мужчин. Женский пол получал серую тиковую юбку, такой же пиджак и белую блузку в придачу. В качестве головного убора всем, и мужчинам и женщинам, выдавали белые зюйдвестки. Мерить одежду до выдачи не имело смысла: окажись она велика или мала, длинна или коротка — какая разница? Такого понятия, как элегантность (не говоря уж о сексапильности), здесь вообще не существовало. Мужчинам в придачу ко всему наголо брили головы. Дело в том, что в Советской России бытует странное представление, будто без волос мозг отдыхает лучше, так как получает больше солнца и воздуха. Поэтому в начале лета волосы отрезают не только мальчикам, но иногда даже и маленьким девочкам. Еще в доме отдыха выдавали бамбуковые трости, на которые можно было опираться, передвигаясь по гористой местности. Особенно серо и уныло отдыхающие в своих убогих мешковатых нарядах смотрелись на фоне помпезного главного здания — вилла походила на дворец в стиле классицизма, с претенциозным парадным крыльцом и широкой балюстрадой, которая огибала большую террасу, выходящую на море. В тот момент подобные мысли вызвали у меня очень неприятное чувство, и я судорожно пыталась их отогнать: пусть безвкусно, пусть уродливо, но в конце концов так ли важны соображения эстетики по сравнению с тем фактом, что нынче все люди в Советской России — я все еще так думала — получили возможность проводить отпуск как следует? Ведь до революции хороший отдых могло себе позволить только зажиточное меньшинство.

Однако уже в первые дни мне пришлось признать: с нами, тремя иностранными коммунистами, что-то не так. Наше представление об отдыхе разительно отличалось от представления советских функционеров и ничуть не соответствовало строго расписанному режиму; в результате неприятные инциденты следовали один за другим, и в конце концов нас заклеймили как "недисциплинированных". Началось все с утренней гимнастики, в половину восьмого раздался назойливый сигнал побудки — металлической колотушкой стучали по куску подвешенного железнодорожного рельса. Мы не подчинились этому неблагозвучному сигналу, сделав вид, будто нас он не касается. После завтрака, который, как обед и

ужин, сервировали в большом зале главного здания, все показывались врачу — неважно, болен человек или здоров. Этого мы тоже не сделали, потому что знали: подобные осмотры влекли за собой целую вереницу предписаний. Какой же это отдых? Мы хотели купаться в море, греться на солнышке и лазать по горам. Однако при этом забыли одну мелочь — мы находились в коллективе. Впервые отправившись на море, мы столкнулись с новой проблемой. Нашему дому отдыха принадлежал собственный пляж, который тянулся вдоль всего парка и был отгорожен от пляжей, прилегавших к соседним домам, массивной оградой из колючей проволоки. Этот частный пляж делился на две равные части: справа — для женщин, слева — для мужчин, Так как все купались голыми, между двумя пляжами оставили длинную полоску ничейной земли, чтобы никто не испытывал стыда. Самое прекрасное из удовольствий — купание — нам пришлось бы вкушать порознь. Мы этого не хотели и, ко всеобщему возмущению, втроем расположились на ничейной земле.

В доме отдыха имелся штатный "физкультурник", которому вменялось в обязанность заставлять коллектив все время двигаться. День начинался с утренней гимнастики, затем следовали групповые экскурсии в окрестные леса, волейбол, вечерние посиделки под музыку местного ансамбля и тому подобные детсадовские забавы. Если бы все эти удовольствия не походили бы так сильно на обязанности, мы бы непременно приняли в них участие — уж снобами-то мы не были. Но нас не покидало чувство, будто все эти коллективные развлечения совершенно сознательно включены в программу отдыха, будто где-то наверху нарочно придумали, как помешать советским гражданам даже в отпуске побыть наедине с самими собой. Эта опека вызывала у нас протест.

Во время купания мы наблюдали за необычными рыбами, плавающими меж круглых черных камней около берега. Хайнц вспомнил, что в детстве у меня среди прочих зверушек были рыбки. И он подумал: а не завести ли нам аквариум на время отдыха? Эта идея нас вдохновила, однако в Сочи ее трудновато было воплотить, потому что даже самые примитивные стеклянные емкости нигде не продавались. Хайнц, однако, разрешил проблему гениально. Он пошел к поварихе дома отдыха и выклянчил большую старую супницу, которая явно сохранилась еще с царских времен. И новая затея так увлекла нас, что мы забыли обо всем на свете. Нашими стараниями супница преобразилась, словно по волшебству в ней появилось миниатюрное морское дно с песочком, ракушками и разными камушками самых красивых форм и цветов. За-

тем началась охота. Сачком служил большой носовой платок. Перехитрить морских рыб было не так-то просто, но мы проявили терпение и упорство, не опускали руки при неудачах и в конце концов сумели изловить трех рыбешек. Когда рыбки благополучно привыкли к супнице и совсем освоились, мы гордо двинулись с нашей добычей через парк к дому Шаляпина. Сразу набежали любопытные, так как мы и раньше рассказывали о нашей задумке с аквариумом. Один человек сообщил нам, как эти рыбки называются, расхвалил богатство Черного моря и спросил нас, какова цель нашей затеи и не занимаемся ли мы зоологией. Мы честно ответили, что от зоологии далеки и хотим просто позабавиться; почтенный функционер покачал головой и отвернулся, пораженный таким ребячеством. В наш адрес посыпались колкости, звучали даже намеки, будто бы из-за несерьезности немецких коммунистов и провалилась тамошняя революция. Со временем, впрочем, в сочинском доме отдыха все вроде бы привыкли к тому, что мы были сами по себе и проводили время, как нам вздумается — во всяком случае, коллектив проявлял удивительное терпение. Позже я, конечно, поняла: тот факт, что мы иностранцы, был смягчающим обстоятельством. С точки зрения окружающих, мы просто не дозрели до того, чтобы приспособиться к их социалистическому образу жизни, уж слишком большое влияние оказывали на нас отсталые обычаи и нравы капиталистического строя, и попытки повлиять на нас представлялись им, вероятно, бессмысленными.

Но вот прозвучал долгожданный телефонный звонок, и вскоре за Хайнцем приехала машина. Он отправился в Мацесту, расположенную в нескольких километрах от Сочи. На холме, в огромном парке, тянувшемся до самого моря, стояла сталинская вилла. Всю вершину горы и, естественно, кусок побережья соответствующей величины отгородили от внешнего мира высокой стеной. Летняя резиденция генерального секретаря Коммунистической партии помимо сталинской виллы включала еще и несколько гостевых домиков, теннисный корт и даже купальню, в которую по длинным трубам подавалась серосодержащая вода из целебных источников Мацесты: делалось это для того, чтобы Сталин со своей сохнущей рукой, которая от ревматизма совсем ослабела и деформировалась, мог купаться отдельно от остальных отдыхающих. Во время летнего отдыха Сталина охраняло целое подразделение ГПУ, дома чекистов располагались у подножия холма за большими воротами, там же, где гаражи для многочисленных машин. Шофер, который вез Хайнца в Мацесту, принадлежал, разумеется, к тому же особому подразде-

лению. Тем вечером мы с Перси напрасно прождали Хайнца. Только в четыре утра он вернулся в Сочи, и ему немалых трудов стоило добиться, чтобы его впустили в парк в это неурочное время. Надежно огороженную территорию нашего парка охранял сторож с заряженным ружьем, который никак не мог взять в толк, откуда можно явиться в Сочи посреди ночи. Только после долгих уговоров удалось убедить его, что Хайнц действительно живет в доме отдыха. Первый визит на горную виллу, где Сталин проводил отпуск с женой Надей Аллилуевой и обоими детьми, не оправдал ожиданий Хайнца. В этот вечер он оказался одним из множества гостей, которые много ели и еще больше пили; политическая беседа при таких обстоятельствах было невозможна. Зато он стал свидетелем удивительного случая. Гости уже собрались перед виллой, когда на террасу поднялся старый кавказец, которого Сталин сердечно поприветствовал. Затем Сталин представил его, как положено хозяину дома, остальным присутствующим:

— А это товарищ Х., он однажды на меня покушался...

Все стоявшие вокруг изумились и непонимающим взглядом уставились на старика, а Сталин объяснил добродушным тоном, что этот гость не так давно затеял террористический заговор с одной-единственной целью — Сталина убить. Но благодаря бдительности ГПУ покушение не удалось, а несостоявшегося убийцу приговорили к смерти. Однако Сталин посчитал, что будет правильным помиловать этого старика, действовавшего в националистическом ослеплении, а чтобы тот почувствовал, что обида раз и навсегда забыта, пригласил его в гости сюда, в Мацесту... Пока Сталин все это рассказывал, старик стоял, опустив глаза, перед толпой гостей.

Мы с Перси хором выпалили:

— Ты думаешь, это действительно возможно?

Однако после первой непосредственной реакции мы втроем принялись подбирать аргументы, опровергавшие доводы здравого смысла. Мы убеждали друг друга, что Сталину доступна такая высота духа, к тому же могли сыграть роль и политические соображения, и быстро провели успокоительную историческую параллель с Лениным, который тоже помиловал покушавшуюся на него женщину[1]. Конечно, сравнение хромало. Ведь если социал-революционерка Дора

1. М. Бубер-Нойман ошибается: Фанни Каплан (партийная кличка — Дора) была расстреляна через несколько дней после покушения. (*Прим. перев.*)

Каплан Ленина ранила, то в случае с покушением на Сталина до стрельбы дело не дошло. Но это существенное отличие ускользнуло от нас. Не стоит забывать, что на дворе стоял еще только 1932 год. После сталинской Большой Чистки и показательных процессов мое мнение об этой сцене в Мацесте полностью изменилось. Тот старый кавказец был всего-навсего несчастным, из которого ГПУ выбило ложные признания и которого Сталин избрал, чтобы продемонстрировать гостям, да и другим людям за пределами этого узкого круга, свое величие.

<...>

Запасшись свертком с продуктами и прихватив различные "талоны", по которым в специальных местах давали горячие обеды, мы втроем отправились в путешествие. <...> Когда мы прибыли в абхазскую столицу Сухум, там царила тропическая жара, и мы тащились по раскаленным улицам и площадям с пыльными пальмами. <...> Нашей целью был знаменитый обезьяний питомник недалеко от города, который нам посоветовал посетить бывший руководитель заповедника Отто Юльевич Шмидт. О. Ю. Шмидт был хорошим другом Хайнца Нойманa. В конце двадцатых годов он был полярным исследователем и прославился после крушения ледокола "Челюскин" в 1934 году. В сухумском обезьяньем питомнике изучали прежде всего человекообразных обезьян. В большом вольере, который охватывал целый горный склон, поросший лесом, обезьянам создали почти естественные условия обитания. Естественно, из-за этого посетителям, которых водили по всему заповеднику по высокой и очень широкой стене, удавалось увидеть их лишь мельком. <...>

Позже О. Ю. Шмидт рассказал нам еще и нечто удивительное из своей сухумской жизни. В питомнике предпринимались попытки оплодотворить самку обезьяны семенем человека и наоборот. Со страниц одной научной советской газеты женщин призывали поучаствовать в этих экспериментах. Очевидно, многие поняли призыв неверно или не поняли вовсе — речь шла о попытках искусственного оплодотворения. Сухумский обезьяний питомник завалили письмами, в которых женщины изъявляли готовность во благо советской науки спариться с самцом обезьяны. Пришлось разъяснить отправительницам маленькое недоразумение. Впрочем, по словам О. Ю. Шмидта, все попытки скрестить человека с обезьяной путем искусственного оплодотворения провалились.

<...>

В Сочи Хайнца ожидало новое приглашение в Мацесту. Он уехал с теми же надеждами, что и в прошлый раз, и вер-

нулся столь же разочарованный. За эти недели, хотя он побывал в гостях у Сталина четыре или пять раз, ему так и не удалось завести желанный разговор о Германии, и к концу нашего отпуска он уже не сомневался, что Сталин избегал этого совершенно осознанно. Конечно, оставалось неясно, зачем он вообще позвал Хайнца в Сочи: был ли это просто дружеский жест или в ходе этих бесед Сталин хотел понять, насколько Нойман еще годится в качестве политического инструмента.

Хайнц знал Сталина и его жену Надю Аллилуеву на протяжении многих лет. К Наде он питал глубокое уважение. Возможно, он ее идеализировал, но, судя по тому, что он о ней рассказывал, Надя была замечательным человеком. Она была не только красива — крупное, правильное, очень спокойное лицо и глубокие темные глаза, — в первую очередь Хайнца очаровывали ее ум и простота. Надя никогда не строила из себя жену "великого Сталина". Несколько лет она проучилась в техническом институте, чтобы получить профессию. Каждый день ходила пешком на работу. Пристально следила за тем, чтобы ее детям могущество отца не ударило в голову. Кроме того, у нее всегда было собственное мнение, которое она не боялась высказывать.

Хайнц всегда верил или хотел верить, что они жили душа в душу. В Мацесте ему пришлось в корне изменить свое мнение. Когда машина в очередной раз привезла его на горную виллу, Сталин ждал его в беседке, где был накрыт стол для чая. Едва они уселись, как в саду появилась радостная Надя с ракеткой в руке и издалека поздоровалась. Сталин спросил с интересом, кто же выиграл матч, она или Ворошилова, и Надя ответила со смехом, что в этот раз победила она. Затем она придвинула кресло к столику, села и стала слушать разговор Сталина и Ноймана. Вскоре они упомянули чье-то имя, и Надя, перебив Сталина, сказала раздраженно:

— Такой неприятный тип — мерзкий честолюбец!

Сталин сердито оборвал ее и, ничего не ответив, резко осведомился у Ноймана, считает ли он, что честолюбие — дурная черта. Хайнц рассказывал мне, как потрясла его внезапная перемена в Надином лице — его исказила ненависть. Он желал только одного — поскорее покончить с этой темой. Но Сталин не отступал, казалось, он очень хотел проучить Надю. Хайнц уклончиво сказал, что честолюбие честолюбию рознь и все зависит от того, в чем именно человек хочет достичь высот. И снова Надя вмешалась в разговор, голос ее звенел:

— Речь не о честолюбии как таковом, а о конкретном человеке, которого я считаю вредным паразитом. Поэтому я его терпеть не могу!

Сталин отодвинул свой стул и повернулся к Наде спиной. Несколько минут царило ледяное молчание, затем Сталин обратился к Нойману, перейдя к другой теме, и вел себя так, будто Нади вообще не было. Она поднялась, лицо ее горело, и молча покинула беседку.

Пока они со Сталиным прогуливались по огромному саду, заросшему густым кустарником и высокими деревьями, к ним присоединились офицеры из сталинской личной охраны. Внезапно грохнул выстрел. Один из офицеров прицелился из револьвера в птицу, и тут всех охватил охотничий азарт. Всех, за исключением Хайнца, — у него единственного не было оружия. Он с изумлением наблюдал, как каждую подстреленную птицу записывали на счет Сталина, как офицеры дивились сталинской меткости и обмениваясь льстивыми восклицаниями. Лицо Сталина сияло от глубокого удовлетворения. Тем временем наступил вечер, и все общество отправилось в кегельбан. Игра под названием "городки" — старинная русская забава, которая отличается от немецкой тем, что кегли составляют определенные фигуры. Игроки подкреплялись закусками, вином и водкой, что изрядно подогревало их спортивный азарт. Хайнц не разбирался в этой игре и вынужден был постоянно сносить насмешки Сталина. Но он не обижался на язвительно-недобрые замечания и толковал игру на политический лад. Кегли он назначил нацистскими вождями, и как только одна из них падала, кричал, что вот и Гитлер схлопотал по башке, а вот и Геббельс — кто приходил ему на ум. Это, похоже, так понравилось Сталину, что у него вырвался возглас:

— Слушайте, Нойман! Да этот Гитлер — настоящий чертяка!

Играла граммофонная музыка, Сталин снова и снова ставил свою любимую пластинку, и все подпевали:

Пейте, братцы, попейте!
А на землю не лейте!..

Уже перевалило за полночь, а игра продолжалась. Из дома к играющим вышла Надя и попросила не шуметь, так как ни она, ни дети не могут уснуть. Сталин не удостоил ее ни взглядом, ни ответом, а собравшимся велел наконец-то повеселиться вволю, вытащил револьвер и стал палить по пустым бутылкам из-под вина. Этим адским грохотом он мстил Наде

за то, что она посмела возражать. На третьей неделе нашего пребывания в Сочи Хайнц снова получил приглашение, и они снова сидели втроем. И тут Сталин задал странный вопрос:

— Скажите-ка, Нойман, а вы на самом деле мусульманин?

Хайнц озадаченно глянул на Сталина и спросил, что он под этим подразумевает.

— Не прикидывайтесь дурачком. Вы отлично знаете, что я имею в виду! Если бы вы не были мусульманином, разве стали бы вы прятать от нас свою жену?

Нойман пошел в контратаку и заявил, что в Германии принято приглашать жену вместе с мужем, но такого приглашения мы не получали. Именно поэтому его жена не приехала в Мацесту. Но Сталин не спасовал.

— Да вы хуже мусульманина — вы типичный немец! И из-за этого ваша жена должна сидеть дома и штопать чулки, пока вы тут развлекаетесь. Неужели у вас, немцев, так заведено?

Надя заметила смущение Хайнца и вмешалась:

— А что, разве штопать чулки — позорное занятие? Это тоже должен кто-то делать... И все-таки, пожалуйста, привезите вашу жену, когда в следующий раз сюда поедете. Тогда мы расспросим ее лично — вдруг вы домашний тиран?

Из этого приглашения ничего не вышло, так как несколько дней спустя Нойман получил телеграмму — срочный вызов в Москву. Поэтому мне так и не довелось познакомиться со Сталиным и Надей лично.

Б*ракованный рай*

Кто на самом деле инициировал преждевременное возвращение Ноймана в Москву, так и осталось неясным. Когда он узнал, что его хотят послать в Испанию в качестве члена коминтерновской делегации, чтобы он "показал себя" и искупил свои грубые политические промахи, его надежды на скорое возвращение на родину рухнули. Естественно, Нойман попытался отказаться от этой поездки, но не сумел. То, что он вдруг понадобился Коминтерну, было одновременно и показательно, и удивительно. Функционер, которого из-за его политической позиции отстранили от руководства коммунистической партией в собственной стране и теперь за эту позицию непрерывно "прорабатывали" в печатных органах Коминтерна, — этот самый функционер должен был проводить линию партии в другой стране (которую он к тому же совершенно не знал), дабы поставить на место тамошних упря-

мых товарищей и реорганизовать испанскую секцию Коминтерна. <...>

И вот мы снова в Москве: живем в "Люксе" и ждем отъезда в Испанию. Мы получали суточные от Коминтерна, и Хайнц, зарывшись в книгах, готовился к новой работе, в то время как я штудировала "1000 испанских выражений". Мы много с кем общались. У Хайнца было немало друзей, и поток гостей в нашем номере не иссякал; люди засиживались чуть не до утра, это было обычным делом и в "Люксе", и у наших русских знакомых. Но в настоящей жизни города мы участвовали не больше, чем если бы были в Москве только проездом. Конечно, как и все москвичи, мы стояли в очередях на автобус или трамвай, или за билетами в театр, но в остальном мы вели довольно спокойную жизнь. Никто не заставлял нас заниматься партийной работой и уж тем более не посылал в поля собирать урожай. Мне не приходилось, как большинству советских женщин, каждый день томиться в очередях, чтобы добыть самое необходимое: как ответственный работник Коминтерна, Хайнц имел так называемую "инснабовскую книжку", дававшую право покупать продукты и вещи в закрытом магазине, который предназначался в основном для иностранных специалистов и по сравнению с магазинами для обычных советских рабочих снабжал своих покупателей более чем роскошно. Люди, не принадлежавшие к привилегированной касте, получали по продуктовым карточкам в фабричных магазинах по большей части только черный хлеб, подсолнечное масло, немного сахару и темной муки. Все, в чем остро нуждается любая хозяйка, чтобы хоть как-то накормить семью, приходилось покупать на колхозных рынках по высоким ценам. Это при том, что Москву, в ущерб сельским районам, снабжали всем необходимым в первую очередь — и все равно на каждом шагу чувствовалась чудовищная нехватка самого насущного. О том, каковы истинные масштабы катастрофического голода, бушевавшего в больших сельскохозяйственных регионах СССР, в те годы, по крайней мере в наших кругах, никто не имел представления. Моя подруга Хильда, работавшая в некой конторе, наняла для своей дочурки Светланы няню. Ее звали Шура, и была она пятидесятилетней крестьянкой, которая уже несколько лет как покинула родную деревню, хотя у нее там осталась семья, и никогда не рассказывала о своей прежней жизни. Однажды я зашла к Хильде в гости и увидела, как Шура на кухне сушит хлеб. Я поинтересовалась у Хильды, что она готовит из хлебных обрезков, и узнала, что няня каждую неделю посылает на родину посылку с продуктами, которые припасла, во всем се-

бе отказывая. Как-то мы вместе с Хильдой пошли на почту — к окошку для приема посылок тянулась нескончаемая очередь. Я спросила в изумлении:

— Что все эти люди делают здесь, на почте?

— Посылают хлеб родным, — ответила Хильда, словно это само собой разумелось. — Как Шура, я же тебе рассказывала.

От этого объяснения меня пробрал ужас, сродни тому, какой я ощущала всякий раз, когда на вокзале или на колхозном рынке видела оборванных крестьян, которые покорно сидели у своих свертков, или беспризорников. Чувство это напоминало тошноту: судорожно сжимался желудок, накатывали страх и отчаяние. Неужели все было напрасно, неужели не оправдались надежды на богатую, счастливую жизнь при социализме? Но эти приступы отчаяния причудливым образом проходили так же быстро, как и накатывали. Разумеется, утешала я себя, скоро кризис будет преодолен. Но в ту пору я, жившая в гетто коминтерновских функционеров, не имела никакой возможности увидеть размах кризиса, о котором рассуждала. Слухи о голоде были для меня всего лишь пугающими вестями из неведомого мира. И все-таки я доверяла таким людям, как Перси и Хильда, которые рассказывали мне подобные истории. В то время я уже не могла запросто назвать их контрреволюционерами, как тремя годами раньше — Панаита Истрати. Но мир, в котором свирепствовал голод, жестокий, косящий людей голод, не имел ничего общего с моей повседневной жизнью. Иногда я раскрывала “Правду” или “Известия”, и Хайнц зачитывал мне что-то вслух (ведь я едва могла связать два слова по-русски), но о бедственном положении на селе там никогда не было речи. Словно в редакции и не слышали ничего о голоде. Эту тему в прессе ни разу не затронули. Позиция газет всегда была одинаковой — читателю неустанно твердили, что Советский Союз стремительно двигается в светлое будущее, а его граждане постоянно помнят о своем общественном долге и исполняют этот долг с радостью в сердце, под знаменем надежды. Чаще всего в печати и в устных выступлениях встречалось слово “прогресс”. В ту пору ходил один безобидный, но очень показательный анекдот (конечно, рассказывающий намекал, что шутка “троцкистская”). Якобы на торжестве, посвященном новому, 1932, году, где собрались старые большевики, встал Бухарин и произнес такую речь:

— Товарищи! Только что завершился 1931 год! Начался год 1932-й! И я спрашиваю вас, товарищи: разве это не прогресс?!

Летом 1931 года Сталин произнес речь, которая повлекла за собой фундаментальные изменения в жизни советских граждан, проводимые под лозунгом “Против уравниловки!”. Я тогда еще не знала, что в результате борьбы против “уравниловки” различия в оплате труда достигнут немыслимых размеров и таким образом из людей в Совéтской России постараются выжать более высокую производительность. Странные последствия этой кампании я наблюдала только в столовой “Люкса”. В один прекрасный день заднюю часть столовой отгородили большой занавеской, и удивленные работники Коминтерна узнали, что отныне функционеры с “более высокой” ответственностью будут вкушать еду несравнимо лучшую, нежели большинство рядовых сотрудников, рабочих и домохозяек — эти будут питаться еще хуже, чем раньше. Дисциплинированные сотрудники Коминтерна безропотно подчинились этим “социалистическим требованиям”, да и не только они — по всей стране творилось то же самое.

В Москве находилось одно весьма вызывающее заведение — “Торгсин”. Это был магазин, в котором за иностранную валюту, золото и серебро можно было купить все, чего не было в этой бедной стране. Там продавалась даже посуда и хозяйственные принадлежности. Я вспоминаю восторг моей подруги Хильды, которая приобрела там на остатки наших немецких монет детскую ванночку. К витринам, в которых красовались масло, белый хлеб и румяные яблочки, ломился голодающий народ и пожирал глазами недоступные сокровища.

<...>

В начале тридцатых в Советскую Россию ехали многие современные западноевропейские архитекторы — воодушевившись идеей социалистического строительства, они рассчитывали заняться поистине стоящим делом и помочь в возведении нового социалистического мира. Мечтали строить поселения, а то и целые города, и верили, что социалистическое государство дарует им для этого безграничные возможности. В Россию стремились архитекторы с мировым именем, такие как Корбюзье, Гропиус, Перре, Ханнес Мейер, Май, Таут и другие.

Прибыл в Москву и известный пражский архитектор Яромир Крейцар, принадлежавший к группе “Баухауз” в Дессау. В Чехословакии он прославился, построив здание санатория в Теплице. Ходили слухи, что советские власти заказали ему построить на Кавказе, в Кисловодске, дом отдыха для работников тяжелой промышленности. Крейцар продемонстри-

ровал свои эскизы, о которых, к его большому неудовольствию, приходилось неделями спорить с представителями власти, хотя те совершенно не разбирались в архитектуре. Ему постоянно предъявляли одни и те же претензии, из-за которых проект отклоняли: стиль слишком напоминает модерн, а вся постройка не отвечает требованиям жизни при социализме. Крейцар, полагавший, что в Советской России все основано на принципах коллективизма и демократии, при проектировании дома отдыха особое внимание уделил красивым общим столовым, гостиным и местам, где можно будет принимать солнечные ванны, — все эти помещения были собраны в одном большом центральном комплексе. Ознакомившись с его планами, эксперты изумленно вопрошали: а где же в этом доме отдыха разместится нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе, когда приедет в отпуск? Уж не ожидает ли Крейцар, что тот будет спать и жить в том же здании, что и простые работники тяжелой промышленности? Тогда Крейцар выдвинул предложение спроектировать отдельную пристройку для Орджоникидзе. Но и этого оказалось мало: по мнению советских специалистов в таком случае сохранится опасность, что ему придется контактировать с толпами отдыхающих. Итак, после нескольких заседаний было решено построить для наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе отдельную виллу, на некотором удалении от дома отдыха. Но и это не решило проблему, так как есть в общем зале, как надеялся Крейцар в своем коллективистском упоении, этот вельможа тоже не мог ни под каким видом. Западный архитектор, еще сохранявший остатки наивности, возражал, что Орджоникидзе могут приносить еду с общей кухни, но оказалось, что Крейцар ничегошеньки не понимает в подспудных классовых различиях этого “социалистического” государства, которые проявлялись прежде всего в том, чем приходилось питаться пролетариату и что могли себе позволить власть имущие. В конце концов Крейцар был вынужден спроектировать не только виллу со всеми службами для наркома тяжелой промышленности, но и множество отдельных домов для прочей аристократии Наркомтяжпрома (Народного комиссариата тяжелой промышленности). В итоговом проекте имелись постройки для пяти разных классов, уровень жизни которых разительно отличался. В процессе бесконечных переговоров чешский ассистент Крейцара как-то заметил:

— И вот мы построим санаторий для пяти разных сословий и обнесем его забором, чтобы беспризорники, не дай бог, не перелезли в бесклассовое общество.

Крейцар тщетно бился два года, а потом, разочаровавшись, покинул Советский Союз, так и не воплотив ни один из своих проектов. <...>

У Хильды я познакомилась с русским инженером и летчиком Сергеем Ст. Он работал под руководством знаменитого авиаконструктора Туполева, был большевиком и, как мне показалось при первых встречах, с незыблемым оптимизмом смотрел на все, что касалось социалистического строительства в Советской России. Сергей происходил из семьи старых польских большевиков. <...>

Два последних дня, что я провела в Москве в 1933 году, были омрачены первым откровенным разговором с Сергеем. Мы устроили прощальную вечеринку в комнате Хильды, и Сергей вызвался проводить меня по пустому ночному бульвару до "Люкса" на улице Горького. Разговор зашел о сталинской речи, произнесенной незадолго до того.

— На эту речь я возлагал последние надежды, но теперь рухнули и они, — сказал Сергей с горечью. — Все, что сказал Сталин, — ложь и лицемерие. Ни единым словом он не обмолвился о том, что́ на самом деле творится в деревне. Уже больше года, с тех пор как крестьян стали насильно загонять в колхозы, они отказываются сеять и жать. Тысячи сидят в своих лачугах в ожидании смерти, тысячи бегут из областей, охваченных голодом... Куда все это приведет?

Вокруг не было ни души, только трамвай прогрохотал мимо, как вдруг меня что-то ударило в плечо. Я сжалась от ужаса, и первой моей мыслью было, что в нас стреляют. Но на том месте, где засела сильная боль, моя кожаная куртка была цела и невредима. Только синяк остался на плече. Я бы наверняка никогда не раскрыла эту тайну, но Сергей стал осматривать замерзший снег на бульваре и очень скоро нашел отгадку: маленький голубоватый металлический шарик, вылетевший из неисправного шарикоподшипника проезжавшего трамвая... Я сунула его в карман куртки в память об этом разговоре январской ночью 1933 года.

Москва — конечная

Запертые в "Люксе"

Прежде я два раза бывала в Москве — в 1931 и 1932 годах, — и особое впечатление на меня произвела русская любовь к дружеским посиделкам, которая передалась почти всем нерусским членам Коминтерна. Люди ходили друг к другу в гости в

любое время и засиживались до рассвета — то была жизнь весьма изнурительная, зато бесконечно увлекательная. Конечно, в те годы споры не были до конца откровенными. Все-таки незадолго до этого разгромили троцкистскую фракцию. Но кое-какими мыслями люди друг с другом делились. Критику режима уже тогда старательно шифровали и высказывали редко, если вообще высказывали, но разные неурядицы обсуждались вовсю, пусть даже и, как правило, только среди товарищей по фракции. Москва, в которую мы приехали в 1935 году, разительно отличалась от той Москвы, которую я помнила. Общение умерло. Конечно, мы объясняли это тем, что сами стали отверженными, изгоями, отщепенцами. А потому едва ли кому-то хватит смелости к нам прийти. Мы быстро поняли, что опальные в Советском Союзе подвергаются безжалостному общественному бойкоту. Несколько старых друзей, таких как Йожеф Лендьел и Генрих Курелла[1], еще не позабыли дорогу в наш номер в "Люксе", но из остальных товарищей почти никто не показывался. Для Хайнца, который любил общение больше всего на свете, это было серьезным ударом. Я видела, как трудно ему переносить изоляцию. Ему казалось, что именно в этом ярче всего выражается поворот к худшему в нашей судьбе. Впрочем, вскоре мы узнали, что между функционерами, которые по-прежнему были в милости, живое общение тоже угасло. Создавалось ощущение, что все всех боятся. Но это нас мало утешало. Скорее угнетало еще больше.

Поэтому мы безмерно обрадовались, когда однажды в гости пришел Амо Вартанян. Армянин Вартанян принадлежал к группе Ломинадзе–Шацкина. С Хайнцем он дружил давно. Некоторое время назад его назначили парторгом на авиационный завод в Горьком — это было одно из тех назначений, посредством которых нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе пытался спасти от погибели молодых оппозиционеров из окружения Ломинадзе. Вартанян на несколько дней приехал в Москву и, вопреки всем опасностям, не преминул зайти к нам.

Хайнц сиял, а я обратила внимание, как изменилось поведение Вартаняна. Еще в 1931 году меня поразило, как переме-

1. Йожеф Лендьел (1896–1975) — венгерский писатель и публицист. С 1930 г. жил в Москве как политэмигрант. В 38-м был арестован, освобожден после смерти Сталина. Вернувшись на родину, написал несколько рассказов о советских лагерях. Генрих Курелла (1905–1937) — немецкий сотрудник Коминтерна, редактор "Инпрекора". Расстрелян в Москве.

нился Ломинадзе по сравнению с двадцатыми годами. Эти молодые большевики были горячими, веселыми, иногда просто буйными парнями. В 1931 году — тогда Ломинадзе уже попал в опалу — я увидела, каким он стал серьезным и подавленным, как ушел в себя. Но Вартанян переменился еще больше. Живость покинула его. Он выглядел как человек, на котором лежит тяжкое бремя.

Амо Вартанян рассказал нам о загадочной смерти, которую Макс Хёльц[1] принял в Волге. Из-за грустного настроения, в котором мы пребывали в то время, его рассказ показался нам еще мрачнее. Вартанян описывал произошедшее скупо, но было очевидно, как сильно хочется ему раскрыть эту тайну. Не его одного гибель Хёльца повергла в смятение. Он утверждал, что всюду, где только узнавали о Хёльце, тут же начинали шептаться, что это дело рук НКВД. Нашей радости от прихода Вартаняна как не бывало.

Он же сообщил нам все подробности смерти Ломинадзе. Я заметила, как Хайнц побледнел, когда Вартанян описывал самоубийство нашего друга. Вартанян подбирал слова, запинался. Он явно старался говорить правду, но в то же самое время осторожность не позволяла даже нам, друзьям, выложить все начистоту.

— Что-то готовится, — сказал он, — до сих пор не могу понять, что именно. Куда ни кинь, всюду слышишь об арестах. Даже на самой верхушке. Повсюду членов партии вызывают на допросы. Следят за каждым шагом. Скоро люди начнут опасаться даже лучших друзей. Что происходит?

Я подумала: если во всем происходящем не может разобраться даже этот русский большевик, что же остается нам, иностранцам? Что-то словно висело в воздухе, сама атмосфера изменилась, ее наполнили слухи, толки, недоверие и, конечно, совершенно реальные факты арестов и допросов. Вартанян продолжал:

— Дело здесь не только в экономике. С 1932 года, со времен большого голода, страна уже оправилась. Хлеба хватает всем — пусть его и немного, но достаточно. Однако о передышке нет и речи. Боюсь, что дальше будет хуже. Думаю, это только начало.

Вартанян встал и начал прощаться:

1. Макс Хёльц (1889–1933) — немецкий коммунист, один из организаторов немецкого рабочего восстания в Центральной Германии в 1921 г., за что был приговорен к пожизненному заключению. Освободившись по амнистии, переехал в СССР (1929). Погиб в 1933 г. при невыясненных обстоятельствах.

— Сходи к жене Ломинадзе, Хайнц. Поговори с ней, чтобы она не думала, что ты веришь той клевете, которую распространяют о ее муже!

Хайнц пообещал, что сходит.

— Бесо был великий человек, — добавил Вартанян уже в дверях. — Он сумел умереть вовремя.

<...>

Прошло около недели, после того́ как Хайнц навестил вдову Ломинадзе. Мы об этом уже забыли и думать, когда, как гром среди ясного неба, раздался звонок: Хайнцу приказывали явиться в Интернациональную контрольную комиссию Коминтерна. В ожидании его возвращения я сидела как на иголках. Что случилось? Что им от него нужно? Не прелюдия ли это к нашему аресту? Хайнц вернулся через три часа. Он был молчалив и подавлен, и мне уже стало почти страшно спрашивать, как все прошло. И вдруг его прорвало.

— Да что они себе думают? — кричал он. — С ума что ли все посходили?

Редко мне приходилось видеть его в такой ярости. В его гневных речах то и дело звучала фамилия Мануильский — по-видимому, он взбесил Хайнца больше всех. Мануильский был секретарем западноевропейского отдела Коминтерна и членом ИКК[1]. Немного успокоившись, Хайнц стал рассказывать, как шел допрос:

— Из каких соображений вы посетили жену Ломинадзе? Какие разговоры с ней вели?

Вот какие вопросы ему задавали. Хайнц отвечал правду: навестил жену умершего друга, чтобы выразить ей соболезнования. Это более чем убедительное объяснение члены контрольной комиссии отбросили с негодованием.

— Может, оно попросту слишком очевидное? — предположил Хайнц. — По-моему, они вовсе не пытаются раскрыть правду. У них одно намерение — забросать грязью.

Мануильский спросил насмешливо, придумал ли Хайнц более убедительную отговорку по поводу второго визита к жене Ломинадзе. Хайнц снова сказал правду. Он забыл у нее плащ и потом зашел, чтобы забрать. Едва он договорил, как члены ИКК разразились хохотом. Особенно Мануильский никак не мог успокоиться. Он издавна претендовал на звание главного клоуна в руководстве Коминтерна. Будучи очень тщеславным, он с удовольствием разыгрывал прожженного

1. Интернациональная контрольная комиссия — высший контрольный орган Коминтерна. Существовала с 1921-го по 1943 г.

циника. Из-за своего тщеславия он иногда позволял себе неосторожные высказывания. Именно он в 1930 году произнес в одной речи следующее замечательное пророчество:

— Через двадцать-тридцать лет мы изумим мир, и так как изумление — важная составляющая нашей победы, бдительность буржуев надо усыпить. Для начала мы поведем мощнейшую кампанию за мир. Мы пойдем на неслыханные уступки, которые ударят, как молния. Глупые капиталистические страны, приходящие в упадок, в своем самодовольстве сами поспособствуют собственному уничтожению. С распростертыми объятиями они примут нас в свой круг, возобновят дружеские отношения с нами, и, как только их бдительность ослабнет, мы повергнем их в прах.

Мануильский заранее рассказал, как мир "изумят", но мир этого не заметил. Много лет спустя, когда "изумление" шло полным ходом, Мануильский был представителем Украины в ООН.

Предложение Пятницкого

Путь в пропасть тоже был неровен. Судьба словно страховала нас, чтобы мы не разбились в одночасье. Кончалась третья неделя нашего пребывания в Москве, когда Пятницкий пригласил Хайнца в Коминтерн. Осип Аронович Пятницкий[1], давно знавший Хайнца, был типичным старым большевиком. Уже больше десяти лет он работал в Коминтерне начальником отдела кадров, распоряжался средствами Комитета и возглавлял Отдел международной связи (в его подчинении находился Абрамов-Миров). По Москве ходил анекдот о самой яркой черте характера Пятницкого — о его скупости. При царизме в обязанности Пятницкого входило распространение запрещенной литературы: он годами жил в подполье и организовал эту работу. Каждый месяц он подсчитывал, сколько денег получил от партии, и в его расчетах всегда присутствовала такая статья расхода: "1/2 копейки на корм канарейке".

Хайнц отправился к Пятницкому с тревожными предчувствиями: именно теперь должно было решиться, дадут ли ему хотя бы возможность работать и какое партийное взыскание

1. Осип Аронович Пятницкий (1882–1938) — одна из ключевых фигур ИККИ (Исполнительного комитета коммунистического интернационала), в 1921–1935 гг. — начальник ОМС Коминтерна. Расстрелян.

на него могут наложить. Тем сильнее поразило его дружеское приветствие Пятницкого, который шутя осведомился, как Хайнцу понравился тюремный санаторий в Швейцарии[1]. Затем он сменил тему и сказал подчеркнуто серьезным тоном:

— Нойман, нехорошо, что вы сидите в Москве, здешний воздух вам не на пользу...

Хайнц ожидал чего угодно — критики, брани, даже исключения из партии, но это безапелляционное заявление, которым начал свой разговор Пятницкий, да еще после того как Ноймана с таким трудом сюда перевезли, оказалось выше его разумения. Позже мы долго ломали голову, что же побудило Пятницкого сделать Нойману то предложение, которое он сделал. Предчувствовал ли он, что близится страшная пора Большой Чистки, жертвой которой Пятницкому суждено было пасть, как и тысячам его соратников по Октябрьской революции? Может быть, это была попытка спасти Хайнца? Так как Хайнц всегда умел быстро реагировать, он тут же выдвинул встречное предложение:

— Так пошлите же меня работать в Германию, если здесь мне нельзя оставаться!

Пятницкий задохнулся от гнева.

— А ну-ка прекратите валять дурака! Вы отлично знаете, что это невозможно! Но я даю вам последний шанс — вы поедете по поручению Коминтерна в Бразилию. Там вы сможете искупить свои ошибки!

Хайнц колебался лишь мгновение.

— Нет, товарищ Пятницкий, я не хочу — я не коммивояжер от Коминтерна! Что я забыл в Бразилии? Почему мне, немецкому коммунисту, не разрешают бороться с нацистами?

— Как вы себя титулуете! — окрысился Пятницкий. — Да вы радоваться должны, что вы все еще в партии! Вашими позорными фракционными делишками вы сами на долгое время лишили себя возможности работать в КПГ. Я вам советую по-хорошему, обдумайте мое предложение в спокойной обстановке, а потом возвращайтесь с ответом.

Я не могла понять, как Хайнц вообще мог колебаться. Ведь командировка означала бы, что мы уедем из этой стра-

1. Поздней осенью 1932 г. жившие в то время в Мадриде Маргарет и Хайнц, по требованию Коминтерна, были отправлены в Цюрих, где поселились на нелегальном положении. Ноймана в Швейцарии разоблачили и арестовали, и только большими усилиями удалось вывезти его в СССР.

ны с ее удушливой атмосферой. В то время как мы на повышенных тонах обсуждали предложение Пятницкого и я пыталась сломить совершенно непонятное сопротивление Хайнца, мне пришла в голову мысль, которая и меня саму поначалу испугала. Когда я ее высказала и увидела ужас и неприятие на лице Хайнца, то почувствовала себя предательницей. Я предложила Хайнцу использовать задание Коминтерна как прикрытие и сбежать по пути в Бразилию. Он ничего не ответил, но на следующий день пошел к Пятницкому и заявил, что согласен.

Предполагалось, что Хайнц станет политическим советником генерала Луиса Карлоса Престеса из бразильской делегации Коминтерна, в которую, помимо еще одного бразильца и американца по фамилии Бэррон, входил также Артур Эверт — немецкий коммунист из старой гвардии. В одночасье наша жизнь переменилась. Комнату загромоздили горы книг о Бразилии, в спешке взятые в коминтерновской библиотеке. Перво-наперво мы должны были узнать как можно больше о стране, за освобождение которой от капиталистического ига собирались бороться. Мы читали о кофейных плантациях, о производстве каучука, о составе населения, о тропических болезнях и о многом другом. Так как книги у нас были в основном буржуазных авторов, я до сих пор помню, какое волнение охватило меня, когда я прочитала у одного немецкого знатока Бразилии, что при отборе рабочей силы на кофейные плантации предпочтение отдают семьям, в которых много детей, так как "маленькие ловкие детские ручонки прекрасно приспособлены для того, чтобы выпалывать сорняки между кофейными кустами и исполнять подобную нетрудную работу"... Такие методы колониальной эксплуатации привели меня в негодование — на время я даже забыла о своих предательских намерениях и загорелась целями генерала Престеса.

<...>

Естественно, мы изучали и португальский язык, но куда важнее была военная подготовка, так как угнетенный бразильский народ нужно было освободить путем восстания, свергнув правительство Варгаса. За пределами Москвы, в Рублево, в строго охраняемом поселке, застроенном домиками коминтерновских функционеров, мы получали практические навыки ведения гражданской войны. Наш преподаватель, имевший не слишком воинственное прозвище Фрид, пытался нам втолковать, как при атаке установить пулемет, а самому спрятаться в укрытии; он же обучал нас искусству точной стрельбы. На практических занятиях я, к своему удивле-

нию, успевала лучше Хайнца, но в теоретических познаниях он решительно меня превосходил.

Тем временем наступил конец июля, и однажды меня вызвал Пятницкий. Он сурово наставлял меня, как себя вести, особенно — как соблюдать конспирацию в дороге. Оказалось, что нам предстоит отправиться в путь под видом канадской супружеской пары, и из нас двоих именно я буду изображать уроженку Канады. Это было уж слишком. Я попыталась возразить, что мой английский никуда не годится, но это не произвело на Пятницкого решительно никакого впечатления. И я никак не могла сообразить, какого рода трудности эти новые фальшивые паспорта могут представлять для моего "плана".

Теперь я могла сама убедиться, насколько Пятницкий скуп. Наш маршрут был четко расписан. Мы должны были отплыть из Дании в канадский порт и оттуда извилистыми путями, частично по воде, частично по суше, добраться до Рио-де-Жанейро. Пассажиры, которые путешествуют на океанских пароходах не туристическим классом, обычно хорошо одеваются. Пятницкий потребовал, чтобы я составила подробный список одежды и прочих вещей, которыми нас нужно снабдить. У нас же не было ничего, кроме эмигрантских обносков. Тщательно все обдумав, мы составили перечень. Пятницкий вычеркнул из него половину и выразил уверенность, что двух платьев для меня и костюма для Хайнца будет более чем достаточно. Только после долгих споров мы сумели его убедить, что старый берлинский картонный чемодан ничуть не отвечает требованиям конспирации, если мы собираемся путешествовать на роскошном лайнере.

Скоро все было готово к отправлению. Не было у нас пока только паспортов и билетов до Ленинграда. Их нам должны были выдать, как всегда делается в таких случаях, только утром, когда коминтерновская машина повезет нас на вокзал. Мы сидели в лихорадочном ожидании, как вдруг вечером зазвонил телефон. Уже неделю в Москве проходил VII Всемирный конгресс Коминтерна. В тот день, решивший нашу судьбу, старого большевика Пятницкого сняли с должности, генеральным секретарем назначили Георгия Димитрова, а Дмитрия Захаровича Мануильского утвердили как второго по значимости человека в Коминтерне. Мануильский нам и позвонил. Убедившись, что говорит с Нойманом, он произнес всего одну лаконичную фразу:

— Нойман, вы не едете! — и бросил трубку.

Все было кончено. Еще много дней стояли в комнате нераспакованные чемоданы. Мы оба отчетливо ощущали, что

упущена последняя возможность. Нам ничего больше не оставалось, кроме как сидеть и ждать.

Спустя многие годы, когда в 1940 году меня выдали Германии и отправили из Сибири в концлагерь Равенсбрюк, мне вспомнился рухнувший бразильский план. Вскоре после прибытия я шла через лагерную улицу, а мне навстречу строем, как было положено в Равенсбрюке, прошла группа евреек. Мне бросилась в глаза вышагивающая рядом с колонной старшая по бараку — высокая женщина с темно-русыми волосами и большими голубыми глазами, которые показались мне знакомыми. Это была Ольга Престес-Бенарио из Мюнхена, жена бразильского народного генерала, которую я в последний раз видела в 1935 году в Москве, в столовой отеля "Люкс".

В конце 1935 года, после неудачной попытки переворота, затеянной коммунистами против Варгаса, их с мужем схватили в пригороде Рио-де-Жанейро. Та же судьба постигла Артура Эверта и его жену Элизабет Сабо. Престеса и Эверта приговорили в Бразилии к тридцати годам каторги, а обеих жен выслали в нацистскую Германию.

В немецкой тюрьме Ольга Престес родила дочку. Ребенка передали родственникам, а Ольгу отвезли в Равенсбрюк, туда же отправили и Элизабет Сабо, которая незадолго до моего прибытия умерла в штрафном бараке.

Ольгу не так-то просто забыть. Она держалась с таким достоинством, что отпугивала даже эсэсовских бестий. В 1942 году ее отравили газом, как и всех остальных евреек из Равенсбрюка.

Здесь, в немецком концентрационном лагере, круг замкнулся. Я до сих пор не знаю, что лучше: крюк через Бразилию или через Сибирь, так как совсем не уверена, было ли у нас самих на той стадии одичания коммунизма достаточно мужества и, что важнее всего, достаточно политической прозорливости, чтобы действительно, как мы намеревались, ускользнуть от судьбы, пустившись в бега.

Крестьяне, бонзы, дипломаты

Поселок Рублево, где мы проходили военную подготовку для поездки в Бразилию, находится совсем рядом с Москвой. Недалеко от деревни, в лесу, за заборами, под бдительной охраной, располагались так называемые дачи — дома отдыха для наиболее видных деятелей Коминтерна. Пока мы там учились, многие дома не пустовали, так как вскоре должен был

начаться VII Всемирный конгресс. В первые же дни конгресса мы столкнулись в общей столовой с одним из вождей французской компартии Марселем Кашеном, которому в ту пору было лет шестьдесят. У него единственного на столе, к удивлению всех присутствующих, стояла бутылка красного вина. Как настоящий француз, он стойко держался за эту привычку, утверждая, что недостаток вина может причинить серьезный ущерб его здоровью. В советских домах отдыха алкогольные напитки, как правило, не приветствовались, а то и вовсе были под запретом.

В память мне запало, как одним солнечным днем мы прогуливались вместе с Кашеном. После того как в Москве мы окунулись в атмосферу недоверия и осторожничанья, которая, как мы позже заметили, царила и в Рублеве, нас ошеломило, как бурно темпераментный француз принялся изливать душу. Его жена, американка, недавно порезала палец и попала в московскую больницу из-за заражения крови. В больнице ей первым делом сбрили волосы. Ее отчаянные протесты не возымели никакого действия.

— Только вообразите себе! Женщина с бритой головой! Это ли не верх варварства?

Кашен был вне себя. К личной обиде примешивалось оскорбленное эстетическое чувство, врожденное у каждого француза, особенно в отношении женщины. Его рассказ навел меня на мысль, которая уже приходила мне в голову за минувшие недели в Москве. Те, кто отваживался на какую-либо критику, по большей части цеплялись за личный опыт, поводом становились случаи, которые сами по себе, быть может, и не имели такого уж большого значения — ведь в конце концов волосы мадам довольно скоро отрастут, как мы утешали Кашена, хоть и сочувствовали ему всем сердцем. Но Кашен не мог не испытывать смутной тревоги: бритая голова жены стала для него символом того беспокойства и разочарования, которые он ощущал, будучи правоверным коммунистом. В глубине души Кашен был недоволен нынешним положением дел в Советской России и вымещал свой гнев на врачах, обезобразивших его супругу.

<...>

Поначалу нам казалось, что в Рублево мы можем вздохнуть полной грудью. Воздух здесь был во всех отношениях лучше, и в нем витало, пожалуй, даже веселье. По-летнему одетые функционеры прогуливались среди ухоженных деревянных домиков или беседовали, сидя на скамейках на солнышке. На спортивной площадке резвилась молодежь. Но длилось это ощущение недолго: вскоре мы поняли, что

веселье — лишь видимость. Я содрогнулась, когда заметила, что в волейбол, который при Советах стал народной игрой, помимо молодежи играл шестидесятилетний Вильгельм Пик[1] в шортах и майке. Каждое движение он делал напоказ, словно бросал окружающим вызов: "Смотрите, какой я молодой да удалой, счастливый да беззаботный! Разве жизнь в Советском Союзе — это не самое прекрасное, что только можно себе представить? Или нет?" И я вдруг осознала то, что на самом деле уже смутно понимала. К этому сводилась вся показушная радость верных линии функционеров. Они изображали беспечную веселость, и горе тому, кто посмеет задумываться, вешать нос, тревожиться о настоящем и будущем! Его тут же заклеймят как жалобщика. Оптимизм стал обязателен. "Жить стало лучше, жить стало веселей" — под таким сталинским девизом прошла самая кровавая эпоха в истории Советского Союза, и Вильгельм Пик скакал по спортивной площадке, силясь изобразить веселье, созвучное этому циничному лозунгу. Там и сям можно было наблюдать смехотворную идиллию. Например, троица, состоявшая из руководителя чешской компартии Клемента Готвальда, являвшего собой апофеоз мещанина, его падкой на роскошь жены, затянутой в корсет и явно страдавшей в нем из-за летней жары, и жеманной барышни, их юной дочки. У Готвальдов было два спутника: элегантный, хорошо выглядевший Рудольф Сланский[2] и маленький суетливый Бедрих Геминдер. Мы с Хайнцем дали им обоим прозвища. Сланского именовали "светским львом", так как он непрерывно ухаживал за дамами Готвальд. А Геминдера прозвали "песиком с поноской", так как выглядел он точь-в-точь как собака, несущая палку. Кто бы тогда подумал, что Сланский станет одной из самых выдающихся жертв коммунизма и утянет Геминдера за собой в пропасть?..

<...>

Однажды утром мы прогуливались по парку, когда я издали приметила сидящего на лавочке Мануильского, а рядом с ним — маленького пожилого товарища с седой бородкой кли-

1. Вильгельм Пик (1876–1960) — немецкий коммунист, один из основателей КПГ, видный деятель Коминтерна.
2. Рудольф Сланский (1901–1952) — чехословацкий коммунист. С 1929 г. — генеральный секретарь ЦК КПЧ. Один из руководителей Словацкого национального восстания 1944 г. В 1952 г. был обвинен в заговоре и приговорен к повешению вместе с десятью другими руководителями КПЧ, среди которых был и Бедрих Геминдер.

нышком, которого не знала. Незнакомец говорил о величии Коминтерна таким подобострастным тоном, что мне показалось, будто я перенеслась в мир Гоголя и Достоевского. При этом его бородка уже покоилась на жилетке Мануильского. Это зрелище так меня впечатлило, что я обратила на него внимание Хайнца.

— Ничего себе! — воскликнул он. — Да это же Х., тот самый, который разговаривал с Молотовым по телефону! Помнишь эту историю?..

Еще бы не помнить! Это была одна из любимейших баек Ломинадзе. Но я всегда думала, что Бесо ее выдумал от начала до конца, как и многие свои анекдоты. Он утверждал, что он сам — или кто-то из его друзей — однажды слышал такой телефонный разговор: "Но товарищ Молотов, вы же художник!.. (Пауза — Молотов что-то ответил на том конце провода). Товарищ Молотов, но вы же преступник!.. (Снова пауза — те, кто слышат разговор, приходят в ужас). Как вы могли так долго таить от нас вашу великолепную статью! Это настоящее преступление! Ни у кого нет такого отточенного слога, как у вас, товарищ Молотов!"

Случай этот потому казался забавным, что в Советском Союзе среди многочисленных авторов, чьи статьи навевали смертельную скуку, старина Молотов, бесспорно, завоевал пальму первенства. А теперь Хайнц заявлял, что "герой" этой байки сидит с Мануильским на лавочке. Я еще раз посмотрела на него, и у меня не осталось ни малейшего сомнения, что байка основана на правде.

Слово "подхалимство" еще в старину приобрело на Руси огромное значение. Но и при советском режиме оно никуда не делось. Позже я часто вспоминала встречу, которая произошла полтора года спустя после нашего пребывания в Рублеве. Было ясное зимнее воскресенье 1936 года. Мы втроем — Хильда Дьюти, Хайнц и я — отправились в Серебряный Бор на берегу Москвы-реки, где так любят гулять москвичи. Мы гуськом шли по узенькой утоптанной тропке между сугробами, громоздившимися по берегам реки. Над ослепительно белыми просторами сияло бледно-голубое безоблачное небо, и кристаллы льда сверкали в совершенно неподвижном, чистом воздухе. Любуясь этим великолепием, мы почти забыли безрадостные московские будни и чувствовали, что мы еще молоды и полны жизни. С хохотом мы валялись в свежем снегу. На километры вперед тянулись плавно изгибающиеся берега реки, и ни единой живой души вокруг.

В одном месте берег зарос так густо, что за деревьями ничего не было видно. Миновав заросли, мы выбрались на по-

ляну — и замерли в изумлении. Нам открылось зрелище, совершенно немыслимое для советской жизни. По снегу несся конь, вздымавший белые клубы снега. Он тянул за собой человека на лыжах.

— Скиджоринг! — хором воскликнули мы.

Этот вид спорта мы в России до сих пор не встречали. Поэтому, как зачарованные, смотрели вслед пролетевшему мимо лыжнику, пока он не исчез за холмом. Мы двинулись дальше, обсуждая представившееся нам зрелище, и пришли к заключению, что это, должно быть, кто-то из зарубежных дипломатов наслаждается чудными зимними деньками. Между тем мы дошли до следующего изгиба и увидели, что на вытоптанном снегу стоит большой красивый автомобиль. Вокруг роскошной машины толпилась кучка мужчин. Как раз в этот миг конь достиг группы ожидающих. Несколько человек тут же подскочили, схватили поводья и стали очень услужливо помогать загадочному спортсмену. До нас донеслись обрывки фраз — говорили по-русски.

— Вот так зарубежный дипломат! — сказал Хайнц с отвращением. — Это какая-то знатная шишка закаляется!

Мы задумались, не повернуть ли назад, так как наша тропка вела прямо к кучке людей вокруг автомобиля. Но все-таки пошли вперед.

— Скорее всего, почтенные люди в темном — личная охрана этого вельможи, — проговорил Хайнц, а когда мы приблизились к галдящей группке на несколько метров, он повернулся к нам и воскликнул:

— Смотрите, даже конь подхалимничает!

Мы расхохотались. Замечание было меткое, так как энергичный скакун, которого держали под уздцы, постоянно откидывал голову назад, а затем склонялся к самой земле, и пена летела у него изо рта. Едва прозвучала шутка Хайнца, как человек в лыжном костюме обернулся, удивленно уставился на нас и с некоторой манерностью произнес:

— Нойман, вы здесь?! Почему не в Испании?! Что вы до сих пор делаете в Москве?!

Мы оказались лицом к лицу с Лазарем Моисеевичем Кагановичем и его обслугой.

Нас всех представили друг другу, мы обменялись вежливыми банальными фразами и вскоре распрощались. Радость от прекрасного зимнего дня была основательно подпорчена. Понадобился огромный “бьюик” и восемь человек охраны, чтобы член советского правительства смог поправить свое бесценное здоровье! Но больше всего поразил нас наглый цинизм, прозвучавший в словах Кагановича. У этого парази-

та хватило наглости попрекнуть, пусть и в вежливой форме, Хайнца тем, что он засиделся в московском тылу, вместо того чтобы рисковать жизнью на фронтах Гражданской войны в Испании. Будто мы по своей воле сидели в Москве!

<...>

То, что веселые забавы в Рублеве на самом деле были плясками на вулкане, мы поняли весьма скоро. Делегаты разных национальностей не общались без надобности. По возможности, люди старались друг от друга спрятаться. А еще внимательно смотрели по сторонам, и по подобострастию, с которым один человек приветствовал другого и разговаривал с ним, было совершенно ясно, кто действительно в милости, а кто уже подстреленная птица. Само собой разумеется, в столовой мы сидели за столиком одни. Никто не отваживался к нам подсесть. Люди ограничивались коротким прохладным кивком и избегали с нами общаться. Лишь немногие, как великодушный француз Кашен, нарушали общий бойкот. Контраст между этим недоверием, осторожничаньем, заискиванием — и солнечной летней погодой, сельской атмосферой и нарочито радостным отпускным настроением действовал нам на нервы гораздо больше, нежели одиночество в большой Москве. Там мы могли закрыться в своей комнате. Внешний мир к нам не вторгался, и нам не приходилось ему непрерывно противостоять. Неудивительно, что в Рублеве напряжение день ото дня росло, и неудивительно, что наше пребывание там завершилось совершенно неожиданно.

Однажды в Рублево заехал старый русский знакомый Хайнца. Оба обрадовались случайной встрече, и русский товарищ пригласил нас после обеда зайти в его летний домик, находившийся поблизости. Разумеется, водки выпили немало, и, когда хозяин вечером отвез нас назад в Рублево, они с Хайнцом оба были пьяны. Мы вылезли из машины перед воротами пансионата. Перед нами расстилались зеленые насаждения, редкие клумбы, чистые дорожки парка. Многочисленные делегаты и работники Коминтерна в этот непоздний час еще были на улице, сидели на скамейках или расхаживали туда-сюда маленькими группками, погрузившись в беседу. И тут я увидела, как исказилось лицо Хайнца. От водки его шатало. Тишину летнего вечера разорвало проклятие — одно, другое, третье... Он орал срывающимся голосом, орал по-немецки и по-русски. Все, что скопилось у него на душе за это время, вырвалось наружу. Алкоголь смел все запоры. Он обрушился на бюрократов и контрольную комиссию, на всю систему и на лицемерие функционеров. Я в ужасе застыла, ведь кричал он так громко, что товарищи из Коминтерна в

саду не могли не слышать его брань. Унять его мне не удавалось, единственное, что я могла, — это как можно быстрее утащить его в нашу комнату, где он провалился в пьяный сон. Когда я разбудила его на следующее утро и, все еще находясь под впечатлением от вчерашнего происшествия, сказала, что мы должны как можно скорее покинуть Рублево, он посмотрел на меня удивленно. Хайнц ничего не помнил. Когда я объяснила ему, что он натворил, он согласился. Здесь нам нельзя было оставаться ни дня. Мы быстро собрали вещи и уехали. Через парк мы шли, как через строй под шпицрутенами. Куда ни глянь — всюду возмущенные лица и осуждающие взгляды. Убежденные в своей правоте люди не могли упустить такой лакомый кусок. Попутный грузовик довез нас до Москвы.

<...>

Ночь *наступает*

После того как внезапный звонок Мануильского поломал наши бразильские планы, мы на продолжительное время лишились возможности проявлять всякую инициативу. Мы сидели и ждали — пусть хоть что-то случится. Но ничего не происходило, кроме нового вызова в ИКК, где Хайнца обвинили в поношении VII Всемирного конгресса, но необъяснимым образом ни разу не упомянули вспышку в Рублеве. Быть может, в глазах ИКК пьяное состояние было смягчающим обстоятельством, ведь пьянство в России — дело обычное, в том числе при Советах. Так как на просьбу Хайнца дать ему работу реакции не последовало, он принялся за написание брошюры, в которую планировал включить материал о Бразилии, собранный за последние недели. Повод к этому ему дал провал коммунистического восстания в Рио-де-Жанейро и арест Престеса и Эверта. К нашему великому изумлению, этот труд, посланный в издательство "Иностранный рабочий" под псевдонимом Октавио Перес, даже опубликовали.

Прошли месяцы, прежде чем Хайнцу наконец разрешили подвизаться в издательстве "Иностранный рабочий" в качестве переводчика; я состояла при нем секретаршей. Чтобы мы не оказывали политически вредного влияния на других сотрудников издательства, работу приносили прямо в наш номер в "Люксе". Первым делом нам передали только что вышедшую "Историю Гражданской войны в России", которую Хайнцу предстояло перевести на немецкий. Так как большую часть текста написал Максим Горький, эта работа доставляла

художественное наслаждение. В Советской России переводчикам научных трудов платили очень хорошо, поэтому, если мы усердно работали четырнадцать дней в месяц, на заработанные деньги могли прожить четыре недели. В свободные четырнадцать дней Хайнц работал для себя. У меня в то время сложилось впечатление, что он лихорадочно пытается найти у Канта, Гегеля, Маркса и Ленина объяснение непонятному для него и в то же время очень тревожному развитию марксистского учения в Советской России. Он рассуждал о нарушении принципа внутрипартийной демократии, и, пока сталинская государственная полиция по всей стране арестовывала, допрашивала, убивала и похищала людей, Хайнц сидел за письменным столом и старательно штудировал учение о государстве Гегеля, пытаясь найти объяснение нынешнему положению дел и получить, наконец-то, ответ, который бы его удовлетворил.

В этот последний московский год, когда наша жизнь проходила по большей части в четырех стенах гостиничного номера и то и дело предоставлялись поводы позлиться и поругаться, наша любовь и дружба, наоборот, стали глубже, чем раньше. Хайнц не уставал говорить мне ласковые слова. Однажды он сидел, как обычно, за столом, погрузившись в работу, читал и старательно делал заметки, а я входила и выходила из комнаты. Затем я устроилась в уголке дивана и принялась читать. Шли часы, но Хайнц не шевелился и не говорил ни слова. Вдруг он выпрямился, повернул ко мне испуганное лицо и сказал виноватым голосом:

— Какой кошмар! Только подумай, я о тебе совсем забыл — забыл, что есть такой человек, как ты...

В другой раз он трогательно жаловался, что у него больше нет возможности писать мне письма, ведь мы все время рядом. Со смехом я предложила ему, раз уж так хочется, послать мне письмо со стола на диван, и он так и сделал. Это было последнее его любовное послание ко мне — в хронологическом порядке он записал все ласковые прозвища, которые давал мне в течение семи лет нашей любви, а было их немало — почти сорок. Больше всего меня поражало, что ему удалось сохранить чувство юмора. Резким напряжением воли он мог вынырнуть из глубочайшего отчаяния и развеять печаль неожиданной шуткой или маленьким остроумным спектаклем. Это может показаться странным, но придется признать, что никогда мы не смеялись так много и громко, как в эти мрачные месяцы, — зачастую настолько громко, что однажды немка из соседнего номера, которая очень страдала в нынешней пугающей обстановке, спросила удивленно:

— Над чем вы так много смеетесь? Неужели вам хочется смеяться?

Но мы инстинктивно чувствовали, что это помогает против страха и отчаяния. Много лет спустя мне нередко встречались бывшие заключенные немецких лагерей, чьи лагерные рассказы состояли в основном из смешных эпизодов.

Летом 1936 года мы поехали в отпуск в Евпаторию, в Крым. Погода стояла прекрасная. Мы плавали, валялись на пляже и пытались забыть Москву и наше положение. В качестве переводчиков мы зарабатывали по советским меркам хорошие деньги. Поэтому могли себе позволить какое-то время пожить на частной квартире, пусть и отвратительной. Там имелось радио. Вечером 20 июля мы услышали новость, которая заставила нас замереть и зачарованно слушать. В Испании два дня назад разразилась гражданская война. Трудно описать настроение, в которое нас повергло это известие. Внезапно у нас вновь появилась надежда. Мы снова были воодушевлены, так как теперь не подлежало сомнению: Интернационал жив, несмотря ни на что. На следующий же день мы прервали отпуск и вернулись в Москву.

Сразу по приезде Хайнц пошел к Мануильскому, чтобы заявить о своей готовности работать в Испании. Мануильский не сказал "нет", но и соглашаться не спешил.

— Посмотрим, посмотрим, — большего Хайнц так и не добился от секретаря Коминтерна.

Снова ожидание. В первые же десять дней гражданской войны Португалия выпустила ноту в связи со зверствами, которые республиканцы устроили в Мадриде. В этой ноте Бела Кун[1] и Хайнц Нойман фигурировали как ответственные агенты Коминтерна. Якобы они подписывали бесчисленные смертные приговоры. А между тем оба сидели в московском отеле "Люкс". Но Мануильский воспользовался этими клеветническими заявлениями как поводом сказать Хайнцу, что при таких обстоятельствах неблагоразумно посылать его в Испанию.

Поэтому мы со страстью следили за событиями в Испании из Москвы, и героическая борьба республиканцев против путчистов-реакционеров приобретала в наших глазах невиданный размах. Они боролись не только за свободу, но

1. Бела Морисович Кун (1886–1938) — венгерский и советский коммунист, политический деятель. С 1920 г. — председатель Крымского ревкома. С 1921 г. — член Исполкома и Президиума Коминтерна. Активно участвовал в организации массовых казней в Крыму. Расстрелян.

еще и за нашу веру. Как бы эта вера ни поизносилась, героическая борьба интернациональных бригад в Испании вдохнула в нее новую жизнь. На короткое время нам даже удалось не видеть и не слышать того, что происходит в советской действительности. Мы не пропускали ни одного выпуска кинохроники, и, когда мы видели на экране осаду Мадрида, разбомбленные дома, детские трупы и марширующих на фронт бригадистов, душа и болела, и одновременно радовалась за Испанию.

Но наше вновь вспыхнувшее воодушевление отравляли дурные предчувствия. Ведь несмотря на происходящее в Испании, жить нам по-прежнему приходилось в советской действительности. Мы старались не замечать ее, но это не помогало. Партийная "чистка", этот страшный инструмент, которым изощренно орудовала советская власть, была изобретением Ленина; в 1921 году ее уже проводили самыми драконовскими методами, и теперь она снова набирала обороты. Нынешнюю чистку, которая, то усиливаясь, то ослабевая, шла с 1933 года, Сталин обогатил некоторыми нововведениями. Я застала этап, объявленный 13 мая 1935 года и продолжавшийся до 29 сентября 1936-го[1]. Тогда проработке подверглись не только члены КПСС, но и иностранные коммунисты, эмигрировавшие в Советский Союз. "Чистка" состояла в том, что каждый член партии сдавал свой партбилет, а возвращали его только тогда, когда этот член доказывал на партсобрании предприятия (или любого другого места, где он работал) свою "чистоту". Идею породил, впрочем, не Сталин. Партийная чистка уже проходила после Октябрьской революции. Тогда она служила для защиты от пробравшихся в ряды коммунистов "контрреволюционных элементов". Но зачем это понадобилось Сталину? Чистка превратилась в оружие против собственной партии. Она повергала членов партии в страх и смятение. Впрочем, впоследствии, когда хлынула большая волна арестов, оказалось, что чистка послужила великолепной подготовкой: об-

1. 13 мая 1935 г. Политбюро одобрило внесенный Н. И. Ежовым проект, который предусматривал подготовку и проведение кампании "по упорядочению учета, выдачи и хранения партбилетов". Под этим предлогом начался новый этап массовых репрессий. 29 сентября 1936 г. состоялось заседание Политбюро, на котором было принято решение об оказании военной помощи Испании. За три дня до этого, 26 сентября, с поста наркома внутренних дел был снят Г. Г. Ягода, а на его место назначен Н. И. Ежов, что ознаменовало начало нового, самого обширного этапа репрессий. (*Прим. перев.*)

винительные документы, подготовленные, уже были собраны и разложены по папочкам.

На партсобраниях каждый не просто мог, а обязан был публично указать на все темные пятна, которые имелись в прошлом или настоящем товарищей по партии. Но политическими обвинениями люди не ограничивались. Частная жизнь товарищей тоже подробно освещалась. Каждый был свидетелем, обвиняемым и обвинителем в одном лице. Выступая против товарища Х., докладчик прекрасно знал, что вскоре его самого могут пригвоздить к позорному столбу, а потому вовсе не думал проявлять храбрость и стойкость — напротив, ради спасения собственной шкуры он пытался доказать судьям, что у него достаточно "пролетарской бдительности", и изо всех сил старался измыслить против товарища Х. столько подозрений, сколько возможно. Судейская коллегия состояла из партийных товарищей, которые "чистку" уже прошли. Выслушав все стороны — эту мутную смесь критики и самокритики, — они удалялись на совещание, где обсуждали, может ли член партии, чье дело только что рассматривали, получить назад свой партбилет (ведь это становилось своего рода честью — остаться в рядах партии), нужно ли ему вынести "выговор", "строгий выговор" или "выговор с последним предупреждением", а то и вовсе исключить несчастного из компартии. Все это разбирательство было более чем серьезно, так как каждый знал, что исключение из партии вполне может повлечь за собой немедленный арест. Удивительно, но до нас "чистка" не добралась. Партбилетов у нас и так не было, ведь мы приехали из подполья. Но ни разу нас не вызвали ни на какое собрание, подобное описанному, — разве что Хайнца часто тягали в Интернациональную контрольную комиссию. Но, возможно, мы для партии просто больше не существовали, и номер в "Люксе" был могилой, в которой нас оставили тихо догнивать.

Вдобавок ко всему прочему, едва мы вернулись из Евпатории, как нам привезли огромную рукопись для перевода из издательства "Иностранный рабочий". Это был протокол большого процесса против Зиновьева, Каменева и ряда других обвиняемых, который имел место в августе 1936 года, — первый из больших московских показательных процессов. Работа над переводом осталась для меня одним из самых тошнотворных воспоминаний того года. Только что начало гражданской войны в Испании почти заставило нас забыть о том, что творилось в Советском Союзе. И вот, читая протокол, мы вновь сталкивались с тем, что вызывало у нас отвра-

щение и страх. А затем произошло событие, имевшее решающее значение.

Одним августовским утром я заваривала чай на общей кухне нашего гостиничного этажа, когда соседка шепнула мне, что этой ночью арестовали Генриха Зюскинда. Бывшего редактора берлинского "Красного знамени" Зюскинда исключили из партии как "примиренца". Он жил через две комнаты от нас, на том же этаже в отеле "Люкс". Между нами, опальными, и им, изгоем, завязалась за минувший год тесная дружба. Еще вчера мы сидели вместе, в ушах еще звучало его вежливое "Спокойной ночи!", которое он произнес на прощание. Удивительное человеческое свойство: мы по-настоящему чувствуем опасность лишь тогда, когда беда настигнет близкого друга. Ведь как переводчики мы только что прожили весь показательный процесс над Зиновьевым и Каменевым и каждый день слышали о новых и новых арестах! Конечно, от мысли обо всех этих кошмарах мурашки бежали по коже, но страх оставался безличным — это был абстрактный страх, который сковывал меня и выводил из равновесия, но который я, тем не менее, не могла полностью отнести к себе и к своей жизни. И только слова соседки: "Генриха Зюскинда арестовали!" — с пугающей внезапностью превратили страх в реальность.

Эти слова потрясли меня. Я развернулась и бросилась в нашу комнату. Прежде чем я успела сообразить, понял ли Хайнц вообще, что я ему сообщила, он уже выбежал в коридор. Я слышала, как он крикнул:

— Я хочу сам убедиться...

Он прошел несколько шагов до двери Зюскинда и постучал. Я испуганно смотрела ему вслед. Через бесконечно долгую минуту дверь приоткрылась и показалось заплаканное лицо Ани Виковой, жены Зюскинда.

Хайнц вернулся скоро и в изнеможении рухнул на стул.

— Больше я не сомневаюсь — теперь я знаю, что они хватают невиновных, — простонал он.

Разве мы не виделись с Зюскиндом каждый день? Не вели с ним бесконечных разговоров? Не знали точно, что этот человек — не предатель, что он просто не может быть предателем? Игра в вопрос-ответ, столь же безумная, сколь целенаправленная, составлявшая суть показательного процесса, который мы переводили на немецкий, подробные обвинения Вышинского, смехотворная и одновременно пугающая смесь откровенной лжи и вывернутой наизнанку правды — все это касалось людей, с которыми мы не имели дела каждый день, чьих сокровенных убеждений не знали наверняка.

Обвиняемые не защищались. Они признавались во всех преступлениях, которые на них вешали, с такой однообразной покорностью, словно пребывали в трансе. У меня было чувство, что они признали бы за собой даже больше преступлений, чем им предъявляли. Я не могла этого постичь. Разве это не старые революционеры? Почему они не борются за собственную шкуру? Почему у них не хватает мужества отстаивать свое мнение? И неужели нет хотя бы тени возможности, что они на самом деле виновны? Как мы могли быть в чем-то совершенно уверены? Но Зюскинд! Зюскинд был невиновен! Все произошло здесь, в нашем коридоре, через две комнаты от нас — под покровом ночи забрали невиновного. Слезы Виковой были настоящие, реальность больше не имело смысла оспаривать. Хайнц сидел тихо, погрузившись в свои мысли. Я только догадывалась, что творится у него на душе, но наверняка не знала, так как он об этом не говорил.

— Как бедная Аня? — спросила я у него.

— Я посоветовал ей немедленно идти на Лубянку и узнать, что с Генрихом. Она пообещала, что так и сделает.

Вечером в гости пришел Генрих Курелла. Он уже знал об аресте Зюскинда. Подобные новости в ту пору разлетались по Москве молниеносно. Курелла и Зюскинд состояли в одной фракции. Обоих зачислили в примиренцы, поэтому Курелла особенно тяжело переживал арест Зюскинда. Генрих Курелла остался одним из наших вернейших друзей. Он очень часто заходил к нам, и эти визиты были для него чреваты, ведь тогда он еще занимал ответственный пост в Коминтерне. Вскоре это подтвердилось. На партсобрании, когда чистка затронула сотрудников Коминтерна, встала гамбургская коммунистка и задала Курелле вопрос:

— Зачем ты так часто наведываешься в "Люкс", в комнату 175?

Неустрашимый Курелла ответил твердым голосом:

— Хайнц Нойман — мой друг. Поэтому я захожу к нему каждый день.

Для него это стало началом конца. Сначала он потерял пост в Коминтерне, а потом, вскоре после Хайнца, его арестовали, и спустя несколько лет он умер в сибирских лагерях.

Генрих Курелла был в тот печальный вечер так же растерян, как Хайнц. Их разговор я по сю пору помню во всех подробностях. Он быстро повернул от фактов к теории. Оба упорно пытались отыскать теоретическое объяснение нынешнему положению дел в Советском Союзе. В конце концов Курелла воскликнул:

— Это контрреволюция!

Но Хайнц принялся яростно возражать. Он очень серьезно доказывал Курелле, что это никак не может быть контрреволюция, так как не замечен экономический регресс в сторону капитализма и средства производства, как и прежде, остаются в руках рабочих. Это должно быть нечто иное. Но что именно, они после многочасового спора так и не выяснили. В конце концов, как мне помнится, сошлись на том, что говорить следует о некоей "холодной контрреволюции". Пока они вели эту абсурдную беседу, наступила первая ночь, которую Генриху Зюскинду предстояло провести в следственном изоляторе. Я подумала об Ане Виковой и уже не могла уследить за теоретическими построениями двоих впавших в отчаяние мужчин. А еще я не могла не думать о том, кто из нас окажется следующим.

Арест Зюскинда стал своего рода стартовым выстрелом. Теперь волна арестов захлестнула иностранцев. Уже через несколько дней к нам пришла наша подруга Хильда Дьюти и, рыдая, рассказала, что забрали Фрумкину и Каролу Нейер. Фрумкина, польская большевичка, вышла из большого еврейского профсоюзного движения "Бунд" и руководила радиостанцией "Коминтерн". Хильда была ее секретаршей. Немецкая актриса Карола Нейер, до 1933 года одна из популярнейших артисток Берлина и несравненная Полли в "Трехгрошовой опере" Брехта, приехала в Советский Союз из Праги, куда сбежала с мужем, немецко-румынским инженером, и была полна намерений отдать все силы для социалистического строительства. Мужа Каролы Нейер арестовали за несколько дней до нее. У них остался годовалый ребенок, без отца и без матери.

— Теперь несчастного малыша отдадут в детский дом, — горевала Хильда.

Приближался срок, к которому нужно было закончить перевод. Хайнц работал в бешеном темпе, и когда мы наконец-то добрались до последней страницы, то валились с ног от усталости. Дело шло к полуночи, когда я, облегченно вздохнув, потянулась в кресле, в то время как Хайнц бегал туда-сюда по комнате. Он всегда так себя вел, когда его что-то очень занимало, но сегодня он двигался так быстро, словно за ним гнались или сам он за чем-то гнался, напрягая все силы. Внезапно он остановился, перестав бегать, как затравленный зверь, повернулся спиной к письменному столу и оперся на столешницу. Я подняла глаза, и его лицо меня ужаснуло. Губы сжаты, щеки запали, голубые, как ирис, глаза совсем почернели из-за того, что расширился зрачок, и по горлу было видно, как бешено бьется его сердце. Словно принося клятву, он мне сказал:

— Я тебе обещаю, если меня заставят выступать на открытом процессе перед судом, я найду силы крикнуть: "Долой Сталина!" Ничто и никто не помешает этому последнему протесту!

Он помолчал мгновение и добавил:

— Что только эти гады могут сделать с людьми?!

До этого выкрика я не знала, что Хайнц думает о показательных процессах. После ночного признания он впервые заговорил о самоубийстве. И любовь к нему заставляла меня изобретать фантастические способы нашего спасения. Я заклинала его не сводить счеты с жизнью, пока остается хоть малейшая надежда на бегство.

Конец

В январе 1937 года на Красной площади в Москве проходила демонстрация. Рабочих отправляли туда прямиком с заводов. Никто не мог увильнуть. Сотрудники издательства "Иностранный рабочий", в котором мы числились, тоже должны были все как один явиться на демонстрацию. И вот в эти ледяные дни толклась на Красной площади многолюдная толпа. Ни одного громкого возгласа. Люди молча стояли под снегом, и контраст между этим молчанием и лозунгами на транспарантах, которые они держали, вгонял в трепет. "Убить как бешеных собак!" "Смерть фашистским предателям!" На одном из плакатов был нарисован кулак, обмотанный колючей проволокой, и написаны слова: "Да здравствует НКВД, бронированный кулак революции!" Второй кровавый показательный процесс — против Пятакова, Серебрякова, Радека и еще четырнадцати старых большевиков — шел полным ходом. Давно ли Радек и Пятаков со страниц "Правды" и "Известий" сами требовали крови тех, кого обвиняли на первом показательном процессе? И полугода не прошло. Неужели Радек действительно писал: "Уничтожить эту сволочь"? Неужели эти речи принадлежали Пятакову: "Не хватает слов, чтобы полностью выразить наше возмущение и отвращение. Это скоты, потерявшие человеческий облик. Их нужно уничтожить, уничтожить, как падаль, которая отравляет чистый, свежий воздух советской страны"? Так они писали, надеясь спасти собственную шкуру. А теперь сами сидели на скамье подсудимых, сознавались в преступлениях, которых никогда не совершали, и безмолвная толпа с транспарантами требовала уже их крови. Тринадцать человек приговорили к смертной казни, ос-

тавшихся четырех, включая Карла Радека, — к длительным тюремным срокам.

Когда, промерзнув до костей, мы вернулись в "Люкс", администратор (а лучше сказать, работающий под видом администратора сотрудник спецслужб) протянул нам письмо. На конверте стоял парижский штемпель, но, когда мы его вскрыли, стало ясно, что написано письмо в Испании. Его послал наш друг Перси. Текст был на редкость бессмысленный, сплошное дурачество: Перси записал на листке английский текст какого-то шлягера и уверял нас, что сейчас эту джазовую песенку поют повсюду и нам наверняка будет интересно изучить ее получше. Так мы и сделали — и подумали, что Перси на Гражданской войне лишился рассудка. В песенке рифмовались "любовь" и "кровь", а еще имелась бессмысленная фраза, что-то вроде: "Железо горячее возьми, к бумаге ты его прижми..." Еще с двадцатых годов мы, конечно, привыкли к дурацким песенкам, но никак не могли взять в толк, с чего вдруг Перси решил поделиться с нами этой чушью. В растерянности мы сидели над письмом, как вдруг мне пришла в голову чудна́я мысль. Промежутки между строчками были несоразмерно большие. Едва я обратила на это внимание, как меня осенило. В тот же миг Хайнц схватился за голову.

— Да Перси с ума сошел! — воскликнул он, метнулся к двери и запер ее.

Я схватила из шкафа утюг и побежала к розетке. Нас одолевали противоречивые чувства: то панический страх, то невыносимое напряжение. Пока утюг нагревался, казалось, прошла вечность. Наконец он раскалился как следует. Сердце у меня колотилось, когда я приложила утюг к письму и сразу же отдернула его.

— Лимонный сок, — прошептал Хайнц. — Подумать только, сколько проверок прошло это письмо...

Он не закончил фразу, но я знала, что он хотел сказать. Нас охватил ужас, когда мы прочли, что Перси зашифровал между строчками этой глупой песенки. Это был крик отчаяния — и настоятельнейшее предупреждение. Содержание было примерно таким: Сталин загубил Октябрьскую революцию. На изменение к лучшему я уже не надеюсь. Приложите все силы, чтобы покинуть страну, прежде чем станет слишком поздно. Но... ни в коем случае не приезжайте в Испанию. Здесь хозяйничают точно такие же проходимцы.

Итак, умерла и эта надежда: в Испании царил тот же дух нетерпимости, бессовестности, та же жажда власти, которые расцветали повсюду, докуда дотягивались лапы Советского

Союза и Коминтерна. Из-за этого крахом закончится Гражданская война в Испании, как уже закончилась крахом русская революция. Мы ничуть не сомневались, что наш друг Перси пишет правду.

Еще в декабре 1936 года Хайнца, к нашему удивлению, вызывали к Димитрову, генеральному секретарю Коминтерна. Тот с самодовольным видом поставил Хайнца в известность, что товарищ Сталин уполномочил его поговорить с Нойманом и попытаться перевоспитать его в большевика нового типа. Посему он предлагает Хайнцу написать книгу о VII Всемирном конгрессе, в которой следует, во-первых, подробно обосновать правильность новой коминтерновской линии, направленной на создание Народного фронта, и тем самым доказать свою лояльность, а во-вторых, основательно раскритиковать собственные грубые политические ошибки, совершенные во время работы в немецком партийном руководстве. Только всеобъемлющая самокритика, разбор политических причин, которые привели к этим ошибкам, и безоговорочная капитуляция позволят-де Нойману остаться в рядах КПГ.

Прежде чем Хайнц успел хоть что-то ответить, Димитров озвучил план будущей книги, и стало понятно: глава Коминтерна хочет, чтобы книга прославила его и в письменной форме утвердила его политическое значение перед всем миром. Димитров постоянно повторял одну и ту же фразу: "Как я верно указал на VII Всемирном конгрессе..." — и в конце концов, опьяненный собственными речами, он заявил:

— Вы могли бы, как своего рода эпиграф к этой книге, использовать меткую формулировку из моей речи на Конгрессе: "Прежде чем стрелять, нужно хорошенько прицелиться".

Хайнц с трудом подавил улыбку. Какой смысл был в этой глупой цитате? Впрочем, что за цели преследовал Димитров, заказывая книгу, догадаться нетрудно. Нужно было зафиксировать для истории, что только под его, Георгия Димитрова, руководством для Коминтерна началась по-настоящему плодотворная эпоха. Уничижительная самокритика, которой генсек Коминтерна ждал от Хайнца, должна была не только продемонстрировать покорство автора, но и навсегда заклеймить политику Коминтерна до Димитрова как ошибочную и даже преступную.

Когда Димитров, не допускавший даже мысли, что от этого предложения можно отказаться, добродушно осведомился, сколько времени понадобится Нойману, чтобы написать книгу, Хайнц ответил:

— Товарищ Димитров, я не могу взяться за эту книгу. Я не буду оплевывать самого себя...

Генеральный секретарь отшатнулся, словно его ударили.

Должна сознаться, я перепугалась, когда Хайнц вернулся с этой встречи и все мне рассказал.

— Теперь нам точно конец! Тебя немедленно арестуют. Почему, ну почему ты не хочешь писать эту книгу?! Что нам терять?! Может, потом они объявят ее "неудовлетворительной", как и все твои прежние объяснения. Но мы, по крайней мере, выиграем время. Если сейчас ты откажешься писать, они уже не оставят тебя в покое!

Но Хайнца не смягчили мои отчаянные мольбы. В этой невыносимой ситуации он, казалось, уцепился за то, чему, живя только ради партии, так часто наступал на горло — за самоуважение. Он знал так же хорошо, как и я, что нет никакой надежды на спасение, если только он сам не будет молить о прощении. Может быть, отказываясь, он думал о том, как будет выглядеть его будущая жизнь, если ему ее даруют снова? Может быть, то, что он представил себе, казалось нестерпимым? Или у него мелькнула мысль о самоубийстве, которую он в последнее время так часто высказывал, а теперь он решил претворить ее в жизнь, отказавшись от предложения Димитрова?

И снова потянулись недели, и снова ничего не происходило. А затем раздался звонок из издательства "Иностранный рабочий". На том конце провода поинтересовались, какая часть рукописи уже готова.

— Какой рукописи? — спросил Хайнц.

Ему лучше знать какой, ведь Коминтерн уведомил издательство, что он пишет книгу о VII Всемирном конгрессе.

— Мне никакую книгу не поручали, — ответил Хайнц и повесил трубку.

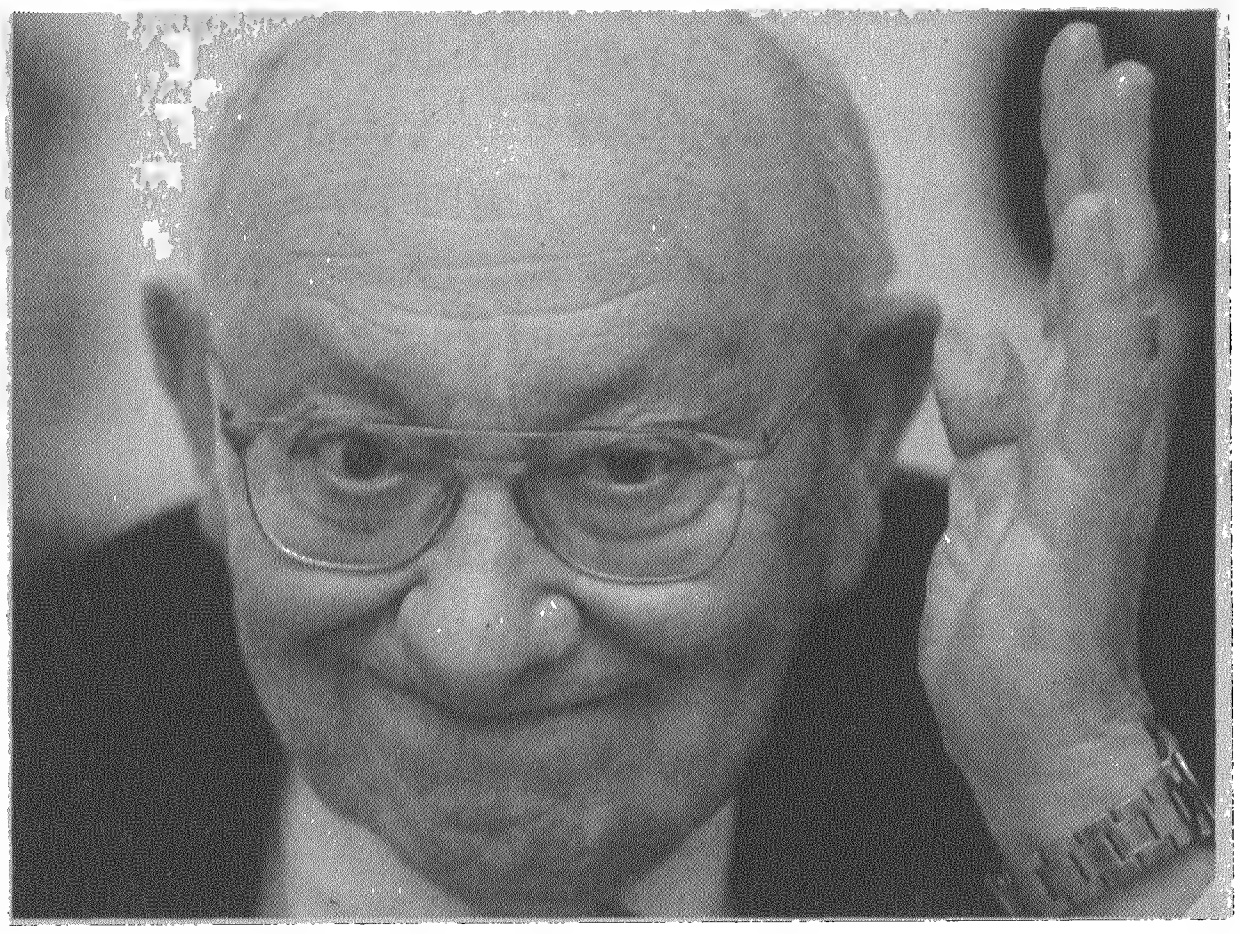
Ожидание началось заново. Мы были ни живы ни мертвы в самом прямом смысле слова. Из издательства звонили еще несколько раз, затем звонки прекратились. Но каждый раз, когда раздавалась телефонная трель, я вздрагивала от испуга. А самое мучение начиналось ночью. Хайнц бегал по комнате, смоля сигарету за сигаретой, а я прислушивалась к каждому шороху в коридоре. Тяжелые шаги обыкновенно раздавались после полуночи. Из комнаты напротив забрали болгарина, из комнаты под нами — поляка. Когда днем я шла по коридорам "Люкса", я украдкой разглядывала двери — не появилась ли еще где-нибудь бумажка с печатью. После ареста дверь опечатывали, если не оставалось никого из родственников. Но вот, кажется, опять забрезжило чудо. Снова за-

звонил телефон, и снова я вздрогнула. На этот раз Кребс, глава издательства "Иностранный рабочий", хотел заказать Хайнцу статью для первомайского номера стенгазеты. Что это значило? Издевка? Или последствие димитровского предложения? Может быть, Кребсу пришло в голову, что затравленный Нойман еще может опять войти в милость? Означало ли это, что нам снова можно надеяться? Хайнц написал статью и отослал ее в издательство. Но в стенгазете она не появилась. За три дня до Первомая, ночью с 26 на 27 апреля 1937 года, шаги остановились перед нашей дверью. И как раз этой ночью от нервного истощения мы провалились в глубокий сон без сновидений. Из далекой дали донесся до меня стук в дверь. Я вскочила и открыла. Три сотрудника НКВД и комендант "Люкса" ворвались в комнату.

— Нойман, встать! Вы арестованы!

Мешок на голове
Из книги “Мои школьные годы в Третьем рейхе”

Марсель Райх-Раницки



Годы в долг

Перевод Ирины Алексеевой

“МОЙ сын еврей и поляк. Как с ним будут обращаться в вашей школе?” — спросила моя мать директора гимназии имени Фихте, расположенной в районе Берлин-Вильмерсдорф. Шел 1935 год. Впрочем, она немного преувеличила. Я родился в польском городе (совсем рядом с ним до конца Первой мировой войны проходила граница с Германской империей), но когда я ребенком переехал в Берлин, то считал себя, конечно, евреем и ни в коем случае не поляком, скорее уж берлинцем. Правда, гражданство у меня было польское, так что в Германии я был чужаком вдвойне.

Между тем моя мать добилась своим провокационным вопросом, чего хотела: директор в самой вежливой форме заверил ее, что эти опасения его удивляют. Во всякой немецкой, всякой прусской школе справедливость является верховным принципом. Чтобы ученик за свое происхождение подвер-

© Verlag Kiepenheuer & Witsch 1982, 1988
© Ирина Алексеева. Перевод, 2015

гался дискриминации или, хуже того, гонениям — в гимназии имени Фихте такое немыслимо. У школы есть свои традиции.

Об этом разговоре мама с нескрываемым удовольствием рассказала за обеденным столом: в очередной раз оказалось — а она по-прежнему была полна решимости в это верить, — что, вопреки фактам, в Германии честные люди следят, чтобы никто не попирал право и порядок.

Когда после пасхальных каникул я, ставший к тому времени учеником шестого класса, впервые переступил порог гимназии имени Фихте на Эмзерштрассе, директора, столь понравившегося моей матери, уже не было и в помине. Поговаривали, что его вынудили уйти на пенсию. Преемника того директора звали Хайнигер. В дни национальных праздников он являлся в элегантном коричневом мундире, обильно украшенном золотом. Он был "золотым фазаном" — так называли высших функционеров НСДАП.

Перейти в эту школу мне пришлось потому, что гимназию Вернера Сименса в районе Берлин-Шенеберг, где я учился до тех пор, в 1935 году расформировали. Это был необычный шаг: еще совсем недавно, в годы столь поносимой теперь Веймарской республики, школы не ликвидировали, а открывали. Теперь же роспуск школы был в духе времени. В Шенеберге, особенно в кварталах вокруг Баварской площади и площади Виктории-Луизы, жило много евреев. Многие из них больше не могли себе позволить отправлять сыновей в университет или же не видели в этом особого смысла. Поэтому вскоре после смены власти число учеников в гимназии Вернера Сименса сильно сократилось. К тому же говорили, что у новых властей школа пользовалась дурной славой: считалась либеральной и даже "левой".

Приход к власти национал-социалистов мы ощутили сразу, причем при довольно странных обстоятельствах. Утром 28 февраля 1933 года, на большой перемене, мы, ученики четвертого класса, были заняты игрой, которая называлась "лапта", хотя с настоящей лаптой имела мало общего. Мы искусно скатывали шарики из оберточной бумаги для бутербродов и не замечали, что старшие школьники что-то оживленно обсуждают, собравшись в небольшие группы.

Только после перемены, когда учитель грубыми окриками стал загонять нас в класс, мы почувствовали, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Директор гимназии Вернера Сименса, человек спокойный, произнес краткую речь, которая не показалась нам особенно выразительной. Ключевыми были такие слова: "И чтобы никто из учеников

не смел утверждать, будто рейхстаг подожгли национал-социалисты!" Была ли это провокация? Или просто наивность? Так или иначе, но из школы он вскоре исчез — говорили, что по политическим мотивам.

Никаких новых веяний на уроках поначалу не чувствовалось, не считая того, что мы перестали проходить стихи Гейне, напечатанные в книге для чтения "Немецкое наследие". И все же одна антисемитская выходка мне запомнилась. Как-то во время игры в ручной мяч ученик Л. толкнул ученика Р. Оба хорошо играли, но первый был евреем, а второй — вожаком гитлерюгенда. В разгар драки Р. заорал на Л.: "Ты вонючий еврей!" В 1934 году подобные оскорбления среди школьников были не приняты. Так что разразился небольшой скандал.

О происшествии узнал наш классный учитель, д-р Райнхольд Кник. На следующем уроке он обратился к нам с довольно напыщенной речью: "Наш спаситель тоже был евреем... Я, как христианин, не могу этого одобрить..." и т. д. Мы слушали молча, в том числе вожак гитлерюгенда Р. Но молчал он после этого недолго — спустя несколько дней Кника повесткой вызвали в областное управление гитлерюгенда (или в аналогичную инстанцию), а потом еще и допрашивали в гестапо. Он ссылался на свою христианскую совесть, его предупреждали, ему угрожали. Последствия не заставили себя долго ждать: по окончании учебного года Кника перевели в гимназию Гогенцоллерна, в том же районе Берлин-Шенеберг.

Никому из своих учителей, преподававших нам в 1930—1938 годы, я так не благодарен, как доктору Книку. Не знаю, действительно ли он пришел к нам из молодежного движения, но в нем и правда ощущался эдакий молодой задор. Тогда ему было лет пятьдесят с небольшим, может, пятьдесят пять; он был высоким и стройным, светлые, уже редеющие волосы, светло-голубые глаза. По рассказам старших учеников, раньше у него было прозвище "мечтательный блондин". Да, таким он и был: мечтателем, энтузиастом, из породы тех, кто верит, будто без литературы, музыки, живописи и театра жизнь не имеет смысла. Его сформировала поэзия времен его юности: Рильке, Стефан Георге, а также любимый им (не без некоторой снисходительности) ранний Герхардт Гауптман. Строка Георге: "Кто встал к святому огню..."[1] звучала в его устах не как призыв, а скорее как клятва верности.

1. Первая строка знаменитого стихотворения С. Георге из сборника "Звезда союза" (1914). (*Прим. перев.*)

Кник был не только разносторонним и увлеченным педагогом — он вел уроки математики, физики, химии, биологии и немецкого, — но и режиссером, актером, декламатором и музыкантом. Когда я учился в гимназии Вернера Сименса, всё еще говорили о театральных постановках, которые он в двадцатые годы устраивал в актовом зале. На эти представления стремились попасть не только те, кто был связан со школой (то есть учителя, ученики и их родители), поэтому каждый спектакль приходилось показывать многократно. <...>

В начале 1946 года, впервые оказавшись в Берлине после войны, я сразу поехал в Штеглиц. Конечно, Кник первым делом спросил, как мне удалось выжить и что с моей семьей. Выслушав мой рассказ, надо сказать, весьма немногословный, он не пожелал сам говорить о том, что нацисты сделали с ним и с его близкими. Теперь он был директором гимназии.

Кник сказал, что почти ежедневно к нему приходят гости, в основном в американской или английской форме. Это его бывшие еврейские ученики. Все они говорят слова благодарности. За что? Я могу только объяснить, за что сам был ему благодарен. В те годы Райнхольд Кник был единственным человеком, который казался воплощением немецкого идеализма, знакомого мне только по книгам; начиная с 1933 года все труднее становилось верить, что этот идеализм в принципе может существовать.

Впрочем, Кник был пусть и не совсем обычным, но все же довольно типичным представителем своего профессионального сословия. Почти всех учителей, у которых мне довелось учиться, без труда можно было разделить на две большие группы. На нацистов и не нацистов? Ничего подобного — разграничительную линию следовало искать в другой области.

Представители первой группы были аккуратными чиновниками, хорошо осознающими свой долг — не больше, но и не меньше. Не важно, преподавали ли они латынь или математику, немецкий или историю. Как правило, они приходили на урок, хорошо подготовившись, и выполняли предписанный минимум. Если они не доставляли нам неприятностей и не задавали слишком много, мы тоже вели себя корректно. Относились мы друг к другу с безразличием.

Учителя другого типа тоже были не бог весть какими увлеченными педагогами. Но в них угадывалась сильная страсть. В юности они мечтали о совершенно других профессиях: хотели быть учеными или писателями, музыкантами или худож-

никами. Но мечта не осуществилась, не важно, по какой причине. И вот в конце концов их жизненные метания завершились школой, или же они в ней случайно застряли, да так и не выбрались. Но это не мешало им по-прежнему любить музыку или литературу, мечтать о науке или искусстве, восхищаться то французским остроумием, то английским менталитетом. И эта любовь, эта мечта, это восхищение помогали им, обреченным ежедневно возиться с детьми и подростками, находить силы для преодоления душевной горечи и отчаяния.

Разумеется, они не всегда тщательно готовились к занятиям и без зазрения совести то и дело отклонялись от школьной программы. Мы были им за это благодарны. Ибо то, что они между делом рассказывали на уроках, никогда не было скучно и пробуждало фантазию. А иногда — даже приводило нас в полный восторг.

Фриц Штайнек был одним из таких энтузиастов. Для него не существовало ничего, кроме музыки. Не важно, говорил ли он про ораторию Гайдна, песню Шуберта или оперу Вагнера — его рассказ всегда отличался необычайной энергией и страстью. Ему было просто необходимо — по крайней мере, так нам казалось — убедить нас в том, что тот или иной пассаж Моцарта или Бетховена великолепен и чтобы мы поняли почему. Штайнек с теплотой и благодарностью относился к каждому, кто интересовался музыкой всерьез, вне зависимости от того, какой этот ученик был национальности. Не помню, чтобы на его уроках звучали нацистские песни. <...>

Как-то раз ученики, которые умели играть на инструментах, должны были продемонстрировать, чего они достигли, а один из них — кстати, еврей, — в отличие от прочих, исполнявших классические вещи, начал бренчать какой-то пошлый шлягер, и мы испугались, что Штайнек его строго осадит. Но случившееся не возмутило его, а только огорчило. Он тихо сказал: “Это плохая музыка. Но ведь и плохую музыку можно сыграть прилично”. Он попросил дать ему ноты, брезгливо, кончиками пальцев, взял их и сел к пианино: он не считал ниже своего достоинства сыграть нам шлягер. Это был блестящий педагог и прекрасный человек.

Для полноты картины добавлю то, что я узнал только теперь, в июле 1982 года: учитель музыки Штайнек долгие годы состоял в НСДАП и был довольно активным ее членом. Узнал я о нем и кое-что еще. В гимназии имени Фихте было принято ежегодно на прощание выпускникам петь песню “Расставанья час”, исполнял ее школьный хор. Песня была

написана в 1848 году на слова Гофмана фон Фаллерслебена, и тут вдруг обнаружилась деталь, нанесшая этому произведению фатальный урон, — оказалось, что эту песню сочинил еврей, Феликс Мендельсон-Бартольди. Штайнек нашел выход из этой щекотливой ситуации: недолго думая, он написал на старый текст новую мелодию. Ведь он годами старался внушить нам, что самое прекрасное на свете — это музыка, и, тем не менее, ничто не помешало ему "очистить" эту песню от еврейских корней, так сказать ее "аризировать". Почему он решился на это? Что его заставило? Точно не неведение и не любовь к музыке, скорее уж честолюбие и тщеславие. Или он хотел понравиться директору, этому "золотому фазану" Хайнигеру?

Упомянутый Хайнигер, единственный среди всех учителей, выказывал себя на уроках усердным и даже фанатичным национал-социалистом. Но мы бы ни за что не перепутали его ни с кем из рядовых нацистов. В манерах этого полнеющего лысоватого человека лет пятидесяти не было ничего бравого, военного. Ему явно больше подошла бы вальяжность генерала. Между делом он давал понять, что знает о новом государстве несравненно больше, чем можно было узнать из газет. Что он не какой-нибудь заурядный нацист, а человек, принадлежащий к элите посвященных, — вот каким мы должны были его воспринимать.

В нашем классе Хайнигер вел историю. Он много говорил и редко устраивал контрольные. Хотел, чтобы его воспринимали как университетского преподавателя, а не как сторонника школярской зубрежки. Обращался он с нами вежливо, словно мы уже были студентами. Ученикам-евреям тоже не на что было пожаловаться, и мне меньше всех: он был со мной приветлив, никогда не гонял по датам (за что я был ему особо благодарен). Хайнигер считал, что у меня неплохо получается толковать историю. Иногда даже беседовал со мной, как с равным. Правда, это был лишь тактический ход: он хотел услышать мое мнение, чтобы затем эффектно опровергнуть его с национал-социалистических позиций, что ему, конечно, без труда удавалось.

Однажды Хайнигер сообщил, что ученики еврейской национальности освобождаются от следующего урока. Как потом выяснилось, этот урок был посвящен критике "мирового еврейства". На оценках, которые он выставлял, его отношение к евреям никак не сказывалось: у меня по истории была твердая четверка, даже в аттестате зрелости. Выше оценки по этому предмету у нас в классе не было ни у кого. Он был справедлив, этот Хайнигер. Но если бы, скажем, власти пре-

держащие распорядились, чтобы евреи во время урока стояли или если б им разрешáлось переступать порог школы только босиком, он без колебаний и в точности исполнил бы это предписание и, конечно, в самых корректных выражениях объяснил бы, почему это необходимо на данном историческом этапе.

Нет, нам не приходилось ходить по школе босиком, так далеко дело не зашло, зато нáши черепа измерили, впрочем, не только наши, но и некоторых учеников не евреев. Измерения происходили на уроке расовой теории. Предмет, введенный в программу в так называемом Третьем рейхе, вели учителя биологии, в нашем случае это бóл не лишенный разума человек. К новой науке он относился без энтузиазма. Утомлял нас бесконечными сведениями о неандертальцах и других доисторических людях. У него явно не было никакой тяги заниматься вопросом, который должен был стать основой нового предмета — неполноценностью не арийцев, то есть евреев. Предполагалось, что свою лепту в решение этого вопроса внесут упомянутые измерения черепа. Они осуществлялись в соответствии с инструкцией из учебника, чтобы с безупречностью научного метода определить, к какой расе принадлежит измеряемый.

Оказалось, что типично нордический череп, с расистской точки зрения — лучший, был только у одного ученика. И тот был евреем. Учитель смутился, но, похоже, сóвсем не расстроился. Он спросил у этого ученика, не было ли все-таки арийцев среди его предков. Ответ гласил: “Нет, только русские евреи”. Все засмеялись. В общем, урок расовой теории в нашем классе успеха не имел, тем более что самый быстрый бегун на стометровке и самый лучший ученик по немецкому у нас были евреями. <...>

Учитель, который вел у нас немецкий в последний год обучения, впервые войдя в класс, нарочито грóмко крикнул “Хайль Гитлер!”, чтобы зарекомендовать себя как убежденного нациста. Его почти никто не любил, конечно, не из-за его принадлежности к НСДАП, а потому, что он этим кичился. Это пробуждало недоверие. Вскоре выяснилóсь, что он отнюдь не блещет интеллектом и что его профессиональные знания, по меньшей мере, сомнительны. <...>

С этим учителем связано воспоминание об одном мелком, однако показательном происшествии. Как-то, когда, по его мнению, в классе было слишком шумно, он раздраженно воскликнул: “Устроили тут еврейский бедлам!” Мгновенно все смолкло. Воцарилась угрожающая тишина. Потом он гово-

рил, что так и не понял, почему класс столь странно отреагировал на обычный оборот немецкой речи.

Этот случай показывает, что откровенно антисемитские высказывания, которыми пестрели газеты и которые ежедневно звучали по радио, в школе были не приняты, по крайней мере, в нашей школе. Даже те учителя, которые были национал-социалистами, обходились с нами учтиво, и за это мы, возможно, должны были благодарить тот самый прусский дух, столь высоко ценимый евреями со времен своей эмансипации. А как же вели себя наши одноклассники? Они ведь все были членами гитлерюгенда, а некоторые даже принадлежали к его элитным — морским частям, тренировавшимся на Хафеле. Этих юношей непрерывно обрабатывала антисемитская пропаганда. В 1936 году она несколько смягчилась из-за Олимпийских игр, но уже в 1937-м и особенно в 1938-м стала еще более оголтелой. По дороге в школу нам ежедневно нужно было проходить мимо красных стендов, на которых вывешивался журнал "Дер Штюрмер"[1]. Конечно, большинство наших одноклассников верили в новую Германию, один из них занимал высокий пост в гитлерюгенде, другой был вожаком юнгфолька[2]. Но ни от одного из них я не слышал ни слова против евреев. Почему?

Определенную роль тут, безусловно, сыграл пример учителей. Кроме того, все ученики происходили из добропорядочных семей, в которых было принято заботиться о воспитании детей и их манерах. Но главная причина была в том, что официальная пропаганда против евреев в представлении этих молодых людей явно касалась чего-то абстрактного, думаю, они не видели никакой связи между каким-то "мировым еврейством" и конкретными одноклассниками, которых знали и уважали на протяжении многих лет.

И все-таки евреев не пускали на большинство школьных праздников. Им не разрешалось участвовать в школьных загородных поездках. И если раньше дружба между еврейскими и не еврейскими учениками была обычным делом, то примерно с 1935 года она стала практически невозможна. Все это, как мне казалось, мои не еврейские одноклассники считали само собой разумеющимся. Во всяком случае, я ни разу

1. Журнал "Дер Штюрмер" — бульварное издание, с 1923-го по 1945 г. еженедельно выходившее в Германии. Его материалы — статьи, лозунги и карикатуры — должны были пробудить ненависть к евреям и к другим "врагам рейха". (*Здесь и далее – прим. ред.*)
2. Юнгфольк — младшая возрастная группа гитлерюгенда, в которой состояли мальчики от 10 до 14 лет.

не слышал от них ни слова удивления или хотя бы сожаления.

Один из них уже довольно давно рассказывал мне, что как-то во время войны, году в 1940-м, неподалеку от Штеттинского вокзала в Берлине, он увидел толпу евреев, которых конвоировали полицейские, и среди них заметил нашего старого друга Т. Он производил самое жалкое впечатление. И вот что сказал мне мой одноклассник: "Я подумал: Т. будет неприятно, если он узнает, что я вижу его в таком положении. Поэтому я быстро отвернулся". Отворачивались миллионы.

Какими бы ни были мои школьные годы, я никогда столько не читал, как тогда. Раздобыть запрещенную литературу было несложно. На книжных полках у моих родственников стояли романы и повести Томаса и Генриха Маннов, Арнольда и Стефана Цвейгов, Шнитцлера, Верфеля и Фейхтвангера. У моего зятя, помимо Тухольского и Киша, я обнаружил подборку номеров "Вельтбюне"[1] за десять лет.

Немало книг мне досталось и от знакомых, которые уехали из страны. На сборы зачастую оставалось крайне мало времени, а объем багажа был сильно ограничен, поэтому, как правило, люди брали с собой словари, а вовсе не романы или стихи. Как-то, когда я рассыпался в благодарностях перед одним своим знакомым, у которого была прекрасная библиотека (мне казалось, что эти книги для меня — подарок невиданной щедрости), он многозначительно мне сказал: "Я не дарю вам эти книги. Они даны вам в долг — как и эти годы. Потому что и вы тоже будете изгнаны отсюда, и тогда книги вам придется передать другим".

Он не ошибся: когда в конце октября 1938 года меня депортировали, я взял с собой одну-единственную книгу, роман Бальзака, которую в тот момент читал. Спустя несколько дней по всему рейху прокатились организованные властями погромы, которые затем, придав им видимость чего-то безобидного, назвали Хрустальной ночью. С этого момента начался новый, неслыханный по своей жестокости период преследования евреев.

О том, что писали эмигранты, пока я жил в Берлине, мы не знали практически ничего. Могу припомнить всего два исключения. В начале 1936 года мы все собрались на квартире

1. "Вельтбюне" — немецкий еженедельный журнал, который под этим названием выходил в Германии с 1913-го по 1933 г., после чего был запрещен нацистами.

одного нашего друга-еврея в Груневальде. Кто-то из нас стал вслух читать прощальное письмо Тухольского, адресованное Арнольду Цвейгу и написанное за несколько дней до самоубийства. Письмо было изуродовано цензурой, снабжено издевательским предисловием и опубликовано в "Дас шварце кор"[1]. Мы были потрясены.

Еще один похожий вечер мне не забыть никогда. На этот раз читали машинописную копию, которую удалось достать нелегальным путем. Это опять было прощальное письмо, хотя и совсем другого рода — в этом письме, адресованном декану философского факультета Боннского университета, Томас Манн рассказал миру о своем отношении к Третьему рейху. Мы были счастливы. Позднее, в годы войны, в многочисленных ночных разговорах с друзьями и родственниками, которые всегда касались Германии, я то и дело цитировал это письмо: "Они (то есть национал-социалисты) проявили неслыханную дерзость, спутав себя с Германией! Но, возможно, не далек тот час, когда немецкий народ будет готов все отдать за то, чтобы его не путали с ними".

Но мои цитаты и мои аргументы были слабым оружием. Ибо в ушах моих современников каждую ночь звучали выстрелы охранников варшавского гетто, и это был аргумент посильнее. Времен, когда немецкий народ готов был все отдать, лишь бы его не путали с теми, кто на протяжении двенадцати лет говорил и действовал от его, народа, имени, моим друзьям и родственникам увидеть не довелось. Они все погибли в газовых камерах.

1. Газета "Дас шварце кор" (в переводе с *нем.* "Чёрный корпус") — официальный печатный орган СС.

Георг Хензель

Мешок на голове

Перевод Ольги Теремковой

В 1933 году произошли два события, показавшиеся мне важными: Гитлер стал рейхсканцлером, и я перешел в среднюю школу. Мои родители не ломали себе голову над тем, что выбрать: классическую гимназию, где преподавали древние языки, реальную гимназию или высшее реальное училище. Они записали меня в школу, до которой легче всего было добраться — высшее реальное училище имени Юстуса фон Либиха при дармштадтской реформированной гимназии, — и купили подержанный велосипед.

Отец разъяснил мне ситуацию. Это была его первая и единственная воспитательная мера в моей жизни. "Я оплачу год обучения, — сказал он. — Потом ты получишь бесплатное место. Для этого ты должен зарабатывать только самые высокие отметки. Ты ведь и сам наверняка хочешь быть среди лучших, иначе вся эта затея не имеет смысла. Платить за твою учебу я смогу не больше года. Если бесплатного места после этого не дадут, тебе придется вернуться в народную школу. Смотри не осрамись!" Отец, которого я очень любил, сам того не желая, устроил мне настоящий ад: удовлетворительная оценка, которой радовались мои одноклассники, вызывала у меня слезы; я всегда должен был быть отличником, причем по всем предметам.

То, что Гитлер стал рейхсканцлером, представлялось мне менее важным. Однако я не остался к этому событию равнодушным: политическая атмосфера начала 30-х годов была так накалена, что это ощущали даже школьники. Мне еще не исполнилось десяти, а я уже рисовал с друзьями небольшие предвыборные плакаты.

Я вырос в Архайльгене, в четырех километрах к северу от Дармштадта. Крестьянам в нашей деревне приходилось нелегко — они кое-как перебивались на нескольких акрах земли с лошадью да четырьмя коровами. Кроме крестьян, в дерев-

© 1982, 1988 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH&Co, KG, Cologne, Germany
© Ольга Теремкова. Перевод, 2015

не жили железнодорожники, работавшие на товарной станции Кранихштейн, – среди них был и мой отец. Еще в Архайльгене жили рабочие, они ездили на велосипедах в Дармштадт на вагоноремонтный завод. Другие работали на "Шенке"[1] или "Мерке" – химическом заводе, от которого в деревне стояла вонь, когда дул юго-западный ветер. Никому это, впрочем, особо не мешало. Люди закрывали окна и говорили: "Мерк воняет – это к дождю". Никакой романтики. Сады обеспечивали жителей яблоками, грушами и сливами. У ручьев, еще не приспособленных под людские нужды, росли одуванчики и алзина, они шли на корм кроликам породы бельгийский великан, о которых мне надлежало заботиться.

Во время выборов наибольшую симпатию у меня вызвал последний кандидат в списке более тридцати партий, некто по фамилии Винтер, о котором было сказано, что он сидит в тюрьме и хочет вернуть в оборот тысячемарочные купюры с красным штемпелем. У него не было ни малейшей возможности осуществить задуманное: слишком мало было людей, имевших тысячемарочные купюры с красным штемпелем. Больше всего мне нравилось рисовать плакаты "Голосуйте за Гинденбурга, список 5", потому что изображать Гинденбурга у меня получалось лучше всего: квадратный череп, покрытый щеткой волос, и висячие усы.

Мы, дети, в возбуждении бежали за коммунистами, когда они с дудками шествовали по деревне. Вместе с непочтительными "Красными соколами"[2] мы пели переиначенный на дурацкий манер текст "Интернационала":

Это есть наш последний
И решительный бой.
С электростанции соседней
Нам свет в Берлин идет с тобой.

О "Трех стрелах"[3], то есть о боевых частях социал-демократов, мы слышали только тогда, когда отряды штурмовиков пели на мелодию "Трех лилий": "Три стрелки, что я посадил на могилке, пришел и сломал горделивый нацист".

1. "Шенк" – чугунолитейный завод, основанный в Дармштадте в 1881 г. (*Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.*)
2. "Красные соколы" – молодежная организация левого толка, образованная в немецкоязычных странах в 1920-е гг.
3. Три стрелы были символом военизированной части социал-демократической партии Германии "Железный фронт", а также социал-демократической рабочей партии Австрии.

Нацист, в то время сам гордо именовавший себя нацистом, пришел 30 января 1933 года. В тот день некоторые мои друзья вдруг облачились в коричневые мундиры. Откуда они у них только взялись? А вечером, во время факельного шествия, я увидел, как учитель, у которого я выучился читать и писать, вскинул руку в новом приветствии. Тогда я не придал этому особого значения.

Жутко мне стало лишь после мартовских выборов 1933 года, на которых, как я осознал позднее, половина жителей Дармштадта проголосовала за Гитлера. В Архайльгене жил некий торговец куриным кормом, еврей Генрих Векслер, у которого и мои родители покупали зерновой корм, и вот штурмфюрер выдернул его, больного, из постели и прогнал через всю деревню, заставив нести на плече знамя со свастикой. Векслергейнер[1], добродушный и щедрый человек, которого мы, дети, тоже любили, умер два дня спустя, задохнувшись от ангины. В деревне поговаривали, что командир штурмового отряда задолжал ему за мотоцикл.

4 марта 1934 года – день, который навсегда отпечатался у меня в памяти. Евангелический молодежный союз, в котором я состоял, по официальному выражению, был "переведен" в младшую группу гитлерюгенда – юнгфольк, причем с благословения церкви. Церковь предала нас, мальчишек в возрасте от десяти до четырнадцати лет, отдав на откуп новым властям. "Соглашение о вхождении евангелической молодежи в состав гитлерюгенда", подписанное рейхсюгендфюрером Бальдуром фон Ширахом и имперским епископом Людвигом Мюллером, гласило: "Тот, кто не станет членом гитлерюгенда, не сможет впредь быть и членом союза евангелической молодежи". Торжественный переход состоялся в тот самый день, 4 марта 1934 года, в Берлинском соборе.

В период противостояния между гитлерюгендом и евангелической молодежью нас выучили прекрасной протестной песне на слова Новалиса, которой еще Макс фон Шенкендорф[2] придал политическое звучание во время войны с Наполеоном (позднее ее взяли на вооружение СС, а после войны – викинг-югенд[3]): "Пусть верность всех покинет,

1. Вероятно, автор использует здесь деревенское прозвище Генриха Векслера, в котором имя в сокращенной форме помещается после фамилии. (*Прим. перев.*)
2. Максимилиан фон Шенкендорф (1783–1817) – немецкий поэт, участник войны с Наполеоном.
3. Викинг-югенд – неонацистская молодежная организация, существовавшая в 1952–1994 гг., затем ее запретили.

останусь верным я"[1]. Верность, однако, покинула церковь, и пасторские мальчишки — "dem Parre seu Buwe", как говорили в Архайльгене, — превратились в "dem Hitler seu Buwe" — мальчишек Гитлера.

Не все евангелические пасторы принимали в этом участие. Так, например, существовала Исповедующая церковь[2], к которой в Архайльгене принадлежал пастор Карл Грейн по прозвищу Черный Карл. Когда в 1935 году его новые евангельские братья, так называемые "немецкие христиане"[3], заколотили двери церкви и общинного дома, для чего им понадобился кузнец из Дармштадта, члены Исповедующей церкви попросили кузнеца Эрнста-Фридриха Гёбеля из Архайльгена вытащить гвозди. Кузнецу пришла в голову мысль выковать из этих гвоздей крест. Пастор Грейн повесил этот крест в ризнице. На нем была надпись: "Притом знаем, что любящим Бога, призванным по *Его* изволению, все содействует ко благу"[4]. Год спустя бывших членов Союза евангелической молодежи было уже не отличить от "пимпфов" — рядовых юнгфольковцев: стычки между нами остались в прошлом, и форму мы теперь носили ту же, что и они. Мы примирились даже с ножами, какие были приняты в гитлерюгенде, — они были скорее декоративными и ни на что не годились, в отличие от ножей в "Бюндише югенд"[5].

19 мая 1935 года мы, юные гитлеровцы, нехотя плелись по проселочной дороге, а затем через лес к новой эстакаде, чтобы кричать "Зиг Хайль!", когда фюрер во время торжественного открытия будет объезжать первый законченный участок автобана между Франкфуртом и Дармштадтом. Как ни странно, воодушевления эта перспектива ни у кого не вызвала: ладно б еще занятия в школе отменили, но дело было в воскресенье, а в выходной у всех имелись свои планы. Многие сбежали еще в лесу, так что под конец осталась лишь горстка хмурых после долгой дороги подростков. Мы встали на мосту, но так и не успели ничего крикнуть, а фюрер уже про-

1. Перевод Ю. Канзберга. (*Прим. перев.*)
2. Исповедующая церковь — христианское движение сопротивления в нацистской Германии.
3. "Немецкие христиане" — движение среди духовенства Евангелической церкви Германии, поддерживающее национал-социалистов. Существовало с 1932 г. до конца войны.
4. Послание к римлянам. 8:28. (*Прим. перев.*)
5. "Бюндише югенд" — немецкое молодежное движение, возникшее после Первой мировой войны. В 1933 г. одна из его ветвей добровольно вошла в гитлерюгенд. В том же году все независимые объединения, включая "Бюндише югенд", были запрещены.

ехал под мостом. Единственное, что мне запомнилось, — это козырек его фуражки, под ней усы и небрежно поднятая вверх, согнутая в локте правая рука. Тогда я видел его в первый и последний раз.

Отсутствие воодушевления я сейчас объясняю себе тем, что мы считали мир, так резко изменившийся для наших родителей, нормальным: все было так, как было, речи Гитлера, которые нам приходилось слушать на общих собраниях в спортзале, сидя на неудобных табуретках, наводили на нас ужасную скуку. Скука не вызывала протеста, мы принимали ее как досадную, но неизбежную составляющую жизни, и это казалось нам абсолютно естественным. А для некоторых эта скука была все же лучше, чем нудные уроки. Директор школы Монье всегда приходил уже после того, как начиналась речь, и уходил до заключительного пения национальных гимнов. Он с каменным лицом стоял у стены, всем своим видом демонстрируя безмолвное неприятие. Но кого или что он отвергал? И как должны были реагировать на это школьники? Просто размышлять? И к какому выводу им следовало прийти?

10 ноября 1938 года, с опозданием на день после "Хрустальной ночи", когда штурмовики сожгли дотла синагоги и устроили погромы, архайльгенский штурмовой отряд разгромил типографию и квартиру издателя Арона Рейнхардта, выпускавшего "Архайльгенский вестник". В этой небольшой газете он часто печатал трогательные стихи собственного сочинения о родине. Его дочь Иоганна от страха выпрыгнула из окна. Она сломала себе позвоночник, и никто не решался вызвать "скорую", пока не пришел пастор Грейн, этот отважный Черный Карл, единственный участник открытого Сопротивления, с которым я познакомился за все двенадцать лет режима.

Иоганна Рейнхардт умерла в дармштадтской больнице, отец Иоганны повесился на ее кровати. Доре Штерн с улицы Хундгассе, которую еще называли звездной Дорой, штурмовики разбили окна. Один камень тяжело ее ранил, и через несколько дней она тоже умерла. Об этих событиях в ноябре 1938 года говорила вся деревня, но никто не знал наверняка, что произошло, — слухи ходили самые противоречивые. Будто Иоганну Рейнхардт выбросил из окна один из штурмовиков. Или в него стреляли? А может, он сам выстрелил себе в ногу, когда доставал пистолет? И как же тогда погиб Арон Рейнхардт?

Я сильно возмущался, когда в 1933 году штурмовики свели в могилу моего хорошего знакомого, торговца куриным кор-

мом. Хорошо помню, как я негодовал по этому поводу во время школьной прогулки, — это одно из моих ранних детских воспóминаний. Пять лет спустя, в 1938 году, утром, по пути в школу, я увидел горящую синагогу. Это зрелище показалось мне жутким и тягостным, но все-таки возмущения у меня не было. Говорили, что это показательная акция из-за убийства немецкого высокопоставленного лица, совершенного в Париже каким-то евреем.

Другие происшествия, последовавшие за поджогом синагоги, относили к досадным перегибам, на которые уже тогда приходилось волей-неволей закрывать глаза. Перед горящей синагогой некоторые мои школьные товарищи остановились — пожар представлялся им достаточно веским основанием, чтобы прогулять первый урок, они думали, никто не решится их за это наказать. Но когда они, наконец, подошли к воротам школы, там стоял директор Монье, он записал их имена и потребовал, чтобы они остались на четыре часа после уроков. За что он их наказывал? Только ли за недисциплинированность, как это было написано в официальном объяснении? Или он был возмущен тем, что ученики проявили жестокость? Его поведение, как это часто бывало, осталось загадкой, разгадать которую юным гитлеровцам было не так-то просто.

В ту пору я, пятнадцатилетний, подчас задавался вопросом: может, евреи и вправду во многом виноваты? Само собой, не бедные евреи, не торговец куриным кормом и не владелец местной газеты, а богатые евреи в Нью-Йорке, плутократы. В гитлерюгенде меня убедили, что богатые стремятся еще больше разбогатеть, а капитализм — мировое зло. Об этом же я читал в запрещенных книгах Джека Лондона и Эптона Синклера, а они были моими авторитетами.

Меня хотели превратить в человека, который с чистой совестью одобряет все, что бы ни делало государство. Тот, кого воспитывали в вере в Бога как законодателя и высшего судию, испытывает угрызения совести, нарушая десять заповедей. Напротив, тот, кого приучили превыше всего ценить народ, коллектив, общество и государство, считать, что именно они определяют закон, ради всего этого пойдет и на убийство — безо всяких угрызений совести и даже с сознанием выполненного долга. Ведь совесть — вовсе не глас божий, она прививается воспитанием. Эти простые истины уже тогда мне были понятны, но мне все еще не хотелось в них верить. <...>

Тем, кто рос в те годы, национал-социализм натягивали на голову как мешок. Условия жизни даже не нужно было

принимать осознанно, они прирастали к нам, мы врастали в них. Мы знали только тот мир, в котором жили, и считали его нормальным. Чтобы заметить ограниченность государственной идеологии, нужно было получить определенный жизненный опыт, встретить нужных людей, прочесть нужные книги. <...>

К тому времени я уже хотел читать только запрещенную литературу. Это превратилось в своего рода охотничью забаву — книги приходилось выслеживать, как пугливую дичь. Круг моего чтения зависел от случая. Я отыскивал добычу в коробках с хламом у торговцев антиквариатом, в земельной библиотеке Дармштадтского замка, во втором ряду книжных шкафов у знакомых. Когда в гитлерюгенде собирали литературу "для фронта", я отсортировывал для себя запрещенные книги, пока их не заметил кто-нибудь другой и не сжег. Бывало, какую-нибудь запрещенную книгу передавали из рук в руки на школьном дворе, например, роман Эрнста Глезера "Год рождения 1902", где нас больше интересовали эротические сцены, чем политика.

Когда новый торговец книгами переехал из Берлина в Дармштадт, я вошел в его магазинчик, принадлежавший ранее еврею Альфреду Боденгеймеру, и с надеждой в голосе спросил: "Хайль Гитлер, остались ли у вас еще запрещенные книги?". Торговца книгами и антиквариатом Роберта д'Хуга, ставшего после войны уважаемым искусствоведом и моим другом, гитлеровское приветствие не насторожило: он знал, что в моем возрасте эту фразу произносят, не задумываясь. Он молча достал из-под прилавка то, что я искал. Наибольшее влияние на меня оказала книга, которую он продал мне за три рейхсмарки, — "История мировой литературы" Пауля Виглера, и сегодня не утратившая своей увлекательности. Она помогла мне навести некоторый порядок в голове и проложила маршрут от книги к книге, от автора к автору.

Книги, которые я покупал у д'Хуга, раньше принадлежали евреям-эмигрантам. А некоторые были из личной библиотеки Боденгеймера, на них еще значилось его имя. Этот книжный магазин часто становился предметом доносов: семья д'Хугов считалась друзьями евреев, хотя, как ни странно, некоторые дармштадтцы, напротив, причисляли д'Хугов к ненавистникам евреев за то, что они "аризировали" лавочку Боденгеймера; впрочем, Боденгеймер сам выбрал д'Хугов из числа покупателей в Берлине. Заходя в книжный магазин, посетители говорили "Добрый день!" Так делали все, даже я в какой-то момент обратил на это внимание.

Со временем я заметил, что существует круг особо приближенных, которые исчезают за красной портьерой в задней части дома, пьют там чай или кофе и приглушенно беседуют. Я бы с радостью разузнал побольше об этих странных людях, у которых в обычае было целовать руку или целоваться в щеку, что в то время было не принято. После войны я узнал то, о чем даже не подозревал: этот книжный магазин был очагом Сопротивления; будущий министр иностранных дел Генрих Брентано проходил там школу мужества и добывал информацию. В мои школьные годы ни один противник нацизма не говорил со мной откровенно. Приблизиться к Сопротивлению больше чем на полтора метра мне так и не удалось — ни в том книжном магазине, ни где-либо еще. <...>

Как избавиться от навязанных взглядов? Как окончательно стащить с головы продырявленный мешок? Когда уже невозможно сочетать нож гитлерюгенда с Фриделем, походный компас — с Томасом Манном, короткие штанишки — с Пеладаном[1]? Когда-нибудь этим мирам, до сих пор не пересекавшимся, придется столкнуться. В моем случае впервые это произошло по вине знаменосца нашего отряда и причинило мне боль. Он обнаружил у меня в комнате небольшой роман Клабунда "Петр"[2], который я просто обожал, и сказал: "Не может быть, чтобы ты читал такую дрянь!" С этими словами он молниеносно распахнул печную заслонку и швырнул красную книжку издательства "Инзель" в огонь. Во второй раз столкновение двух миров случилось на учебных сборах юнгфолька, и на сей раз это оставило в моей душе неизгладимый след.

До сих пор в юнгфольке почти не было теории: все ограничивалось торжественными речовками во время церемонии подъема и спуска флага или у костра. Я стал юнгеншафтсфюрером (что примерно соответствует унтер-офицеру), и через некоторое время меня должны были произвести в юнгцугфюреры (примерно то же, что вахмистр или фельдфебель), а для этого мне нужно было пройти обучение в Дармштадте.

Мы учились в престижном квартале города, на роскошной вилле. Паркет, ковры, массивная мебель, обитые джутом

1. Эгон Фридель (1878–1938) — австрийский писатель, философ, культуролог. Его тексты были запрещены в нацистской Германии. После аншлюса Австрии покончил с собой. Жозефен Пеладан (1858–1918) — французский писатель, мистик, основатель ордена христианских розенкрейцеров.
2. Клабунд — литературный псевдоним немецкого поэта, писателя, драматурга и пацифиста Альфреда Геншке (1890–1928). Роман "Петр" (издан в 1923 г.) посвящен истории России.

стены, канделябры на потолке — все мне было в новинку и производило впечатление. На это и был расчет — шикарная обстановка должна была показать, что мы принадлежим к элите, которой причиталось то, что недоступно большинству. Это было в июле 1936 года, мне только исполнилось тринадцать. Точно не знаю, что больше раздражало меня в преподавателях: что на все вопросы у них были заготовлены самонадеянные ответы или что все они были зазнайками. Они нисколько не сомневались: рано или поздно они придут к власти и, по праву нового поколения, изменят грубые нравы и кровавые методы заслуженных, но вполне заурядных "старых бойцов". Они уже видели, как в ближайшем будущем станут главными национал-социалистами, с незамаранными руками и безупречными манерами.

На тех сборах мы носили не обычные черные гимнастерки юнгеншафта, а гимнастерки серого цвета, и на расположенном поблизости учебном плацу нас муштровали, как новобранцев, до полного изнеможения. Потом была лекция, посвященная идеям национал-социализма, над которыми я раньше вообще не задумывался. Но теперь обучение было системным, и ему придавалось огромное значение. По ночам я не мог уснуть, потому что все это противоречило тому, что я прочел и чему до сих пор научился. Прежде мои повседневная жизнь и ежедневное чтение никак не соприкасались друг с другом. И тут впервые, когда я был уже довольно большим, литература вмешалась в будни.

Пресловутой каплей, переполнившей чашу моего терпения, стало не какое-то крупное событие, не война и не депортации, о которых ходили слухи, а нелепое сравнение двух книг. Нам прочли несколько страниц запрещенного романа "На Западном фронте без перемен", где солдаты после организованного кайзером смотра рассуждают о кайзере, войне и отечестве — трезво и скептически. Потом нам зачитали соответствующую сцену из романа Франца Шаувекера[1]: солдаты восторгаются кайзером и готовы погибнуть за отчизну. Вот это правдивое описание, сказали нам, другое дело еврей Ремарк, которого на самом деле зовут Крамер, он втоптал в грязь идеализм немецких фронтовиков. Я сразу понял: Шаувекер есть не что иное, как национальный китч (это выраже-

1. Франц Шаувекер (1890–1964) — немецкий писатель и публицист. Вместе с Эрнстом Юнгером входил в группу так называемых новых националистов. В своих романах воспевал войну и геройскую смерть солдат. Стал очень популярен после прихода нацистов.

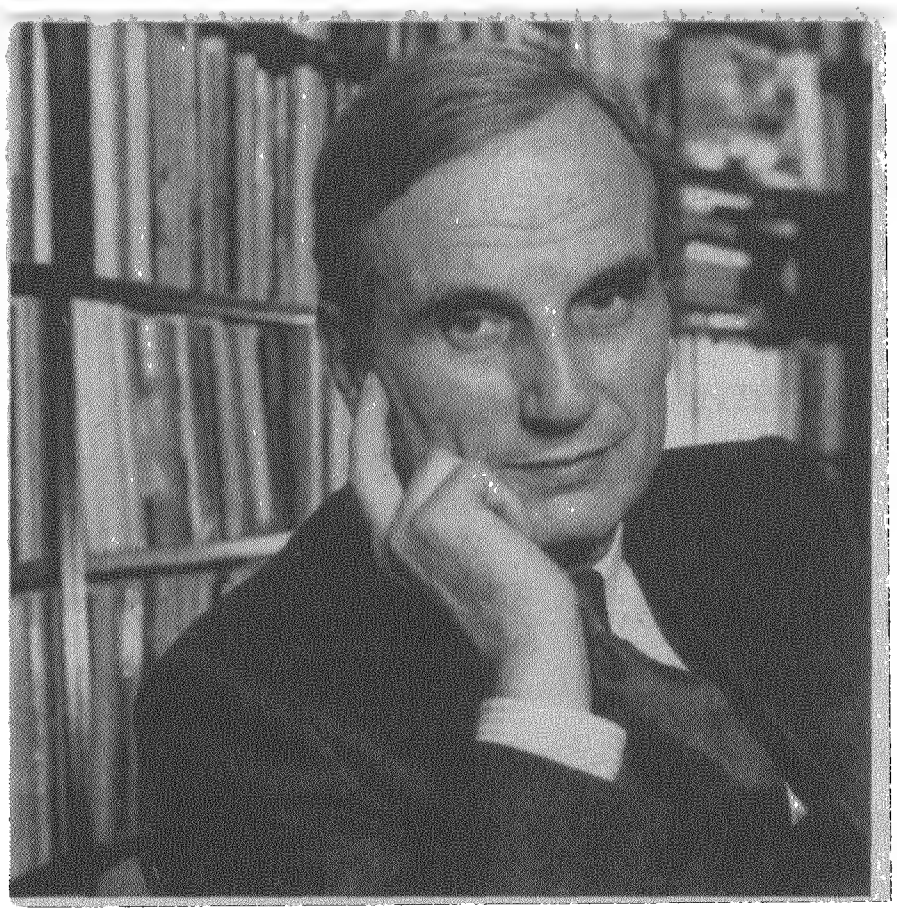
ние употреблялось и в гитлерюгенде); так, как в романе Шауве-кера, никто не говорит, даже юные гитлеровцы, а уж солдаты — тем более, а вот Ремарк прав.

Это побудило меня как можно скорее завершить свою карьеру в юнгфольке. И сделал я это не из каких-то благородных соображений — повод был незначительным, почти забавным. Однако именно он вызвал у меня бурю эмоций. Звучит драматично, но именно так я это и ощущал: стена между литературой и жизнью рухнула. Я больше не желал ни вести за собой, ни быть ведомым. В табеле успеваемости, в котором фиксировался уровень моей подготовки, начиная с марш-броска с полной выкладкой и заканчивая "мировоззренческим обучением", после 8 августа 1936 года, когда закончились сборы, больше нет записей.

Мешок наполовину сполз с головы. Я отказался от своего пустяшного звания в юнгфольке и в положенное время перешел собственно в гитлерюгенд для 14—18-летних, где наша "служба", по крайней мере, в Архайльгене, выражалась лишь в откровенном неуважении по отношению к начальству. <...>

В семнадцать лет я окончательно сорвал мешок с головы. Теперь я знал: что бы мне ни советовали, что бы ни приказывали в будущем, моя единственная серьезная задача — спасти свою голову.

Йоахим Фест



Счастливые годы

Перевод Анны Торгашиной

НАВЕРНОЕ, память обманывает и приукрашивает. Но я вспоминаю школьные годы в Третьем рейхе без неприязни. Образы и ощущения, в которых еще существует та эпоха, не имеют ничего общего с террором, подавлением и бесправностью. Хотя все это было и этого невозможно было не замечать. Тем не менее, оглядываясь назад, на то время, которое совпало для меня с учебой в школе, я вижу скорее смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления — все это и делало то время счастливым.

Политические перипетии от нашей жизни были неотделимы, они-то и придали счастью тех лет особый оттенок — по крайней мере, в детском восприятии. Память хранит ранние воспоминания, которые долго оставались неразгаданными: например, как отец, которого я всегда глубоко уважал, однажды вечером совершенно измученный, в изорванной одежде остановился в темном проеме входной двери, не заметив меня в углу, а затем, тенью проскользнув мимо, скрылся в одной из комнат.

Это случилось весной 1932 года, когда волнения, очень похожие на гражданскую войну, перекинулись и на ранее не-

© 1982, 1988 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH&Co, KG, Cologne, Germany
© Анна Торгашина. Перевод, 2015

затронутые предместья Берлина. В следующие месяцы в доме царило оживление, кто-то постоянно приходил и уходил, появлялись чужие лица, из комнаты отца доносились громкие голоса, и, толком не понимая что к чему, я все-таки ощущал всеобщее волнение и ожесточение.

С раннего детства мы с братьями и сестрами остро чувствовали эту напряженность. Неспособный к любой форме притворства, а скорее — не желающий притворяться, мой отец и после января 1933 года не скрывал своего почти до тошноты доходящего презрения к "нацистскому сброду", как он выражался. В кругу семьи он тоже никогда не сдерживал злости, несмотря на ужас и увещевания матери. Отец осознавал опасность, но не мог вести двойную жизнь — годы спустя я услышал, как он объяснял это обеспокоенным друзьям. В своем упрямстве он обременял нас этим доверием, но в то же время это нас сближало — мы чувствовали себя заговорщиками. 28 февраля 1933 года, наутро после пожара рейхстага, он взял меня с собой из Карлсхорста в центр города, мама настояла на этом в надежде, что мое присутствие удержит его от необдуманных поступков. Мы несколько раз прокатились на городской электричке по дуге между станциями Фридрихштрассе и Бельвю туда и обратно. Мы стояли у вагонной двери, и, когда показывались тлеющие руины, отец подхватывал меня сзади под мышки, поднимал к окну и приглушенно произносил слово "война" или что-то в этом роде. Как я узнал позже, он имел в виду восстание, на котором настаивала часть руководства "Рейхсбаннера"[1], но большинство уже смирилось с тем, что казалось неизбежностью. Мне тогда только исполнилось шесть лет, и я считал, что политика — это такое развлечение для взрослых.

А политика с этих пор заполонила все. В апреле 1933 года моего отца уволили с государственной должности и запретили ему заниматься профессиональной деятельностью. Время от времени появлялись какие-то люди, с громогласным "Хайль Гитлер!", без приглашения, они входили в нашу квартиру и скрывались с отцом в кабинете, в то время как мама с застывшим, лишенным всякого выражения лицом замирала у гардероба и прислушивалась к голосам. За столом упоминались имена внезапно пропавших друзей, иные же исчезали из разговоров, поскольку уже не были друзьями. Несколько раз я

1. "Рейхсбаннер" — государственный флаг Германии, также называли Союз германских участников войны и республиканцев (Bund deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner) — боевую организацию, существовавшую с 1924-го по 1933 г. (*Прим. ред.*)

видел, как соседи, избегая встречи с нами, переходили на другую сторону улицы — такое случалось нечасто, но навсегда оставалось в памяти. Карлсхорст был типичным провинциальным городишком, где все были друг с другом знакомы, знали, у кого какие достоинства и недостатки, слабости, причуды и дурные привычки, мелкие интрижки и семейные неурядицы. И невозможно было спокойно смотреть, как этот маленький мир с множеством социальных связей, среди которых хватало и неприязней личного или семейного толка, вдруг распался, и на смену этим связям пришла новая, неизвестная доселе вражда, мелочные кляузы и доносы. Малокровный, всегда немного стеснительный господин Хензельманн, чей сад граничил с нашим, теперь часто появлялся у окна в униформе и со строгим выражением лица наблюдал за происходящим по нашу сторону забора. Однажды, в честь дня рождения одной из моих сестер, мы устроили в саду праздник с бумажными фонариками, и он вызвал полицию, поскольку счел, что шум ему мешает. Когда я спросил отца, что в те годы удручало его больше всего, он назвал не успехи Гитлера, непрерывно следовавшие один за другим, не слабость внутреннего и внешнего противника, — тяжелее всего ему было смотреть, как, начиная с весны 1933 года, вдруг опустело окружающее его пространство. <...>

Мой уход из школы предвосхитило событие, произошедшее примерно годом раньше. Однажды утром я почему-то — уже не помню, почему именно, — оказался в школе за четверть часа до начала занятий. Сидя в пустом тихом классе, оцепенело глядя на тусклое зимнее утро, я в конце концов заскучал, достал складной ножик и нацарапал на свежелакированной парте карикатуру на Гитлера — именно такими карикатурами многие из нас в те дни, забавы ради и чтобы обратить на себя внимание, разрисовывали стены домов, афишные тумбы и двери вагонов метро: вертикальный овал, в самом верху слева направо его пересекает слегка изогнутая линия, чуть ниже середины — плотная штриховка. В этих каракулях, по нашей задумке, всегда безошибочно угадывалась голова фюрера.

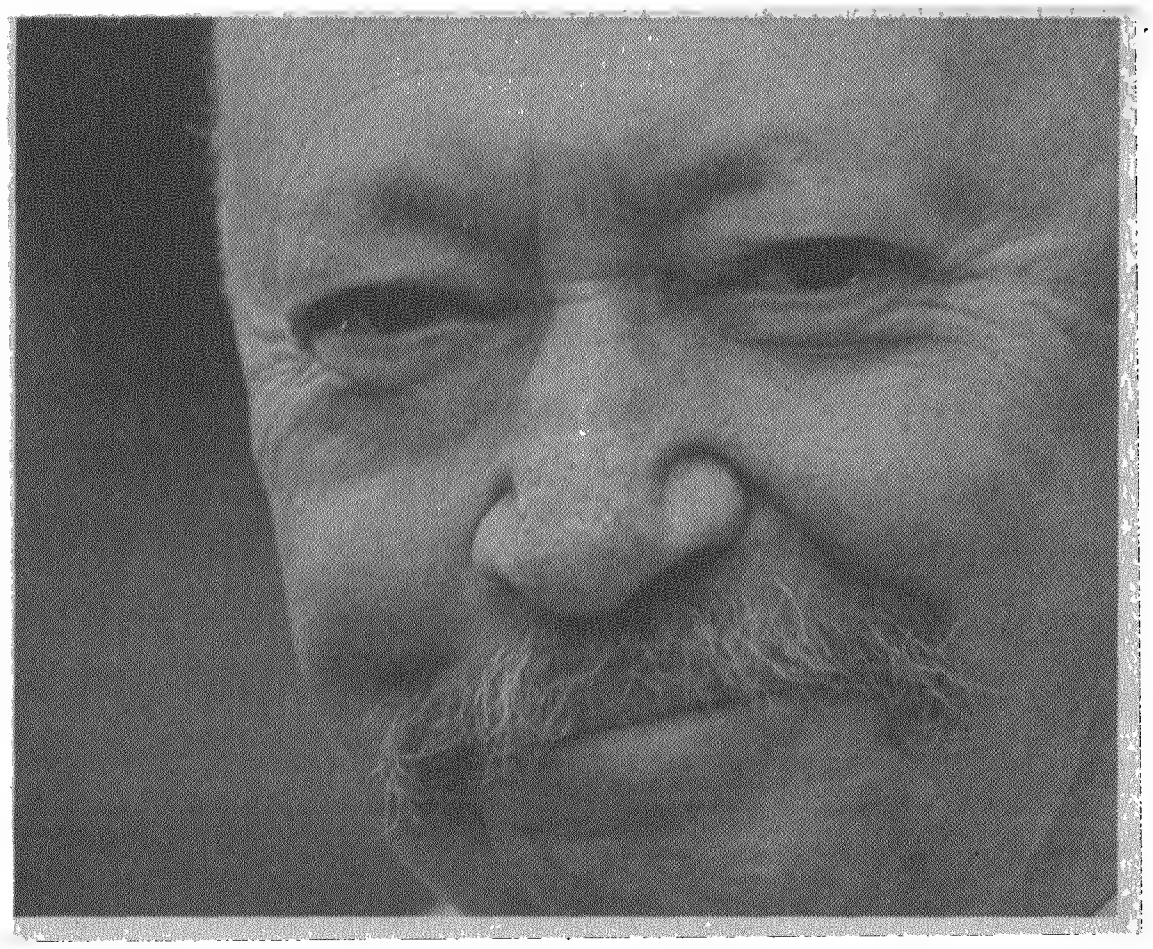
Первым, кто вошел в класс, был Герд Доннер. Еще в народной школе его оставляли на второй год, и поэтому он был годом старше всех нас. Однако своим авторитетом он был обязан не только возрасту, но и высокому росту, умению не лезть за словом в карман и особому, чуть ли не дарвиновскому инстинкту, приобретенному на задворках юго-восточного Берлина, — Доннер держал нос по ветру и умел приспособиться к любой ситуации. Всегда щеголевато одетый, на каждой перемене он почти автоматически доставал узкий кожаный футляр, извлекал оттуда расческу и, слегка откинув голову, проводил ею по

длинным волосам, зачесывая их назад; этакий денди от пролетариата, на которого смотрели с восхищением, как на знатока овеянных тайной ночных баров и волнующих историй про женщин. Бросив быстрый взгляд на мою парту, он тихо, но резко сказал: "Убери это сейчас же!" Не дожидаясь моей реакции, он тут же начал ногтем по кусочку отколупывать лак из овала. Тем временем подтянулись остальные ученики, помещение за нашими спинами заполнилось, некоторые подошли ближе и еще смогли разглядеть в оставшихся очертаниях карикатуру. В нарастающем гвалте Герд Доннер пригрозил взбучкой тому, кто посмеет нажаловаться.

Чуть позже в комнату вошел учитель, господин Аппельт. Это был педантичный, не уверенный в себе, вечно потеющий человек с крупным специфического серого цвета лицом, что говорило о тяжести долгих ночных часов, проведенных за освоением учебного материала. Не успел класс сесть, как, ко всеобщему удивлению, поднялся Нильс Шлак, — это был прилежный полноватый мальчик, наполовину норвежец, единственный в классе постоянно носивший значок гитлерюгенда на лацкане пиджака. "Мне нужно кое о чем сообщить", — произнес Шлак. Затем он рассказал о случившемся. Учитель состроил брезгливую мину — лоб его прочертила вертикальная складка — и, едва заметно покачав головой, он подошел ко мне. Учитель растерянно уставился на парту и затем велел после уроков пойти с ним к директору, где мне учинили обстоятельный допрос. Уже на следующий день пришел чиновник в штатском снимать показания, и у мамы снова появился повод причитать.

Объяснялось ли смутное недоверие, исходившее с того дня от некоторых учителей, боязнью любых, даже столь незначительных нарушений? Как бы то ни было, но после этого происшествия у меня появились и новые друзья — среди них Вигберт Ганс, первый ученик в классе, который обратился ко мне со словами "Мы тоже анти" — распространенной в те времена формулой признания. Его отец, как я узнал позже, тоже был снят нацистами с должности. Однако наш классный наставник с этих пор усматривал в любой невнимательности, любой провинности с моей стороны проявления безнадежной никчемности и к тому же политической неблагонадежности, так что вскоре я с огромным отрывом возглавил список учеников, получивших замечания в классном журнале или оставленных после уроков, и, чтобы положить конец этому безобразию, моего отца вызвали к господину Вайнхольду. Они сошлись на том, что я смогу избежать грозившего мне исключения лишь в том случае, если в самое ближайшее время покину школу.

Гюнтер Кунерт



Мучение

Перевод Анны Торгашиной

ЕСЛИ вспоминать можно, только прежде забыв, поневоле задаешься вопросом — не слишком ли рано и не слишком ли глубоко я стал задумываться о времени, проведенном в школе, ведь мой запас образов прошлого скуден. Еще одна причина моей забывчивости заключается, вероятно, в том, что в эти безрадостные часы не происходило ничего настолько существенного, что могло бы на десятилетия запечатлеться в памяти. Что уж говорить об обязательном механизме вытеснения. Точно помню, что школу, куда я был обязан ходить — это была старая "классическая" народная школа, — я ненавидел и боялся всей душой, и мое телесное "я" немедленно претворяло мои ощущения в самые разнообразные болезни. Поскольку сам я защищаться не мог, защищалось тело.

<...>

До того, как пропали Барухи, Каро, Фалькенштейны и Варшауэры — известно, каким образом, и все же каждый раз это не укладывалось в голове, — круг общения нашей семьи менялся медленно. Первое время еще сохранялась некото-

© 1982, 1988 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH&Co, KG, Cologne, Germany
© Анна Торгашина. Перевод, 2015

рая иллюзия нормальности: вот я несу фату за невестой в синагоге на Рюкештрассе, в северной части Берлина, – на мне белая рубашка, короткие штанишки, белые гольфы, контрастирующие с черным ремнем из лакированной кожи и лакированными ботинками, и я сам себе кажусь ряженым и неуклюжим в этом маскараде. Уже велись бесконечные разговоры об эмиграции, аффидевитах, лифтах[1], квотах на въезд, но лишь один участник этих разговоров сделал обо всем этом правильные выводы и вскоре стал военным летчиком в Англии. Все эти рассуждения, перемежаемые самыми свежими анекдотами и последними слухами "еврейского радио", сводились в конечном счете к фатальному поучительному самообману: "как-нибудь все образуется...".

Позже, уже в разгар войны, во время так называемых еврейских акций то и дело появлялись родственники, они оставались на пару ночей, покидали порог нашего дома и уже никогда не возвращались. По тем же причинам мы время от времени ночевали у знакомых арийского происхождения; мы были начеку, поскольку никогда не знали наверняка, не утратил ли еще "смешанный брак"[2] своих защитных функций. О тех, кто пропал, не было никаких известий. Только однажды прошел совсем уж фантастический слух о семейной паре Грюн, Герхарде и Ильзе, состоявших с нами в каком-то сложном родстве: будто они, переодевшись в эсэсовскую форму, сбежали из Терезиенштадта[3] и вернулись в Берлин! Но это казалось крайне маловероятным. Мы о них так ничего и не знали до тех пор, пока в шестидесятых, взволнованный и потрясенный, но и с некоторым удивлением, я не обнаружил в "маленькой крепости", концлагере особого назначения на территории городка Терезин, защищенные стеклом следы пуль на стене. Надпись рядом гласила, что на этом месте после побега и поимки была расстреляна Ильзе Грюнова.

<...>

Оглядываясь назад, – расхожее, но весьма спорное выражение, будто прошлое можно полностью окинуть взглядом и

1. Уезжавшим в США эмигрантам требовался аффидевит – официальное приглашение, написанное гражданином или постоянным жителем США, который брал на себя обязательства помогать вновь прибывшим. Лифтами называли специальные контейнеры, в которых еврейские эмигранты везли свои вещи. (*Здесь и далее – прим. ред.*)
2. Мать Гюнтера Кунерта была еврейкой.
3. На территории бывшего гарнизонного чешского города Терезин располагался концентрационный лагерь. Известен также как Терезинское гетто.

рассмотреть в деталях, как уходящий вдаль ландшафт, — я все же думаю, что, несмотря на неблагоприятное стечение обстоятельств, для меня все сложилось вполне удачно, ведь мои учителя и одноклассники не очень-то поддерживали идеологию нацизма. Учителя были сплошь старой закалки, этакие гнусы мелкого пошиба, но при этом в своем роде аполитичные.

Один учитель, помешанный на математике любитель браниться и размахивать палкой для битья, на чьих уроках я, ненадолго появляясь в школе, провел больше всего времени, позволял себе даже шутки о режиме и издевался над полнотой Геринга, рекомендуя тому пушки вместо масла в качестве диеты. Он, должно быть, хорошо знал состав класса: в массе своей это были мальчики из рабочих семей, дети мелких ремесленников и торговцев, людей неопределенного склада: в их семьях преданность Гитлеру, вероятно, уже сходила на нет. (Один из учеников даже учил русский с репетитором; пригодится в будущем — как он сам искренне и безапелляционно заявлял.)

И все же между другими учениками и мной никогда не было понимания. Я был для них чужаком, подозрительным типом, которого терпели, да и сам я со временем приобрел осторожность и старался держаться в тени, никоим образом не привлекать к себе внимания. Кажется, мне это удавалось. Если меня попросят поставить диагноз проведенному в школе времени, исходя из того, как оно на меня повлияло, мне пришлось бы этот период охарактеризовать как болезнь, а пропуски по болезни шли на пользу моему здоровью — по крайней мере, душевному. Это довольно точно сформулировано в одном выражении, вычитанном мною уже после войны в каком-то сборнике афоризмов забытого сатирика Роды Роды[1]: "Иногда очень полезно для здоровья немножко побыть больным".

1. Александер Рода Рода (наст. имя Зандор Фридрих Розенфельд, 1872–1945) — австрийский сатирик и публицист.

Барбара Кёниг

Упущенная возможность

Перевод Марины Ивановой

СЕМЬ лет, проведенные мной в Третьем рейхе, шесть из которых приходились на время учебы в школе, начались с того же, чем и закончились: с моего бегства в Германию. Правда в первый раз это было не опасно, не навсегда и безо всякого принуждения. Шел сентябрь 1938 года в немецко-богемском городке Рейхенберг, в город вот-вот должны были вступить гитлеровские войска, существовала опасность перестрелок с чехами, и тогда женщинам и детям было предложено переждать бурные времена на территории рейха. Мама, всегда любившая путешествия, воспользовалась этой возможностью. Мне недавно исполнилось тринадцать, брат был на год старше.

Я надеялась увидеть жизнерадостную Германию, которую знала по романам, но еще по пути туда очнулась от своих мечтаний: люди на вокзалах, которые через окна протягивали нам бутерброды и чашки с кофе, выглядели совершенно одинаково в своей форме, а их движения были так похожи, что после третьей станции мне стало казаться, будто я еду по кругу. Кроме того, я дулась, потому что дома начала читать "Quo

© 1982, 1988 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH&Co, KG, Cologne, Germany
© Марина Иванова. Перевод, 2015

vadis"[1] и по маминому совету не стала брать с собой эту толстую книгу; теперь же я об этом жалела.

Две недели, которые мы провели на турбазе в Зауэрланде, показались мне неудавшимися каникулами: прекрасный пейзаж, голубое небо, но при этом спартанское жилье, чай с перечной мятой, сбор картофеля, новые немецкие пропагандистские книги, сводки новостей из "народных" радиоприемников, сопровождаемые бурным ликованием: так наши бывшие соотечественники приветствовали марш освободителей — Судеты снова стали частью рейха.

Я знала, что у нас имелись причины для ликования, ведь мы были немцами, угнетенным чехами меньшинством. Хотя одна моя бабушка была чешкой, вторая — наполовину венгеркой (а дедушка был вообще неизвестно кем) и мои родители выросли еще в Австро-Венгрии — все это меня нимало не волновало, у меня были другие заботы. За два года до того умер мой отец, он покончил с собой, никто не знал почему. С ним кануло в Лету и наше красочное детство, Фридландский парк, "хупмобиль", лошади, ландо, Кати, кухарка, и Бюргер, шофер. С тех пор я всеми силами старалась привыкнуть к своему новому статусу: девочка, растущая без отца, в стесненных обстоятельствах.

Теперь же внезапное облегчение пришло извне, поменялась среда обитания, а как именно она поменялась, мне дела не было; я с любопытством наблюдала за роскошью флагов, которая ожидала нас дома, слушала победные марши и ждала чего-то большего; как человек, который сидит в кино с зубной болью и надеется, что захватывающее действо поможет ему о ней позабыть.

События сменяли друг друга, но ничего сенсационного не происходило. Появлялись новые учителя и ученики, говорившие на языке рейха, старые знакомые неожиданно облачались в форму и сразу становились чужими. Учителя начинали уроки со вскидывания руки, а класс должен был в ответ громко крикнуть "Хайль Гитлер!". Как иностранной речи я училась новым выражениям партийного языка.

Вокруг было много новых лиц, и я не очень-то замечала, когда кто-нибудь исчезал. Например, друзья моего отца из "Шлараффии"[2], это был совершенно особенный тип горожан, в шубах и цилиндрах, которые, как и мой отец, приподнимали

1. Имеется в виду исторический роман Генрика Сенкевича. (*Здесь и далее – прим. ред.*)
2. "Шлараффия" — пражское объединение немецкоязычных художников и писателей, образовано в 1859 г.

шляпу и приветствовали друг друга с помощью словечка "лулу"[1], — всех их я потеряла из виду сразу после папиной смерти и не знала, что только теперь они действительно погибли.

Мы поменяли школу; вместе с другими девочками я перешла из реальной гимназии со смешанным обучением в новую среднюю школу для девочек, и, в отличие от моих одноклассниц, которые были очень недовольны, мне эта перемена нравилась. Кроме меня, в нашей семье девочек не было. Я росла с братом и четырьмя кузенами и набралась всего от мальчиков, начиная с Карла Мая и "Тома Шарка"[2] и заканчивая метанием ножей и боевым искусством джиу-джитсу, теперь же, как мне казалось, настало время познакомиться с миром девочек. <...>

Д-р. Г. Х. была лучшей учительницей, которую я когда-либо встречала, она преподавала естественно-научные дисциплины и делала это с такой страстью, что ее предметом были увлечены все школьницы без исключения. И я могла поклясться, что ее голос становился другим — сухим, отстраненным, — когда она говорила о биологических теориях нацистов: чтобы это увидеть, не надо было уметь читать мысли. Она прижимала руку к сердцу, прикрывая ею партийный значок, и говорила: "Я не могу взять на себя такую ответственность и не рассказать вам о гениальном создателе психоанализа", и писала на доске "Зигмунд Фрейд". Тогда я подумала: персональная ответственность помимо предписаний? Это никогда еще не приходило мне в голову.

Другая наша учительница, по-видимому, в угоду собственному тщеславию, рьяно пропагандировала основы национал-социализма, она собирала нас в спортзале, чтобы мы слушали речи фюрера, и при этом показывала рукой на вездесущую свастику — звали ее госпожа К., она была директором школы. Это была сильная личность. Большая, немного сутулая, волосы с проседью убраны в неопрятный пучок, под мышкой — пакет с книгами, на ней — распахивающаяся вязаная жилетка, светлые острые глазки смотрят так, что от них ничто не может укрыться, — такой она была, когда проносилась по коридорам нашей школы и когда она поднимала руку в фюреровском приветствии, это было уже больше, чем жест, — это было утверждение превосходства. Не исключено, что по ее милости у сотен девочек сформировалась искаженная картина мира, и этот стойкий яд на протяжении многих лет и даже десятилетий отрав-

1. В объединении существовал особый ритуал приветствия.
2. Карл Фридрих Май (1842–1912) — немецкий писатель, автор известных приключенческих романов. "Том Шарк" — немецкий криминальный сериал, выходивший в 1916–1917 гг. Режиссеры А. Нойс и Х. К. Хайланд.

лял им жизнь, и все же, как это ни абсурдно звучит, именно она научила меня сомневаться — это был первый шаг к осознанной критике.

Она вела у нас немецкий, а немецкий был моим коньком. Она всячески меня поощряла. Одобряла мои стишки и то, что называла моей способностью мыслить критически, она хвалила мои работы, даже когда в них отсутствовала национальная тема, она давала мне возможность развиваться. А потом произошел этот случай с домашним сочинением. Мы должны были на примере какого-нибудь великого человека из истории Германии раскрыть наиболее характерные национальные черты: патриотизм, силу воли и тому подобное. Я помню, что сначала хотела выбрать Бисмарка, но потом мне показалось, что это займет слишком много времени, и вместо Бисмарка я выбрала Гитлера. На эту абсолютно надуманную фигуру можно было навесить любую немецкую добродетель, я справилась с сочинением за полчаса — мне же требовалось только пересказать то, что я слышала из уст директорши. Поэтому я очень удивилась, когда после первого урока она подозвала меня к себе. Перед ней лежало мое сочинение. Она подождала, пока все выйдут, положила руку на тетрадь и спросила: "Зачем ты все это написала? — Я не знала, что ответить. — И ведь именно ты", — сказала госпожа К., покачала головой, встала и вышла.

Это последнее краткое замечание натолкнуло меня на мысли, которые прежде я всячески от себя отгоняла. Лавина затаенных ощущений и воспоминаний нахлынула на меня, я находилась в смятении: как это случилось? Они сожгли синагогу и внушили нам, что произошло "восстание немецкой крови против еврейской порчи". Я знала, что это неправда, потому что мой брат случайно оказался там за несколько часов до пожара и видел, как пожарные обкладывали паклей купол синагоги; если не считать двух-трех ошеломленных свидетелей, этого никто не видел, ни о каком восстании не могло быть и речи. Я стерпела эту ложь, но меня не переставал мучить вопрос, что чувствует пожарный, который вынужден раздувать пожар, вместо того чтобы его тушить?

В то время происходило много нелепостей; соседи перешептывались, обмениваясь слухами: один рассказал политический анекдот, другого арестовали. Мальчик из гитлерюгенда донес на своих родителей, родителей отправили в Баутцен. Из рассказов я знала, что тюрьму в Баутцене превратили в концентрационный лагерь. Это словосочетание было для меня новым, и долгое время я думала, что имеется в виду лагерь, куда отправляют противников режима, чтобы они могли сконцентрироваться и осмыслить содеянное.

Мамина двоюродная сестра, жившая в Праге, как-то приехала из протектората и рассказала о массовых арестах, производимых гестапо: сажали не только чехов, но и переехавших в Чехословакию немцев. Она спросила, что мы об этом думаем. Мама сказала нам: "Счастье, что вашего отца нет в живых, он ни за что бы не стал молчать, его бы уже давно посадили".

Какой позор: еврейская пожилая супружеская пара из нашего дома, тогдашние хозяева магазинчика деликатесов, могли пользоваться только скамейкой в частном саду хозяйки дома, сидеть на "скамейках для арийцев" им запрещалось. Но тут уж взбунтовалась хозяйка, это была толстая, несуразная женщина, национал-социалистка, от которой нельзя было ожидать такой прыти, и никто из нас за них не вступился. Вскоре скамейка снова стояла пустой. Это была мертвая пустота, я это видела, но очень быстро закрыла на это глаза.

Хаос нарастал, я стала плохо спать, мои и без того не самые высокие оценки в школе стали еще ниже. Помощи со стороны не было никакой. Мой немногословный брат как-то принес из школы такую фразу: "Right or wrong, this is my country"[1]. Но это не сильно помогло. Мама, уставшая отвечать на трудные вопросы, лишь вздохнула и сказала: "Везде есть и правда, и неправда, нужно уметь отделить одно от другого". Я пыталась отделить, и человечество распадалось для меня на множество половинок: хорошие немцы и плохие немцы; плохие немцы и злые немцы; немцы и чехи; арийцы и евреи; еврейские немцы и арийские чехи. Плюс несчетное количество исключений. То, что оставалось, как правило, было частным случаем. А эти случаи, в свою очередь, распадались на множество половинок...

Именно в это время, когда для меня, четырнадцатилетней девочки, наступил период сомнений и поиска ориентиров, мне выпала большая удача, которая поначалу казалась несчастьем: я заболела. Сперва это были сразу две детские болезни, скарлатина и дифтерит, затем обнаружился острый суставной ревматизм, последовал сердечный приступ, потом еще один, я вполне могла умереть. Тем временем началась война, я узнала об этом как бы между прочим, слушать радио и читать мне запретили врачи, так что меня происходящее как будто не касалось, я счастливо подремывала и совершенно необъяснимым образом сумела выздороветь.

Когда спустя пять месяцев на ослабевших ногах я снова пошла в школу, у меня в сумке лежали два важных медицинских заключения. Первое освобождало меня от службы в Союзе не-

1. Право оно или нет — это мое отечество (*англ.*).

мецких девушек, членство в котором с началом войны было уже не честью, но обязанностью, второе навсегда избавляло меня от необходимости "закаляться", а прежде это стоило мне ежедневных усилий, да к тому же отнимало массу свободного времени во второй половине дня, так как тренировки проходили в пригороде, на спортивном стадионе. Конечно, мне пришлось отказаться и от таких своих любимых занятий, как теннис, балет, степ и акробатика, но это показалось мне не слишком высокой ценой.

Два последующих года были счастливейшими за все время учебы в школе. Наконец-то я была свободна. Домашние задания я делала в школе, пока остальные тренировались и маршировали; в послеобеденное время я читала, писала длиннющие многостраничные стихи и смотрела фильмы киностудии УФА. И главное: я получила алиби, мне было просто необходимо заботиться о своем здоровье больше, чем о чем-либо другом. Если прежде я была дичком и непослушным ребенком, то теперь благодарила судьбу за такой подарок и стала почти ласковой, что показалось моим близким серьезным признаком болезни.

Суровая действительность вырвала меня из сладкой мечты: шло лето 1942 года, нацисты жестоко отомстили за убийство Гейдриха[1], всяческая связь с Прагой оборвалась, Богемия потонула в крови. Тогда же и мы испытали на себе этот террор. Внезапно маму вызвали в управление по делам "рас и расовой гигиены". Там совершенно фанатичная нацистка, врач — ее звали госпожа Бар, некоторые имена хорошо впечатываются в память, — рассказала ей, что наш, доселе неизвестный дедушка по линии отца был венгерским евреем. Она обвинила маму в "отсутствии расового чутья при выборе супруга", возложила на нее ответственность за самоубийство отца, а также за "декадентскую наследственность" ее детей, которая портит их будущее; при таком положении вещей о нашей учебе в университете не могло быть и речи. <...>

В феврале 1944-го я окончила школу, в условиях войны спешно сдав выпускные экзамены. Вместо того чтобы пойти в Имперскую службу труда[2], я устроилась на работу в отдел печати при Национал-социалистической народной благотворительности, где в мои обязанности входило сообщать об эвакуации детей, появлении новых детских садов и тому по-

1. Рейхард Гейдрих, исполнявший обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, был убит в Праге 27 мая 1942 г.
2. Имперская служба труда была образована в 1933 г. с введением в стране обязательной трудовой повинности. Просуществовала до конца войны.

добных вещах. Через неделю я прочитала в газете объявление, написанное начальницей больницы: “Требуется учитель немецкого языка для обучения иностранных сотрудников”. Я предложила свои услуги.

Доктор Й. был украинцем, в Германии он находился в ранге майора. Наши занятия немецким проходили в инфекционном отделении больницы, которым он заведовал. Я не боялась скарлатины и дифтерии, от этих болезней у меня уже был иммунитет. От чего у меня не было защиты, так это от любви. У нас был короткий и бурный роман, который вскоре омрачился вспышками ревности с моей стороны, когда доктор Й., явно что-то от меня скрывая, стал половину дня и все вечера проводить в Праге. К своему стыду, я вынуждена признать, что была просто счастлива, когда в начале сентября 1944 года доктор Й., а затем и я, были арестованы гестапо, и на многочасовых допросах я узнала, что пражские визиты моего друга объяснялись не наличием соперницы, а “исключительно” политическими связями. Какого рода были эти связи, я так и не смогла выяснить за все время своего заключения, которое длилось пять с половиной месяцев. Зато мне стало очевидным другое: раньше я лишь сомневалась, а если и сопротивлялась, то слишком пассивно, теперь же, под воздействием грубых окриков Вихтля, известного кровопийцы, начальника тюрьмы на Лауфергассе в Рейхенберге, я наконец-то превратилась в противника режима. Но в таких обстоятельствах это было уже несложно, а вот свой шанс прозреть раньше я упустила. Мне не оставалось — и до сих пор не остается — ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется “долгом”, и мужествен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается.

К слову, доктора Й. я больше никогда не видела, да и потом ничего не смогла узнать о его судьбе. А вот госпожу К., мою прежнюю директоршу, мне встретить довелось, это было в пятидесятые годы, незадолго до ее смерти. Я сказала ей: “Вы даже не представляете, насколько я вам благодарна. Помните мое сочинение о Гитлере?” Но она не захотела об этом говорить и, уж чего я никак не ожидала, даже покраснела. Я ничего больше не спрашивала, и это было ошибкой, потому что теперь меня вновь одолевают сомнения, причем такие, которые я уже никогда не смогу разрешить: потому ли она покраснела, что я напомнила ей о ее нацистском прошлом, или дело было в том, что тогда, возможно, в первый и единственный раз она предала своего фюрера.

Герхард Никау

Закономерность или все же случайность?

Из книги “В ГУЛАГе”

Перевод Веры Менис

МОСКВА, 1 мая 1946 года. Каждое утро в 9 часов я отправляюсь на прогулку. Однако в моем распоряжении, в лучшем случае, площадка около 20 квадратных метров, расположенная на крыше шестиэтажного здания Лубянской тюрьмы[1]. Разумеется, здесь нет ни травы, ни деревьев, а только серые стены да колючая проволока. Единственное, что доступно взору, — это небо. Стоит пре-

© 2003 by Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH, Hamburg, Berlin, Bonn
© Вера Менис. Перевод, 2015

1. Прогулочный двор, разделенный перегородками на шесть равных площадок, располагался на крыше Лубянской тюрьмы. По периметру он был обнесен колючей проволокой, так что многие заключенные не понимали, что находятся на крыше. Думали, что их подняли на землю из подвалов. Возможно, отсюда миф о “подвалах Лубянки”. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

красный майский день, но в данный момент посреди голубого неба видны белые следы советских истребителей. Правда, уже скоро рев моторов перекрывается будоражащим ритмом советских маршей; резкий звук исходит от громкоговорителей на площади Дзержинского, что неподалеку отсюда. Это все предвестники первомайского парада, который вот-вот начнется.

Еще слышны гудки автомобилей, хотя вообще-то улицы должны быть перекрыты. Наверняка это следуют на парад якобы горячо любимые советским народом члены Политбюро. Они едут на Красную площадь под охраной, прямиком из Кремля, чтобы затем подняться на знаменитые трибуны Мавзолея. Остальные звуки, которые улавливает мой слух, не имеют никакого отношения к социалистическому празднику. Я слышу протяжные гудки, похожие на пароходные. Но издают их поезда, уходящие с многочисленных московских вокзалов. В этот момент я еще не подозреваю, что совсем скоро именно эти звуки на долгие годы станут моими постоянными спутниками.

Однако вернусь к прогулке, на которой меня неотступно сопровождают. Следят за каждым моим шагом. Сколько их в действительности, тех, кто наблюдает за арестантами, мне не ведомо. Я вижу только одного конвоира. Он выводит меня из камеры на прогулку и приводит обратно. Он наблюдает за мной, стоя на краю этой маленькой площадки. С высоты, из стеклянной будки, за мной следит другой солдат. Есть еще один пост постоянного наблюдения — на крыше Министерства государственной безопасности. Что говорить, почти за семь месяцев моего пребывания здесь я уже давно привык к этому неустанному надзору. И кроме того, надо с терпимостью и пониманием относиться к здешним порядкам, ведь мы находимся в "государстве рабочих и крестьян", на которое "пролетарии всех стран" смотрят с большой надеждой. Или, по крайней мере, так должно быть. И на Лубянке, в главной тюрьме этой страны, к заключенным, очевидно, относятся как к очень опасным элементам, причинившим зло государству или, как минимум, желавшим этого. Так что, возможно, охраняя меня, они "охраняют советское отечество". Что совершенно необходимо, а потому не случайно. Ведь так?

И все же придется признать, что мое пребывание на Лубянке было мало того что случайным, но и абсолютно излишним. В принципе, я был самым обычным 23-летним военнопленным, летчиком, который имел несчастье быть сбитым в конце 1944 года в Курляндском котле. С этого момента я ока-

зался в латвийском лагере для военнопленных, где моя жизнь была тяжелой, но все же сносной. Я не впадал в уныние и постоянно, словом и делом, поддерживал товарищей по несчастью. Мне всегда удавалось хорошо ладить с советскими охранниками и офицерами. В скором времени после моего заключения в 1944 году я приобрел очень важный опыт. Каждый раз, когда по пути к сборному пункту мы останавливались там, где стояли советские солдаты, они тут же окружали нас кольцом, и начинался презрительный рев: "Гитлер капут, да, да, да!", ну и так далее... Если же нас окружали монголы или кавказцы, нам особенно доставалось. Обычно все мы опускали головы, а некоторые даже на немецкий манер сдвигали каблуки и говорили: "Так точно!". Но когда мне это изрядно надоело, я вспомнил все свои скудные познания в польском, гордо посмотрел Иванам в лицо и, смешивая польский с немецким, выкрикнул так же громко, как они: "Нет, я вам не Гитлер, и я не капут. Оставьте нас в покое! Пошли вон!". Это возымело невероятный успех, просто до смешного! Советские фронтовики неожиданно похлопали меня по плечу, предложили хлеб, табак, и вскоре я стал для них своим. Успех был столь грандиозный, что в сходных обстоятельствах я испробовал этот метод еще пару раз. Итог всегда был один — признание! С тех пор я ни перед кем больше не сдвигал каблуки, не опускал голову, а твердо смотрел в глаза каждому русскому и говорил тем же тоном, что и мой визави, по большей части с легкой усмешкой. Конечно, я старался не выглядеть слишком строптивым. Так что между мной и русскими складывались вполне нормальные отношения, если об отношениях вообще можно вести речь, поскольку к общению с ними я не особо стремился.

В этом же лагере обитали двое немцев, с которыми большинство из нас вовсе не хотели иметь дела. Они разгуливали в красноармейской форме, разумеется, без советских звездочек, жили в отдельной комнате и пользовались небывалыми привилегиями. Называли они себя антифашистами (Антифа) и входили в состав Национального комитета свободной Германии. Их миссия заключалась в провозглашении великой победы Красной армии, а также в промывании нам мозгов с помощью советской пропаганды. Кроме того, они строили из себя добровольных помощников лагерного руководства. Но за этим фасадом оба агитатора скрывали свою криминальную деятельность. Пауль — старший из них — был сыном одного старого коммуниста из Рурской области. В 1942-м его послали на фронт, откуда он сбежал в Советский Союз, закончил там школу агитаторов, и его стали использо-

вать в качестве рупора пропаганды. Теперь Пауль был начальником отдела пропаганды, что меня удивляло, поскольку при своих политически выверенных взглядах характером он обладал неустойчивым. Другого агитатора звали Вальтер. В 1943-м он был завербован антифашистами в одном из лагерей и после недолгого обучения заброшен сюда. В нашем лагере были люди, знавшие его еще как фанатичного вожака молодежной гитлеровской организации в Штеттине. Здесь же он разыгрывал из себя яростного антифашиста и преданного помощника Советов. Опасный человек!

Особенную активность эти двое проявляли, когда прибывали новые заключенные. Антифашисты внимательно их разглядывали. Не то чтобы они по лицам старались распознать военных преступников, нет, внимание их было приковано исключительно к обмундированию вновь прибывших. Они отмечали для себя тех, на ком были ценные вещи или же у кого был внушительный багаж. Кроме того, в бараках у этих агитаторов были свои информаторы, они тоже сообщали, у кого какие ценности. Ночью жертву приводили в комнату, где ее ожидали господа антифашисты. Они обзывали новичка эсесовцем, партийным чинушей, лагерным охранником, убийцей русских или кем-то в этом роде. В своих мнимых преступлениях этому несчастному лучше было признаться сразу, потому что иначе ему угрожали, а иногда даже избивали. Затем внезапно эти двое превращались в "добреньких немцев" и обещали ничего не предавать огласке, если... если только угодивший в их руки отдаст свою одежду, сапоги или иные ценные вещи. Разумеется, все эти обвинения были взяты с потолка, но каждый знал, что любой исходящий от Антифа донос чреват серьезными последствиями. Поэтому такие сделки протекали безо всяких проблем. Вещи оседали у офицера лагерного штаба, который их продавал, а члены Антифа получали свою долю.

После окончания войны в наш лагерь прибыло особенно много заключенных в штатском, рабочей одежде или летной форме. А значит, этим хищникам достался неплохой улов! Однажды у одного вновь прибывшего помощника BBC агитаторы заметили замечательный теплый свитер, и ночью этого шестнадцатилетнего парнишку быстренько доставили к ним в комнату. Примерно через три часа я проснулся оттого, что кто-то тщетно пытался открыть двери барака, и, одновременно с этим, я все время слышал стоны. Вместе с еще несколькими товарищами мы рванулись к дверям. На пороге лежал тот самый парень из BBC. Он был так сильно избит, что мог лишь ползти. Вместо свитера на нем теперь был весь

замызганный, штопаный-перештопаный ватник. Мы позаботились о пострадавшем, а на следующий день написали заявление.

Все было предельно ясно: в силу юного возраста новичка грабители не могли приписать ему ни нацистского прошлого, ни каких-либо иных злодеяний. Стало быть, они издевались над ним до тех пор, пока он мог отбиваться, а затем просто сняли с него свитер. Так мы и написали в заявлении. Хотя по опыту знали, что это пустая затея. Я же так разозлился, что решил предпринять что-нибудь самостоятельно. Днем, увидев в столовой Вальтера, который нес полный котелок своего жирного спецпитания, я остановил его и потребовал объяснения. С присущей ему наглостью он на меня рявкнул. Сказал, чтоб я заткнулся и дал ему пройти. Естественно, я стоял на своем. Среди примерно сотни находившихся в это время в столовой арестантов воцарилась мертвая тишина. Некоторые из них привстали со скамеек. Когда этот так называемый антифашист попробовал меня оттолкнуть, я вырвал из его рук котелок и вылил все содержимое на его русскую рубаху. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал: около двадцати человек бросились к нам и схватили Вальтера. Хотя ничего удивительного в этом не было — во всем лагере только и говорили, что о событиях минувшей ночи. Да и вообще этих "антифашистов" уже давно ненавидели. Не только из-за их идиотской пропаганды: благодаря их доносам многие попадали в карцер или даже получали дополнительные сроки. Я попытался сдержать эту обрушившуюся лавину, но тщетно. Вальтер уже лежал на полу, а нападавшие яростно его колотили. Тут неожиданно у самого входа в барак прозвучали выстрелы. Громко матерясь, к нам ворвались около пятнадцати вооруженных солдат и одного за другим вытолкали нас наружу. Прежде чем я смог собраться с мыслями, Вальтер уже указал на меня как на зачинщика, и, избивая, меня отволокли в карцер. Лишь позднее я узнал, что еще в самом начале разборки два немецких "товарища" помчались к охране, требуя помочь этому "невинному" антифашисту. Это было обычным делом!

В полной луж яме, служившей карцером, я просидел шестнадцать дней! В первую же ночь меня недолго допрашивал офицер госбезопасности, бывший непосредственным начальником Антифа. Спустя два дня допросы продолжились. Мне велели во всем признаться, сказали, что оставят сидеть в этой яме, пока я не дам показания или не сдохну. Обвинительный список был очень длинным. Я знал, что оправдываться бесполезно, потому что руководство заодно с теми

немцами. Через две недели меня неожиданно отвели в баню, где разрешили помыться, побриться и одели во все новое. Из барака принесли все мои вещи. К чему бы это? Я уже начал было волноваться, что они со мной собираются сделать, но затем немного успокоился: если они готовятся меня расстрелять, то вряд ли вспомнили бы о моем скарбе и потратились на новые вещи. И точно! На стареньком газике меня отвезли на ближайший полевой аэродром, а оттуда в машине с каким-то офицером — прямиком в Москву.

В первую же ночь по прибытии меня долго вели по ужасно длинным коридорам. Коридоры становились все шире, и я совершенно остолбенел, когда меня, наконец, ввели в огромный кабинет некоего генерала, где находилось еще несколько высокопоставленных офицеров. Ко мне обратились по-английски, поскольку для них я был английским шпионом Джоном Диксоном. Моя попытка объяснить, что все это нелепица, ни к чему не привела, и скоро я очутился в камере. Разумеется, если верить тому, что было написано в моем личном деле, — а дело это офицер латвийского КГБ состряпал при активной помощи моих горячо любимых друзей-антифашистов и передал моему сопровождающему в качестве прощального мне подарка, — так вот, если всему этому верить, то я был важной птицей. Историю про английского шпиона, скорее всего, выдумал Вальтер, так как мы с ним неоднократно заходили в театр ближайшего латвийского города Резекне, чтобы одолжить костюмы для нашего лагерного театра. С латышами я говорил не только по-немецки, но и по-английски.

И хотя затем мне удалось кое-что объяснить, но от "шпиона" и вымышленного английского имени в документах я так никогда и не избавился. Впрочем, в моем деле было предостаточно и других очерняющих меня фактов. Например, там говорилось о моем коварном нападении на идеологически устойчивых немцев, которые, сплотившись, борются против фашизма. Из этого дела следовало, что я собирался их оклеветать, да и вообще, что я самая настоящая змея, пригретая на материнской груди советской власти. На протяжении многих месяцев я будто бы подстрекал всех фашистов, реваншистов и реакционеров лагеря к бунту. Причем вовсе не для того, чтобы оспорить право антифашистов на честно заработанную ими миску супа. Нет, моей целью были восстание и массовый побег! Будучи английским шпионом, я даже в латвийском театре пытался наладить связь с латвийскими партизанами. Короче говоря, меня уже давно следовало расстрелять! Так что совершенно закономерно, что, в соответствии с планом, я попал-таки на Лубянку. Или нет?!

На первых порах мне было ничего не известно об этих советско-немецких фантазиях. Лишь спустя несколько месяцев, причем с большим трудом, мне удалось кое-что выведать у следователя. Тактика советского правосудия заключалась в том, чтобы во время допроса заключенный не знал сути обвинений и, отвечая на вопросы, сам обо всем рассказал. О своих "преступлениях" я смог получить представление только из вопросов следователя. Но когда по прошествии четырех месяцев допросов мы чего-то достигли, произошло нечто небывалое. Мой свободно говоривший по-немецки следователь капитан Грешный, вероятно, потерял всякое желание соответствовать своей фамилии. Хотя он уже довольно долго с бычьим упрямством задавал свои вопросы, а затем царапающим пером протоколировал ответы, вдруг, оказавшись неглупым человеком, прекратил эту тупую игру.

Как бы то ни было, демонстративно отложив в сторону перо, он предложил мне папиросу "Казбек" и закурил сам. "Казбек" относился к дорогим сортам русских сигарет с длинным бумажным мундштуком — мунштук предохранял от возгорания бороду, которой у меня не было. Удобно расположившись в кресле, следователь с улыбкой прямо меня спросил, как в действительности произошло мое столкновение с немецкими антифашистами. Разумеется, я с такой же откровенностью все и выложил. Грешный слушал очень внимательно, периодически задавал мне вопросы и делал карандашом пометки. Когда я закончил свой рассказ, он без всяких комментариев отпустил меня в камеру. Назавтра Грешный вызвал меня только во второй половине дня. На его столе лежал новый протокол, составленный по моим показаниям. После уточнения некоторых деталей протокол был зачитан вслух и подписан. Все вымыслы — возможно вопреки чьим-то планам — положили под сукно, и подробно записали мой правдивый рассказ. Под конец мы снова закурили "Казбек", Грешный дал мне понять, что какое-то время я не понадоблюсь, но наверняка мы еще встретимся.

За несколько дней до 1 Мая он снова появился и бодро сообщил, дескать, теперь совершенно ясно, что все мои показания лживы, и я заслуживаю только одного — расстрела. Опешив, я, вероятно, так на него посмотрел, что Грешный внезапно расхохотался, встал из-за стола, подошел ко мне и, похлопав по плечу, сказал:

— Все это чушь! И спасибо тебе за правду!

Выяснилось, что замешанный в моем деле офицер лишен звания и наказан, а оба предателя Антифа будут отбывать срок в лагере особого назначения. Я прокручивал в голове

всю эту историю во время прогулки, поскольку, по словам моего следователя, другие сотрудники министерства тоже хотели бы со мной "побеседовать". Но разговор с ними может состояться только после майских праздников, а пока мне надо набираться сил. Безусловно, я собирался последовать его совету, хотя речь могла идти всего лишь о таких вот обязательных, плановых прогулках. И все же настроение у меня было неважным. Ведь, раскрыв аферу в моем бывшем лагере, я скомпрометировал советскую власть. Может, эти "сотрудники" еще до разговора со мной знали, что приговор будет обвинительным? И все же я считал, что должен добиться правды!

Впрочем, не всегда прогулки по тюремной крыше бывали такими приятными, как сегодня. Зимой конвоир несколько дней подряд заходил за мной в семь утра, через полминуты после побудки, и приходилось из тепла бежать на крышу, на ледяной воздух, чтобы там, в пурге, при свете прожектора, как заведенному, наматывать круги! Не умывшись, не позавтракав! Что ж удивительного, что, когда этот же конвоир явился на четвертое утро, я закричал: "Не надо!". Он хлопнул дверью, и я уже было решил, что меня оставили в покое. Как бы не так! Около десяти утра дверь открылась:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Передо мной — тюремный главврач, майор, женщина лет тридцати пяти. Несмотря на белый халат поверх формы и короткие сапоги, очень женственная и ухоженная. Стандартный вопрос:

— Как дела?

И стандартный ответ:

— Ничего!

Она окинула меня взглядом.

— Снимите, пожалуйста, рубашку.

Как и положено, она меня слушала, а я должен был то дышать, то не дышать, то кашлять. И только когда она уже собралась уходить, я понял подлинную причину ее визита:

— Значит так, у вас нет никаких оснований избегать ежедневных прогулок. Вы здоровы, и свежий воздух вам так же необходим, как и питание! Ясно?

Мне оставалось только пробурчать "ясно" ей вслед. Я был крайне озадачен этой трогательной заботой и саботировать прогулки больше не отваживался.

К чести того конвоира надо сказать, что он больше никогда не выводил меня так рано. Хотя вообще-то и охранники постоянно менялись. В данный момент один из них подал мне знак,

чтобы я заканчивал прогулку. Я еще раз глубоко вдохнул, бросил последний взгляд на освещенное солнцем небо и быстро отправился в камеру. Первое время на Лубянке, вернувшись в камеру, я ощущал глухое одиночество. Небывалые меры предосторожности в этой тюрьме вызывали у меня лишь улыбку, но грубое обхождение охранников и вышестоящих лиц на первых порах меня довольно сильно бесило. Думаю, что ни в одной другой стране мира надзирателей тюрем и штрафных лагерей так не настраивали против заключенных, как это делали в этой так называемой стране рабочих и крестьян. Хотя, может, я не прав? Я ведь ни разу не попадал в тюрьму в нацистской Германии. Но однажды, сам того не желая, я все же столкнулся с гестапо. Это было после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Из-за того, что наш командир, инспектор ночной авиации генерал Каммхубер, был обвинен в причастности к заговору, у нас на авиабазе проводились допросы и обыски. У меня была возможность близко наблюдать сотрудников гестапо. Есть какое-то поразительное сходство между их поведением и тем, как вели себя надзиратели на Лубянке. Вероятно, дело было в особой методике или, согласно советской терминологии, в особом режиме содержания арестантов. За заключенными не только постоянно следили — их презирали, морально уничтожали. На Лубянке эта система была продумана с необычайной тщательностью.

В Лубянскую тюрьму, расположенную позади здания КГБ на площади Дзержинского, как и всех заключенных, меня доставили в тюремной машине, в пресловутом “черном воронке”. Въехав в огромные ворота на заднем дворе, машина остановилась так близко к входу, что само здание было разглядеть невозможно. Надзиратель в синей спецовке поверх военной формы провел меня внутрь. Когда мы подходили к двери или к ограждающей коридор решетке, раздавалась команда: “Лицом к стене!”. Это означало, что нужно плотно прижаться лицом к стене и не поворачиваться ни при каких обстоятельствах. Надзиратель нажимал на кнопку, после чего красная лампочка на стене гасла и загоралась зеленая, остальные лампочки на этаже по-прежнему были красными. Заключенным в этой тюрьме строго-настрого запрещалось видеть друг друга, поэтому, когда мы шли, все двери камер запирались, а остальные охранники куда-то исчезали. Сопровождающий тихо говорил мне: “Давай!”, и мы шли дальше. В итоге мы оказались перед десятком расположенных одна за другой дверей, одну из которых уже открыл стоящий перед ней надзиратель. Так я попал в крошечную камеру без окна, с вмонтированной в пол скамейкой. Дверь тут же закрылась.

Благодаря яркому свету лампочки на высоком потолке я увидел, что внутри очень чисто, стены свежевыкрашены, и нет никакого намека на страдания сидевших здесь до меня заключенных. Тогда я еще не знал, что, как только на стене обнаруживают какие-либо каракули, их тут же замазывают. Через несколько минут дверь снова открылась. Передо мной стояла врач. "Есть жалобы, инфекционные болезни?" Она так поспешно задавала вопросы, что я едва успевал отвечать "нет". Затем испытующе посмотрела на меня и быстро ушла, а ее место заняли два коренастых солдата в синих спецовках. Первый остался стоять у двери. Он не сводил с меня глаз, в то время как второй подошел ко мне и тихо, но твердо произнес:

— Обыск. Раздевайтесь!

Вся процедура проводилась обстоятельно, но быстро, в результате чего я лишился двух металлических пуговиц. Потом меня повели в баню, которую так ждешь после дороги. Я помылся в выложенной белым кафелем ванной комнате. При этом за мной неустанно следили. Потом за дело взялся парикмахер, он только меня побрил, а стричь не стал. Затем мне выдали тюремное белье. Пока я одевался, меня уже поджидал надзиратель, чтобы вести обратно в камеру. Снова мы останавливались у каждой двери, снова слышалась команда: "Лицом к стене, пожалуйста!", и я отворачивался. Несмотря на это вежливое "пожалуйста", я испытывал унижение. И это тоже было неотъемлемой частью режима Лубянки.

Первое впечатление от этажа, на который мы поднялись, было отталкивающим: длинный, темный коридор с дверями камер по обе стороны, спертый воздух, все какое-то изношенное и нечистое, как и та маленькая камера, в которую меня ввели. Поскольку после долгого дня я очень устал, то сразу же лег. Но не успел я уснуть, как внезапно вошел надзиратель. Я приподнялся.

— Когда в камеру входят, положено встать! — проинструктировал он меня.

Волей-неволей я поднялся и нагло спросил, не следует ли мне также выкрикнуть приветствие. Он сурово посмотрел на меня и сказал:

— До девяти вечера — не ложиться! Соберите кровать!

Теперь я, раздосадованный, со злостью смотрел на надзирателя, но его это нисколько не смутило, и он ушел. Мне пришлось повиноваться, ведь я был совершенно бесправен.

Но и этим дело не кончилось. В последующие часы и дни в камеру еще много раз заходили, чтобы дать мне всевозможные инструкции: "Не кладите голову на стол. Ваше лицо

должно быть всегда видно!", "Не приближайтесь к двери ближе, чем на метр!", "Отойдите от окна!" и так далее. Меня даже безжалостно будили среди ночи. Спать положено было только на спине, чтобы было видно лицо. Руки тоже должны были быть на виду, их следовало держать поверх одеяла. Скрепя сердце, я постепенно привыкал ко всем этим правилам. Пребывание в этой части тюрьмы лишь подготавливало к основному заключению. Арестанты здесь должны были привыкнуть к режиму советских тюрем, так сказать "окультуриться"! Такая подготовка могла растянуться на долгие недели, потому что заключенные за это время должны были пройти основательное медицинское обследование, дождаться дактилоскопии и встретиться со следователем. Последнее было самым важным, так как именно следователь определял, на каком этаже будет содержаться заключенный и какая у него будет пайка — эти две вещи были решающими. Разные этажи на Лубянке отличались величиной камер, их обустройством и даже тем, как обращались с заключенными. В соответствии с некими критериями, которые держались в тайне, каждый заключенный попадал на "свой" этаж. Значение имели тяжесть преступлений, в которых он обвинялся, иногда национальность, личные качества или что-то еще.

Так же дело обстояло и с питанием: одних заключенных кормили простой лагерной кашей, в то время как другие питались значительно лучше. Тот, кому удалось подняться выше по лагерной лестнице, кто, следуя предписаниям режима, не слишком сильно выделялся, попадал на определенный этаж и пользовался соответствующими привилегиями. Я прождал шесть дней, пока решалось, где меня будут содержать, и за это время мне пришлось дважды побывать у следователя. Мне повезло, а может, помогли некие обстоятельства, о которых я не знал: меня, простого парня, разместили в аристократической части четвертого этажа, которая на тюремном жаргоне называлась "галереей дипломатов". Соответственно и камера у меня была просторной и чистой. Кормили меня обильно и добротной едой — никакого сравнения с отвратительной лагерной пищей. Но вскоре я узнал, что следователь вправе менять условия содержания, используя их как средство нажима на заключенных.

Сегодня, 1 мая 1946 года, я думаю обо всем этом особенно много, поскольку мои документы переданы в другой отдел. Смогу ли я и впредь пользоваться привилегиями? Поменяться что-то может лишь в худшую сторону, и остается только желать, чтобы этого не случилось. Ясно одно — в Советском Союзе ничего не происходит случайно, значит, и в моей судь-

бе — никаких случайностей. И все-таки я надеюсь, что все кончится благополучно. Хотя и понимаю: до условий жизни заключенных советским властям дела нет.

2. "*Культурно!*"

Февраль 1947 года. Москва в снегу. Доводилось ли вам видеть заснеженную Москву? Мне тоже не доводилось! И все-таки сегодня хоть краешком глаза я ее увижу. Вот уже десять минут вместе с другими заключенными я сижу в камере сборного пункта на первом этаже Лубянки и жду отправки. Всего нас девятнадцать человек. У каждого — небольшая связка вещей, помимо этого груза каждый из нас везет с собой груз лагерных лет, который взвалили на нас вместе с приговором. Рекордсмен по этой части — двадцативосьмилетний, здоровый как бык, русский парень Саша, типичный матрос, весь в татуировках. Его приговор — три раза по 25 лет. Но Саша этим ничуть не удручен. Ехидно ухмыляясь, он бодро говорит, что по милости советской власти ему придется прожить, по меньшей мере, до ста трех лет. С ним вместе смеется австриец Эгон Реслер, чей приговор — 25 лет. Такой же срок и у сидящего рядом со мной очень молчаливого, грустного ленинградского инженера Муратова. Об остальных я еще ничего не знаю и пока не пытаюсь узнать, так как мысленно все время возвращаюсь ко второй половине моего пребывания на Лубянке.

После перерыва, в мае 1946 года, у меня появился новый следователь — капитан Федоров. Он был существенно моложе Грешного, с густыми светлыми волосами и открытым, приветливым лицом. Федоров отличался тем, что помимо основного вопроса задавал еще с десяток дополнительных. Скоро стало ясно, что при нем на другой этаж меня не переведут, и питание не ухудшится. В последние три месяца меня кормили даже лучше прежнего. Произошло это, очевидно, потому, что я снабдил Федорова важным для него материалом. Поначалу мне было совершенно непонятно, какова цель этих новых допросов. Прежде всего следователь выяснил все, что касалось моего происхождения. Для советских властей существовали только два типа людей: эксплуататоры и эксплуатируемые. У меня с этим была некоторая путаница: мой отец служил инженером и чиновником, а вот большинство других родственников были фабрикантами и землевладельцами, то есть "эксплуататорами". В конце концов речь зашла и о моей маме, до замужества — простой служащей. А так

как сам я не успел доучиться, то меня, так и быть, записали "выходцем из семьи служащих". Правда, как мне объяснили, это все-таки не то же самое, что "эксплуатируемый". Но, конечно, лучше, чем "эксплуататор".

Затем разговор на допросах зашел о гитлерюгенде. Я так до конца и не понял, какое отношение это имело к моему делу, возможно, белокурому Федорову просто хотелось об этом поговорить. Он с жадностью хватался за любую подробность и не успокаивался до тех пор, пока не удовлетворял свой интерес. Как он сам любил выражаться, эти сведения требовались ему для какого-то "рационализаторского мероприятия". Свои вопросы он задавал в письменном виде, и я тоже должен был отвечать на них письменно. Ему приходилось долго ждать, потому что я, с моим простреленным в день ареста локтем правой руки, писал медленно и только печатными буквами. Но Федоров не сдавался — как-то раз спросил, владею ли я пишущей машинкой. Я ответил утвердительно, и через два дня, улыбаясь, он указал мне на стоящую на письменном столе машинку марки "Ундервуд", сделанную в Австралии. Машинка была старая, но совершенно исправная. Федоров переправил ее в тюрьму, и отныне по утрам, взамен долгой дороги на допрос в министерство, я просто спускался на лифте на административный этаж, где в специальной маленькой камере со скамейкой и складным столом меня ждала моя новая знакомая. Нас с ней запирали, и я мог спокойно работать. Затем, как это бывало при обычных допросах, в полдень меня приводили обратно в камеру, а позже снова возвращали. Таков был порядок.

Вопросы Федорова касались организации, внутреннего распорядка, обучения и знаков различия в юнгфольке и гитлерюгенде. И все же наша с ним работа продвигалась довольно медленно, еще и потому, что я умел печатать только двумя пальцами. Но главная причина была в том, что на Лубянке мне жилось относительно неплохо. Я не имел ни малейшего понятия, что советские власти со мной сделают в будущем, но понимал, что лучше, чем здесь, мне точно не будет. Стало быть, никакой спешки!

Федоров же был всем доволен и ничего не замечал. Время от времени он по-прежнему вызывал меня к себе. Причем, если разговор не записывался, он нередко переходил к темам, которые казались мне совершенно посторонними. Так, например, его интересовало, как немецкая молодежь размещалась на ночной сон в летних лагерях. Я должен был рассказывать о спортивных играх, о том, как у нас дерутся, и все в этом же духе. Когда мы говорили о форме, его особенно за-

интересовала длина наших коротких штанов у мужчин. А после его вопроса, принято ли у нас купаться голыми, меня осенило: да этот белокурый парень — гомосексуал. Теперь мне вспомнились и другие мелочи, которые это подтверждали. Ну, что тут скажешь? По меньшей мере, я радовался тому, что мне он никаких предложений не делал, и несколько месяцев я был занят одной писаниной да разговорами.

Дальше дело приняло серьезный оборот, потому что он опять начал меня допрашивать. Мы заговорили о моей работе в качестве практиканта на радио. В ход снова пошла пишущая машинка, так как я должен был все описать очень подробно. Мне подумалось, что по некоторым вопросам было бы лучше вообще не давать показаний. Ведь я знал, что любая, даже самая ничтожная, информация может стать поводом для новых арестов. К тому же я ясно сознавал, на что способна советская власть. С ужесточением условий моего содержания на Лубянке еще можно было смириться; намного хуже, если бы против меня возбудили новое дело или отправили в лагерь. Еще в латвийском лагере я слышал о допросах, которые при свете прожектора велись целые дни напролет, и о камерах пыток в подвале Лубянки, и о других ужасных вещах. Правда, сам я за эти месяцы ничего такого не заметил. Но откуда мне было знать, что в действительности происходит на Лубянке и как себя вести?!

После того как страшная драма под названием "Третий рейх" подошла к концу, все, что касалось гитлерюгенда, вышло на поверхность. Никаких секретов не осталось. Мою работу на радио нельзя было скрыть, так как многие в лагере меня знали. Кто лично, а кто — по передачам для молодежи. И уж наверняка Антифа собрала обо мне сведения. На допросах меня спрашивали и о захваченной русскими стратегически важной радиостанции в Кёнигсберге. И хотя радиоцентр был разбит, очень может быть, что его документы теперь находились в Москве. Прежде всего я решил не называть никаких имен. В ноябре 1945 года я разговаривал с одним арестованным солдатом из восточной зоны, он рассказал, как советские следователи в каждом немецком дворнике видели маленького Гитлера или Гиммлера и выбивали признания. Со временем я разработал собственную тактику поведения. По Федорову было сразу заметно, когда он задает особенно важные вопросы. Отвечая на них, я был очень краток. И если в ходе допроса возникала опасность, что придется назвать какое-то имя, я как бы неожиданно вспоминал некие подробности и возвращался к ранее затронутым важным темам. Федоров с его любовью к деталям старательно заносил мои но-

вые показания в протокол и в большинстве случаев уже забывал об интересующем его имени. Ну а если меня припирали к стенке... на этот случай существовало достаточно немецких имен — я ведь мог и ошибиться...

О своей дальнейшей судьбе я никаких иллюзий не строил. Ясно было, что советская власть не отправит меня ни в мой прежний, ни в любой другой лагерь для военнопленных. По меньшей мере — в исправительно-трудовой. Возможно, меня ждет многолетнее заключение в каком-нибудь лагере с дурной славой. Я уже знал, что в тюрьме меня вряд ли оставят, поскольку советскому плановому хозяйству была необходима дешевая рабочая сила. Перспектива оказаться в трудовом или исправительном лагере меня не привлекала настолько, чтобы променять на них Лубянку. Да, режим здесь был строгим, но на моем этаже у этой строгости были пределы, которые никогда не переступались. А пока я отвечал на вопросы следователя или печатал на машинке, меня это и вовсе не касалось. Но всякий раз, когда я проходил через длинный коридор или поднимался по широким лестницам, меня охватывало чувство, которому сложно подобрать название. Было что-то зловещее в том, что не менее ста человек, которые отбывали наказание на моем этаже, не издавали ни единого звука — на Лубянке царила почти мертвая тишина!

Дежурные надзиратели выглядели угрожающе. Словно хищные звери, они с каменными лицами беззвучно переходили с места на место, тихо ступая по толстым половикам. Каждый следил в среднем за четырьмя камерами и постоянно курсировал между ними, то и дело приподнимая заслонки дверных глазков, чтобы подсматривать за арестантами. Все делалось как можно тише, дабы застать сидящего в камере врасплох. Но поскольку в коридоре стояла совершенная тишина, этот звук все-таки был слышен. И со временем и он начинал действовать на нервы. Случалось, что заключенные теряли над собой контроль и начинали кричать. Как правило, это заканчивалось изолятором.

Конвоиры тоже раздражали. Они, как роботы, то выводили меня из камеры, то заводили обратно. Мне казалось, что я постоянно ощущаю на спине, на каждом сантиметре своей кожи, их пронзительные, безжалостные, проникающие сквозь одежду взгляды. Порой мне хотелось закричать: “Будьте же людьми! Скажите хоть что-нибудь! Проклинайте, обзывайте меня, но только покажите, что вы люди!” Бессмысленное желание. Не только потому, что они были сильнее и остановили бы меня, не дав договорить и фразы, — бессмысленным было любое сопротивление режиму. Я очень быстро

понял, что все здесь сводилось к холодному расчету: подавить заключенного, вселить неуверенность, показать его бессилие.

Но больше всего тишина тяготила в самой камере. Поневоле приходилось искать какое-нибудь занятие, что было почти невозможно, и от этого каждый нерв был в постоянном напряжении. До чего же хотелось услышать какой-нибудь шум и определить его происхождение. Тогда удалось бы хоть на минуту отвлечься от чувства, будто ты отрезан от мира и погребен заживо. Но никаких звуков, никаких поводов отвлечься — ничего! — только непостижимая, сводящая с ума тишина. Звяканье ключей? Невозможно, ведь у каждого надзирателя только один ключ от всех камер, за которыми он следит. Разговоры? Исключено, их нет и в помине. Вряд ли эти люди разговаривают даже вне помещения. Или, по крайней мере, говорят очень тихо, так, чтоб мы их не слышали. Стук дверей? Нет, двери открывались и закрывались тоже почти что беззвучно. Тем больший испуг вызывала внезапно распахнутая дверь. Обычно это случалось, если надзиратель через глазок видел что-то, что ему не нравилось. И совсем по-другому двери, одна за другой, открывались по утрам, когда надо было идти умываться, или в течение дня, когда приносили еду. Но даже здесь советская власть сумела напакостить: никогда двери не открывались и не закрывались подряд. В нашей "галерее" камеры располагались с трех сторон. Перед каждым рядом дверей стоял охранник. Если первая дверь открывалась на одной стороне, то следующая — на какой-нибудь другой, и так далее, причем очередность постоянно менялась. А значит, ты никогда не знал, когда подойдет твоя очередь. Это тоже было частью целенаправленного подавления личности!

Со временем все же я сообразил, как можно улучшить свое положение. Большое внимание господа надзиратели уделяли выполнению основных требований: сохранять тишину, подчиняться тюремному уставу. Особую же бдительность они проявляли, когда двери камер оставались открытыми. Тот, кто сидел на Лубянке, автоматически становился опасен. Даже арестанты из "дипломатической ложи" все равно в высшей степени опасны. А уж немцы — спасибо Кремлю, — эти так вообще из одной спички могли смастерить пушку и считались сверхопасными! Человек, понимающий ход мыслей надзирателей, знал, что они спокойны лишь тогда, когда двери камер заперты на засов. Не то чтобы они придирались к заключенным — нет, это был голый страх, с которым можно было справиться, лишь сведя к минимуму любые контакты с арестанта-

ми при открытых дверях. Подтверждения этому страху мы видели каждое утро. Унитазов в камерах не было — только параша. Сразу после побудки камеры открывались уже описанным способом, который должен был сбить нас с толку. Арестанта с парашей и умывальными принадлежностями вели в расположенную на том же этаже умывальню, где его, естественно, запирали. Тот, кто в момент открытия камеры не спешил, выходил вразвалочку, сильно проигрывал в глазах надзирателей. Несмотря на то, что никто точно не знал, когда подойдет его очередь, было совсем не трудно засунуть в карман мыльницу с зубной щеткой и, повесив на шею полотенце, подтолкнуть к двери парашу. Я всегда был наготове, и благодаря этому мог подольше оставаться в умывальне. Там действительно была масса дел: освободить и вымыть парашу, привести себя в порядок и, если хватало времени, воспользоваться настоящим туалетом. Так, если строго следовать тюремным правилам, можно было получить маленькую выгоду.

А вот как, например, дело обстояло с курением. Держать в камере спички и зажигалки строго-настрого запрещалось. Трижды в день надзиратель делал обход с тлеющим фитилем. Следовало подойти к двери со своей папиросой и прикурить от этого фитиля. Как-то днем, в ожидании вечернего обхода, я оставил папиросу на столе. Вдруг особенно тихо отворилась дверь, охранник сделал мне знак горящей сигаретой, и я смог прикурить у него вне очереди. Так и повелось. Когда мне хотелось закурить, я клал папиросу на видное место, и в большинстве случаев вскорости открывалась дверь.

Случайно я узнал, что у одного заключенного по соседству со мной почти каждое утро бывают неприятности. Однажды дело дошло до скандала. Голоса охранника я не слышал, но зато до меня донеслись обрывки немецкой речи — типичный офицерский жаргон: “Невероятно... наглость... идет в разрез с Женевской конвенцией... я не потерплю... я буду жаловаться!” — и так далее. Вероятно, это был один из высокопоставленных офицеров или генералов, отбывавших здесь срок. Но однажды все это прекратилось. Позднее выяснилось, что этот немец уже был приговорен как военный преступник. Для таких несговорчивых на Лубянке существовал один испробованный способ: осужденного переводили на второй этаж в общую камеру, где сидели в основном уголовники. Они таких “вылечивали” очень быстро!

Надо признаться, что со мной тоже как-то произошел один инцидент. Правда, мне быстро удалось исправить ситуацию. Оба следователя, Грешный и Федоров, время от времени передавали мне в подарок упаковки папирос, причем

это были папиросы известных марок — "Казбек" и "Беломор". Поскольку на первых порах я не курил, то аккуратно складывал эти пачки там, где они были не видны через дверной глазок. На Лубянке в камерах периодически проводились обыски — по-видимому, боялись, что мы можем подпилить коркой хлеба оконные решетки и сбежать. Для этих целей подгоняли специальный отряд солдат в синих фартуках, которыми руководил офицер. При очередном таком обыске у меня было обнаружено около восемнадцати пачек папирос. Судя по всему, это было нечто неслыханное, потому что один из солдат тут же бросился к начальнику. Этот начальник вошел размашистым шагом, явно сознавая свою власть.

На меня он вовсе не обратил внимания и принялся орать на своих подчиненных:

— Быстро все отобрать и выбросить! Совсем распустились! Просто невероятно, что эти преступники себе позволяют!

Тогда настал мой черед:

— Одну минуточку. Эти папиросы здесь находятся с согласия следователей, от которых я их получил!

Двое солдат за спиной этого еще совсем молодого лейтенанта ухмыльнулись, а сам он окинул меня таким взглядом, как будто хотел уничтожить. Я глядел на этого высокомерного типа и думал: "Вот он, типичный чекист". Стоя перед ним и солдатами, так что папиросы были позади меня, я нагло смотрел ему в глаза. Почувствовав, что со мной не так-то просто справиться, он выдворил своих подчиненных, но им все было слышно через дверной проем, и заговорил чванливым тоном:

— Так-так, значит, вы складывали здесь папиросы, чтобы подкупить наших надзирателей, а самому сбежать. А теперь пытаетесь меня уговорить, чтоб я вам это простил?!

Браво! Вот с такими формулировочками чекисты открывали новое уголовное дело. Достаточно было того, что я якобы пытался его "уговорить". Такие вещи были в ходу. Но я стоял на своем:

— Я лишь хочу, чтобы все было по закону, больше ничего!

— Разумеется, вы хотите избежать ответственности, — сухо сказал он.

Тут мне кое-что пришло на ум, и я почти дружелюбно заметил:

— То есть вы хотите сказать, что какой-то немецкий заключенный парой папирос может подкупить солдат доблестной Красной армии и Министерства внутренних дел, отме-

ченных военными наградами или, по меньшей мере, комсомольским значком? Благодарю за информацию!

Через приоткрытую дверь я видел несколько улыбающихся лиц. Лейтенант, как видно, все же не дурак, на мгновение лишился дара речи. Он лишь снова свирепо на меня посмотрел и напоследок враждебно прошипел:

— Если я еще раз найду у вас такой склад, пеняйте на себя!

С этими словами, даже не продолжив осмотр камеры, он удалился. Несмотря на этот успех, я понял, что папиросы надо куда-то девать, и начал курить. Это было трудно, так как они были очень горькими. Но вскоре я нашел-таки выход. По утрам к чаю давали кусковой сахар. Вместо того чтобы бросить сахар в чай, я его сосал. Благодаря этому во рту образовывался защитный слой, и с его помощью я смог со временем уменьшить запас курева, которое держать было опасно.

Недели напряженной работы сменялись долгим бездельем, в эти периоды я брал в тюремной библиотеке учебники и занимался русским языком. В конце ноября 1946 года стало понятно, что больше всего Федорова интересует моя работа на радиостанции в Кёнигсберге. Похоже, вокруг меня затягивалась петля. В первые дни декабря все бумаги были составлены, оглашены и подписаны (по советским правилам, подписывали каждую страницу показаний). После чего Федоров сказал, что теперь он обязан передать мое дело в прокуратуру. Дней через восемь меня вызвали к прокурору. Кроме него в кабинете присутствовали Федоров и капитан Грешный. И еще — молодая переводчица. В здешних условиях ее одежда казалась по-настоящему элегантной. Прокурор — старший лейтенант лет сорока пяти — произвел на меня хорошее впечатление. Показался симпатичным и даже вызвал что-то вроде доверия. С явным дружелюбием он предложил мне сесть и тут же начал:

— Я изучил ваше дело и по долгу службы мне придется спросить, нет ли у вас каких-либо претензий к следствию или к содержанию протоколов?

Пока он это говорил, мне подумалось, что вообще-то неплохо здесь остаться. Все-таки зима! Но тут я вспомнил обо всем здесь пережитом и прежде всего о режиме... Что за вздор! Еще целый год? Ни за что! Переводчица как раз собиралась донести до меня смысл слов прокурора, а у меня уже вырвалось: “Нет!” Прокурор и переводчица выразили явное недоумение, а довольные Грешный и Федоров едва заметно улыбались.

— Вы что, понимаете по-русски? — недоверчиво спросил прокурор.

— Немного.

Федоров возразил:

— Он все отлично понимает и очень неплохо говорит по-русски.

Я решил, что после этой реплики можно просто улыбнуться, но прокурор продолжал допытываться, где я выучил русский.

Теперь надо было быть осторожным, ибо этим вопросом он явно хотел выведать, не изучал ли я русский еще в Германии, чтобы меня забросили куда-нибудь в Россию. Разумеется, это обвинение я мог достаточно легко опровергнуть, поскольку в Германии был летчиком, и на Восточный фронт меня откомандировали только спустя три недели после покушения на Гитлера, 20 июля 1944 года. Я также рассказал, что еще дома немного знал польский, через год в латвийском лагере начал учить русский, а здесь, на Лубянке, постоянно этим занимался по библиотечным учебникам. Прокурор по-прежнему смотрел на меня с подозрением, но тут мне на помощь пришел Грешный, подтвердивший, что поначалу с русским у меня было не очень, но потом я быстро продвинулся.

— В таком случае мы, наверное, можем продолжить по-русски? — предположил прокурор. — Так будет быстрее.

— Пожалуйста, — ответил я. — Можно попробовать.

Он спросил, действительно ли в протоколе стоит моя подпись, добровольно ли я ее поставил, все ли в протоколе правда и корректно ли проводились допросы. Я на все ответил утвердительно. Его следующий вопрос о том, как проводили допросы Грешный и Федоров, заставил меня улыбнуться. В первый момент я не знал, как ответить, но вдруг мне вспомнилось одно услышанное где-то выражение, и я выпалил:

— Культурно!

Раздался хохот. Я покосился на переводчицу:

— Почему вы все смеетесь? Я что-то не так сказал?

Но она меня успокоила:

— Наоборот, вы выразились как нельзя лучше!

Когда прокурор спросил, можно ли это слово перевести на немецкий, мы с переводчицей посоветовались и сошлись на том, что это будет “kultiviert!”. Педантичный Федоров, конечно же, сразу посчитал необходимым объяснить мне, что русский — самый богатый и выразительный язык, а потому многие слова можно перевести, только описав их значение. На что переводчица, хмыкнув, сказала:

— Товарищ капитан, это не тот случай.

На этом официальная часть закончилась, все закурили и предложили закурить мне. Поскольку атмосфера разряди-

лась, я задал единственный интересующий меня вопрос и сразу получил на него более чем исчерпывающий ответ.

Я спросил, что же теперь будет с моим делом, и мне тут же ответили, что оно теперь будет передано в суд.

— Неужели меня осудят из-за работы на радио? — неуверенно спросил я.

— Не знаю, осудят ли вас, но дело должно попасть в суд. Таков закон, — ответил прокурор.

— Но это, в конце концов, моя профессия, я этим зарабатывал деньги. Более того, это была работа по совместительству, благодаря ей я платил за учебу. Вам же это известно из моих документов! — я почти срывался на крик.

Прокурор заговорил очень спокойно:

— По правде говоря, вы ваши деньги зарабатывали в преступной организации, которая занималась пропагандой и работала на военную машину Геббельса и Гитлера.

— Тогда это была просто государственная радиостанция. Что я, молодой парень, мог с этим поделать? — сказал я, пытаясь себя спасти.

Тут подключился Грешный:

— Факт вашей деятельности в преступной организации ничем не оспорить. В противном случае любой охранник концлагеря может сказать: "Чего вы от меня хотите, я ведь только выполнял свою работу и зарабатывал деньги".

— Но все-таки между мной и лагерным охранником существует огромная разница, разве нет? — страстно защищался я.

Моя порывистость вызвала у прокурора улыбку, и он сказал:

— С одной стороны, да, потому что охранник концлагеря мог видеть свои злодеяния. Вы же о последствиях вашего труда, по всей видимости, не задумывались. С другой стороны, разница между вами не так уж велика! — теперь он заговорил совсем серьезно. — Вы должны признать, что нацистская пропаганда поощряла зверства эсэсовцев в концлагерях. А впоследствии оправдывала захватническую войну против Советского Союза и подстрекала к ней немецкий народ!

— Лично я в политических передачах никогда не участвовал! — попробовал я последний аргумент.

Но прокурор тут же возразил:

— Любой ребенок знает, что при Геббельсе все радиовещание было идеологизировано и с утра до вечера только и делало, что занималось пропагандой. Для нас каждый, кто с ним сотрудничал, причастен к военным преступлениям вашего Гитлера!

Теперь, вспомнив немецкую поговорку, вмешалась еще и переводчица:

— Вместе натворили, вместе будем отвечать.

Оставалось лишь закончить этот бессмысленный разговор. Я совершенно разочаровался в прокуроре, к которому сперва ощутил доверие. Даже Грешный и тот повел себя подло. И хотя они снова заговорили со мной приветливо назидательным тоном, их лица внушали мне теперь отвращение. Безусловно, они дали понять, что приговор мне уже практически вынесен.

Я был сильно встревожен и хотел поскорее вернуться в свою камеру. Меня беспокоило только одно: неужели советское правосудие расценивает мою работу на радио так же, как это только что мне было представлено. А может, это просто месть за то, что я разоблачил преступления штабного офицера и его единомышленников из Антифа? Но ведь с этим Вальтером из Штеттина я сцепился вовсе не потому, что он был "антифашистом". Все дело в том, что вместе со своим дружком он руководил всеми этими фарцовщиками и осведомителями, злоупотребляя завоеванным у русских доверием, он самым отвратительным образом шантажировал своих же соотечественников.

Советской власти следовало признать, что с такими пропагандистами она ни одного немца не сможет наставить на путь истины. И что виноваты в этом сами офицеры. Наш, например, без конца твердил о высокой морали, о советских идеалах и об освободительной миссии Красной армии, а на деле оказался обычным бандитом. И мы знали, что лагерное руководство тоже получало прибыль от бойкой торговли добытыми шантажом ценностями и одеждой. Это были неоспоримые факты, которые я мог бы отстаивать в суде. И тогда им было бы не так легко со мной справиться. А что касалось работы на радио, то я эти обвинения считал полным бредом. Когда Гитлер пришел к власти, я был десятилетним ребенком. А потом? Кто бы посмел пойти против государства? При нацистах любой протест был равносилен самоубийству, как, впрочем, до сих пор остается при Советах. Но об этом в суде, конечно, лучше не говорить.

Все эти мысли мне не давали покоя всю ночь, заснул я только под утро. Заметив за завтраком, что меня явно опустили на ступеньку ниже, потому что стали хуже кормить, я готов был рассмеяться: все, что хотели, от меня уже получили, и я больше не нужен. В последующие дни я отложил занятия русским и стал готовиться к защите в суде. Когда начнется суд, я не знал, но хотел быть во всеоружии. Однако ничего не происходило. Заканчивался декабрь, который с приходом Деда Мороза принес только некоторое улучшение в питании да бередящие душу воспоминания о былых праздниках. К Новому году тради-

ционно устраивался большой салют. Даже я краешком глаза его увидел — поздним вечером меня вывели на прогулку.

Когда утром 12 января внезапно открылась дверь моей камеры, я быстро собрал все свои записи для защиты и последовал за надзирателем, который по дороге к лифту передал меня другому охраннику. Итак, приближалось решение моего дела. "И не надейтесь, что я так легко сдамся", — думал я про себя. Только куда же ведет меня этот человек? Мы остановились на втором административном этаже. Разве это дорога в министерство? Или здесь есть залы судебных заседаний? Солдат запер меня в одной из тех маленьких камер, где я уже бывал раньше. Может, мне тут надо только подождать? Проходили минуты, которые мне показались часами. Наконец, дверь открылась, но меня никуда не повели — в камеру вошли майор и старший лейтенант. Сначала обычная процедура: называю свое имя, фамилию, отчество, дату рождения. Майор просмотрел свои бумаги и вытащил один из листов. Ага, сейчас он мне сообщит дату судебного заседания. Майор начал зачитывать:

— Объявление приговора!

Что? То ли я сошел с ума, то ли они. Бред какой-то! Это ошибка! Словно через какую-то завесу до меня стали долетать слова:

— Военный трибунал... под председательством полковника юстиции Владимира... член суда такой-то... 11 января 1947 года дело военнопленного... (действительно мое имя!) ...оба его преступления подпадают под статью 58...

Далее следовало еще несколько напыщенных фраз. Ну же, думал я, заканчивай уже эту комедию! Наконец-то!

— ...приговаривается к двенадцати годам трудовых лагерей.

Почему не к двадцати, тридцати или пятидесяти? Сплошное безумие!

— Пожалуйста, подпишитесь вот здесь! — уже во второй раз произнес майор.

Это вернуло меня к реальности. Но я не взял предложенную мне ручку и спросил:

— Как такое может быть? Не было же никакого судебного разбирательства!

— В вашем случае это и не нужно. Вас приговорило ОСО[1]. Это особое совещание, и в наиболее понятных случаях приговор выносят высококвалифицированные юристы. Знаете,

1. ОСО — особое совещание при Министерстве государственной безопасности СССР, имевшее право рассматривать уголовные дела по обвинениям в общественно опасных преступлениях и выносить приговоры без суда.

у нас после войны полно дел, а с ОСО все значительно быстрее!

Надо же, как все просто! Что мне оставалось, как не подписать? Я не стал шуметь, не пытался сбежать и не помышлял о самоубийстве. А позднее тоскливо смотрел вслед своим сделанным для суда записям, которые кинул в парашу уже у себя в камере. И подумал: "Это и есть то самое 'культурно'?" И мне вспомнился голос моего "душевного" прокурора.

И вот теперь я сижу на скамье, которая должна стать для меня последней на Лубянке, где я пробыл почти пятнадцать месяцев. Прямо на меня смотрит матрос Саша, получивший три раза по двадцать пять.

— Эй, ты чего такой мрачный? Сколько же тебе влепило наше добренькое государство?

— Двенадцать!

— Что, всего двенадцать? Ну, старик, ты легко отделался. Ты, ясное дело, иностранец? Немец? Фриц?

Фрицами тут называют всех немцев. Поэтому я ответил: "Да, Фриц".

Тут же последовал обычный в таких случаях вопрос:

— Фашист?

— Если верить приговору, то да, — осторожно ответил я.

Саша засмеялся:

— Я никогда не верю приговорам, потому что слишком хорошо знаю свой собственный. А за что они тебя? Русского убил? Был эсэсовцем, охранником концлагеря?

Подобные вопросы я тоже частенько слышал, когда знакомился с русскими.

— Не, брат, но ты почти догадался. В лагере я чуть не прикончил одного своего землячка.

Я пытался подражать Саше, его развязной манере говорить.

— А за что? Он что-то стырил?

Складывалось впечатление, что этот парень действительно проявляет ко мне интерес. Он показался мне достаточно толковым, и я объяснил ему, для чего в лагере для военнопленных держали так называемых антифашистов и чем они занимались на самом деле.

— И что, ты этого сукина сына не мог замочить?

— Я ж тебе сказал, что вмешались солдаты.

Он с насмешкой посмотрел на меня:

— Ну, подожди! Как только я стану прокурором, ты от меня схлопочешь еще десятку за то, что не прибил этого гада!

Мы рассмеялись, а с нами и австриец Реслер — он получил свои двадцать пять за "шпионаж". Но Реслер и вправду казал-

ся пройдохой. Саша встал и начал ходить по камере. Когда он проходил мимо нас, австриец попробовал его поддеть:

— Ну, в этой жизни прокурор из тебя уже не получится, или ты думаешь иначе?

Остановившись перед ним, Саша неожиданно заорал:

— Но только потому, что ваши Черчилли и Эйзенхауэры такие придурки, что не могут вытащить нас отсюда!

Сидевший напротив ленинградский инженер Муратов, показав на дверь, приложил ко рту палец:

— Тссс, не так громко!

Недовольно скривившись, Саша буркнул в ответ:

— Ой, ты бы заткнулся, чертов интеллигент. Говорю, как хочу! Я — Александр Иваныч, а не буржуй вроде тебя! Что эти чертовы чекисты могут мне еще сделать? Больше они мне дать не могут, и так уже выше крыши. К тому же я хорошо известный "контрик"!

С этими словами он снова начал расхаживать по камере. Слышно было, как на дверном глазке опустилась задвижка. Охранники нас не только видели, но, пожалуй, и слышали. Наверняка они радовались, что сейчас избавятся от Саши!

Я не знал, что значит "контрик", и Эгон Реслер объяснил, что корень у слова латинский и что это сокращенная форма от "контрреволюционер", то есть враг Советского Союза. Именно так называл себя родившийся и выросший в этой стране двадцативосьмилетний Саша. Ничего себе! Внезапно, словно почувствовав, что я о нем думаю, Саша сел рядом.

— Ну, давай, рассказывай дальше. Значит, этот подлец впаял тебе двенадцать лет? И это все?

Чтобы как-то убить время, я рассказал ему об официальном обвинении в связи с моей работой на радио. Об этом Саша захотел узнать подробнее — оказалось, что он всегда интересовался радио. Так, за разговором, мы коротали время.

Вдруг отворилась дверь, и раздался приказ охранника:

— Десять человек с вещами на выход!

Я хотел выйти, но меня остановил Муратов:

— Не спеши, у нас есть еще время, — прошептал он.

Саша и Эгон Реслер уже были на выходе. Когда дверь закрылась, Муратов отвел меня в сторону.

— Молодой человек, то, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами! — начал он тихим, заговорщицким голосом. — Остерегайтесь таких, как Саша! Это опасные бандиты, которые заводят с вами знакомство только для того, чтобы выяснить, есть ли у вас ценные вещи. При первой возможности они вас ограбят.

Я рассмеялся:

— Ценные вещи? У меня? Чушь какая-то!

Разумеется, я больше не носил то, что осталось от моей летной формы. Друзья по латвийскому лагерю перед моим отъездом снабдили меня гражданской одеждой. С тех пор поверх спортивной майки и свитера с горлом я надевал еще латвийскую куртку. Мои черные брюки, вероятно, ранее принадлежали какому-нибудь бравому танкисту. На теле я, конечно, носил оставшееся от моей летной одежды теплое нижнее белье из ангорской шерсти. На ногах у меня были латвийские шерстяные носки и настоящие немецкие армейские ботинки.

В России мое имущество пополнилось еще и пальто на подкладке и знаменитой русской меховой шапкой-ушанкой. В моем вещевом мешке, сшитом из немецкой плащ-палатки, помимо двух запасных комплектов белья лежали еще две пары шерстяных носков, брюки, обычный свитер, рубашка, перекрашенная офицерская куртка, шерстяной шарф и даже спортивные брюки. Еще там были одеяло, три полотенца и носовой платок. Кто знает, быть может, муратовское предостережение не напрасно. Есть здесь, правда, двое-трое приличных заключенных из русских, которые, как и Муратов, одеты получше, но на остальных — одни лохмотья. Поскольку я все же посмотрел на Муратова с некоторым недоверием, он снова начал меня убеждать:

— Даже то, что на вас сейчас, — очень ценно! Вам надо попытаться как можно скорее выгодно это продать и переодеться в неприметную лагерную одежду. Иначе бандиты все у вас отнимут, и вы останетесь ни с чем.

На мой вопрос, где это можно проделать, он многозначительно ответил, что существует немало возможностей и что об этом он мне еще сообщит. Поскольку сам он был одет очень неплохо — на нем были темный костюм, приличная рубашка, почти новые ботинки, кожаное пальто и даже шляпа, — я спросил, собирается ли он все это тоже продать.

— Непременно продам, но позже. Не во время транспортировки, когда тебя обязательно облапошат.

— А вы не боитесь, что бандиты обчистят вас раньше? — спросил я.

— Не очень. В конце концов, я русский. И если будет нужно, я с этими парнями сумею поговорить, — Муратов свирепо засмеялся и сжал в кулак правую руку.

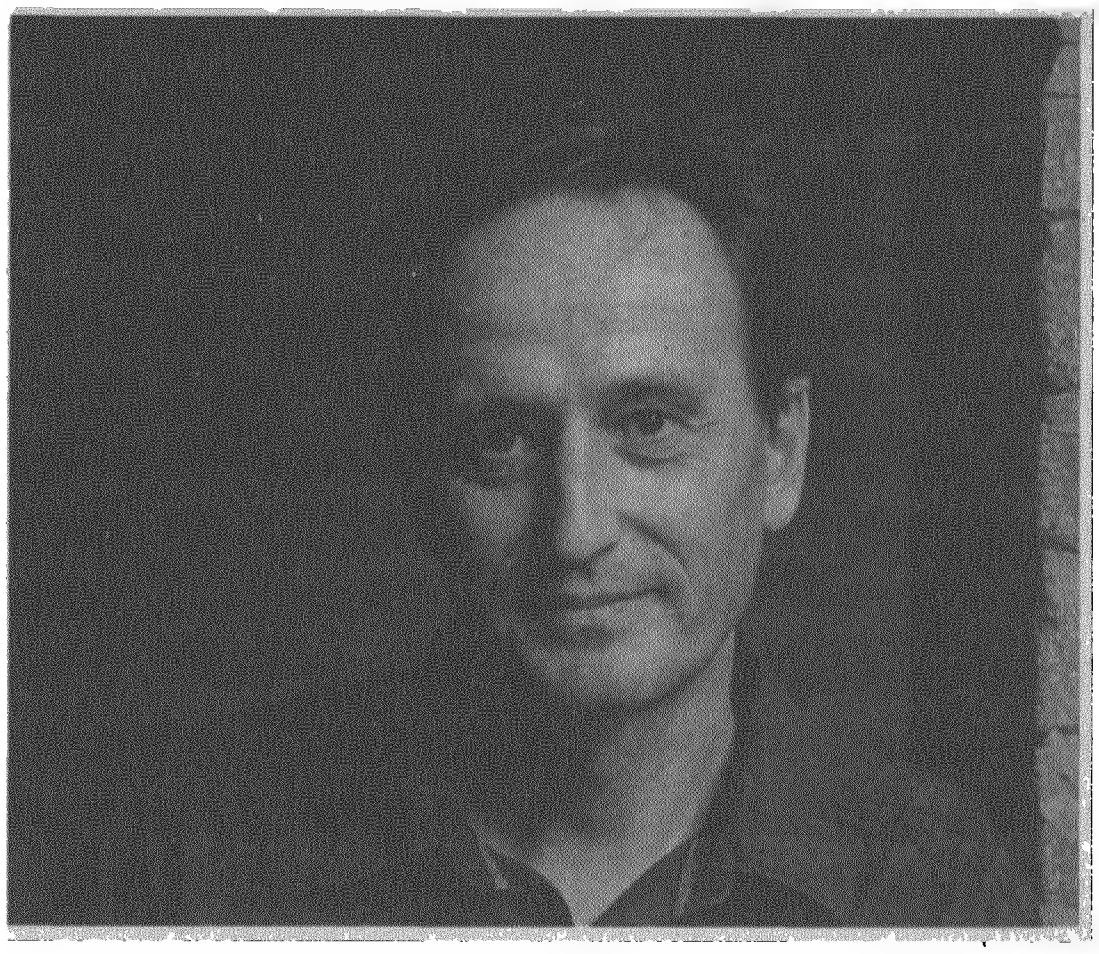
Да, наверняка неприятно иметь дело с таким огромным кулаком. Только позднее я и Муратов поняли, как он жестоко ошибался.

Я мог еще немного поболтать с Муратовым. Выяснилось, что фабрика, на которой он работал, не выполнила план, и его осудили за саботаж. На самом же деле, поскольку он был беспартийным и нередко критиковал функционеров, произносивших громкие речи, то давно уже колол им глаза. В итоге производственные данные были сфабрикованы, и он предстал перед судом. На этом разговор прервался, так как дверь снова открылась, и нас вывели во двор. Там уже стоял "воронок" — специальная машина для арестантов. Холод был собачий. Чтобы все арестанты были на виду, светил прожектор, и в его резких лучах виднелся черный фургон, а рядом — четверо часовых в меховых, доходящих до щиколоток пальто и нахлобученных на уши меховых шапках. Они стояли с автоматами наготове, изо рта у них валил пар. Вся сцена казалась призрачной. Но времени, чтобы все это рассматривать, уже не было — из здания вышел офицер с папкой документов. Он быстро произвел перекличку и подсчет отъезжающих.

Послышалось "Пожалуйста!" — это охранники приглашали нас сесть в машину. Таких слов, как "пожалуйста", я потом не слышал ни от одного советского надзирателя. Хотя произнесено оно было жестким, приказным тоном перед дверью "воронка", все равно это была дань вежливости. В последний момент я увидел еще кое-что, о чем до сих пор знал только по рассказам: на обеих сторонах покрытого черной лаковой краской кузова машины огромными буквами было написано: ХЛЕБ.

Ну, разве не культурно? Да и вообще вся Лубянка с ее следователями, прокурорами, чрезвычайными судами, с ее знаменитым режимом — куда еще культурнее! Это и было сталинской культурой.

Алоиз Принц



Ханна Арендт, или Любовь к Миру

Главы из книги

Перевод Ирины Щербаковой

Точка спасения – Марсель

"Жить все равно хочется, даже когда ситуация в мире дерьмовая..."

ВСТУПЛЕНИЕ Франции в войну драматическим образом меняет положение немецких эмигрантов[1]. Если до этого они были здесь всего лишь непрошеными гостями, то теперь воспринимаются как "étrangers

© 1998, 2012 Beltz & Gelberg In der Verlaggruppe Beltz Weinheim Basel
© Ирина Щербакова. Перевод, 2015

1. С началом войны во Франции ужесточились законы по отношению к иностранцам. Если граждане другой страны не могли вернуться на родину, как, например, беженцы из нацистской Германии, власти получали право их интернировать. Это привело к возникновению разветвленной системы лагерей различного типа. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

indésirables”[1]. Всех немцев называют “boches”[2], вне зависимости от того, преследовались они нацистами или нет. Прежде всего, под угрозой оказываются политические активисты и коммунисты: после пакта между Гитлером и Сталиным они превратились в шпионов и агентов Гитлера, в “пятую колонну”.

7 сентября 1939 года в парижских газетах выходит объявление, согласно которому все эмигранты мужского пола в возрасте от семнадцати до пятидесяти лет должны немедленно прибыть на сборные пункты. Один из таких пунктов располагается на стадионе “Ролан Гаррос”. Другой — на олимпийском стадионе “Ив дю Мануар”, в Коломбе, на окраине Парижа. Среди тех, кто туда должен явиться, — Генрих Блюхер[3]. Здесь, на газоне стадиона, он встречает многих друзей, в том числе “несчастного Бенжи”.

Так Вальтера Беньямина[4] зовут его друзья. А “несчастным” его называет Блюхер, потому что на Бенжи буквально обрушиваются все мыслимые и немыслимые удары судьбы. Позднее Ханна опишет Беньямина, как очень приятного и симпатичного homme de lettres[5], которого преследуют несчастья, а еще — как “маленького горбуна” из детской книжки[6], ему то подставят ногу, то выбьют кувшин из рук. Из-за своей неприспособленности к жизни и неловкости Беньямин буквально притягивает к себе всевозможные неприятности. Зимой 1939–1940-го, опасаясь бомбежек, он бежит из Парижа. На Париж ни одна бомба не падает, зато местечко Мо, в котором как будто нарочно оказывается Беньямин, из-за близости к одному из военных полигонов подвергается серьезной опасности.

На олимпийском стадионе в Коломбе Блюхеру приходится заботиться о Бенжи, который не может приспособиться к тамошним условиям. Нужно защититься от дождя, высушить

1. Нежелательные иностранцы (*франц.*).
2. Немец, фриц (*франц.*).
3. Генрих Блюхер (1899–1970) — немецкий коммунист, второй муж Ханны Арендт. Эмигрировал во Францию, а затем — в США.
4. Вальтер Беньямин (1892–1940) — немецкий философ. Ханна Арендт впоследствии написала о нем очерк.
5. Литератора (*франц.*).
6. Маленький горбун — сказочная фигура из сборника немецкой народной поэзии “Волшебный рог мальчика”. С ним часто сравнивал себя сам Вальтер Беньямин, который в детстве прочитал и навсегда запомнил стишок: “Когда я в погреб ввечеру, / Когда на кухню прихожу, / Спускаюсь к бочкам винным, / Горшок снимаю с полки, / Меня ждет маленький горбун... / Чтоб завладеть кувшином. / И мой горшок — в осколки”. Перевод Б. Дубина.

одежду, добраться ночью до уборной, перелезая через трибуны, и при этом не переломать себе ноги. Перед стадионом выстраиваются длинные очереди из жен с передачами для мужей. Никто не может сказать, как долго эти люди будут здесь находиться. "Невозможно понять, чего они от нас хотят", — пишет Генрих Ханне.

В середине сентября интернированных отправляют в разные лагеря. Генрих попадает в лагерь Вилльмалар, недалеко от города Блуа, к юго-западу от Парижа. В письмах он пытается успокоить Ханну: "Мы здесь живем, как солдаты на маневрах, довольно бедно, но всего хватает". Действительно, французские лагеря для интернированных ни в какое сравнение не идут с концентрационными лагерями нацистской Германии. Генрих может получать посылки с продуктами и одеждой, ему разрешены свидания, к нему приезжает Ханна вместе с Анной Мендельсон[1] (после того, как Анна вышла замуж за французского философа Эрика Вейля[2], ее зовут Анна Вейль). Но Генрих в свои сорок лет отнюдь не "Перси Горячая шпора"[3], ему нелегко спать на соломе, холод и дождь сильно вредят его здоровью. Его мучают почечные колики, он неделями не встает с койки. Ханна использует все свои связи, чтобы вызволить Генриха из лагеря, и в конце года он все-таки возвращается в Париж.

С ними в Париже теперь живет и мать Ханны. Она уехала из Кенигсберга, оставив там своего мужа[4]. К счастью, в отличие от многих друзей и родственников, которые станут жертвами расового безумия нацистов, он умрет естественной смертью от сердечного приступа в кенигсбергском доме престарелых.

Сомнения Ханны по поводу того, возможна ли совместная жизнь с Генрихом, теперь уже окончательно развеяны. 16 января 1940 года Генрих и Ханна вступают в брак. Но им недолго быть вместе. В их жизнь снова вмешивается большая политика.

В мае немецкие войска оккупируют Бельгию, Франция откликается на эти события новой волной интернирования иностранцев. На сей раз речь идет не только о мужчинах: незамужние или состоящие в браке, но бездетные женщины те-

1. Анна Мендельсон (Вейль) — подруга юности Ханны Арендт.
2. Эрик Вейль (1904—1977) — французский философ еврейско-немецкого происхождения, выходец из Германии.
3. Имеется в виду персонаж из пьесы Шекспира "Генрих IV". Перевод Е. Бируковой.
4. Речь об отчиме Ханны Мартине Бирвальде.

перь обязаны явиться на "Vélodrome d'Hiver"[1] или, как его сокращенно называют, "Вель д'Ив". Марту Бирвальд, мать Ханны, это не коснется, зато коснется саму Ханну. Согласно распоряжению властей, каждая женщина должна иметь с собой запас продуктов на два дня, посуду (ложку, вилку, кружку и т. д.) и одеяло. Вся поклажа не должна превышать 30 кг. Ханна прощается с Генрихом и на метро отправляется в "Вель д'Ив". Генрих должен явиться на сборный пункт для мужчин.

Велодром — это огромная арена под стеклянным куполом. Большинство женщин, которых сюда поместили, — еврейские эмигрантки, не имеющие никакого отношения к политике. Кроме них там находятся и вышедшие замуж за немцев француженки, и ни в чем не повинные самые обычные немки, давным-давно живущие во Франции, и приехавшие в Париж со своими хозяевами служанки, и просто гражданки Германии, которые в момент объявления войны оказались во Франции.

В царящей там неразберихе Ханна встречает знакомых, они стараются держаться вместе. Всем раздают соломенные тюфяки, спать приходится на твердом бетонном полу, едва прикрытом соломой. Эти дни во дворце спорта полны тягот и неудобств. В огромном спортзале жарко, в воздухе носится пыль от соломы, санитарные условия хуже некуда. Ходят слухи, что немцы уже заняли Северную Францию. Днем и ночью раздается вой сирены, предупреждая о воздушной тревоге. До сих пор тревоги были ложными, но все постоянно ждут налета немецкой авиации. Женщинам, запертым в "Вель д'Ив", укрыться негде. Им страшно: в здании нет бомбоубежища, и бомбы могут упасть прямо на стеклянный купол. Подруга Ханны Арендт Кете Хирш позднее вспоминала: "Целую неделю мы уже находились в 'Вель д'Ив'. А немцы продвигались все быстрее. По ночам была слышна глухая канонада французских зениток. В какой-то момент к нам подошла Ханна и спросила, нельзя ли ей, если на крышу упадет бомба, перелезть вместе со своими подругами через барьер, на наши места. Ну, разумеется, можно, — ответила я".

Недели через две женщинам объявили, что их переводят в другое место. На грузовиках их везут вдоль берега Сены мимо Лувра на вокзал и сажают в поезд. Несколько дней поезд идет на юг и в конце концов доставляет интернированных к месту назначения. Это лагерь Гюрс, названный так по не-

1. "Зимний велодром".

большому местечку у подножия Пиренеев, всего в тридцати километрах от испанской границы.

Лагерь Гюрс — самый крупный из французских лагерей для интернированных лиц, всего же таких лагерей около сотни. Гюрс был создан в 1939-м для бойцов Интернациональных бригад, бежавших во Францию после окончания гражданской войны в Испании. С 1940 года лагерь стал фактически женским, число заключенных достигало в нем двадцати тысяч. В лагере было 382 барака, в каждом размещалось от 50 до 60 человек. Каждой арестантке отводилось пространство шириной около 75 сантиметров.

Гюрс не был исправительным лагерем, как, например, находившийся неподалеку печально известный лагерь Ле-Верне. Тем не менее из-за ужасных санитарных условий, отсутствия медицинской помощи и чрезвычайно скудного рациона жизнь арестанток в Гюрсе была крайне тяжелой. Их одолевали крысы и вши. Во время дождя вода проникала сквозь прохудившуюся толевую крышу, и глиняный пол в бараках превращался в настоящее месиво, доходившее до самых щиколоток. Умывальников было очень мало, уборные — их здесь называли "крепостями" — представляли собой небольшие сооружения на сваях, с дырками над большими выгребными ямами. Обед состоял из супа с "pois chiches", турецким горохом, и куска хлеба. "Как я ненавидела этот турецкий горох! — писала Лиза Фиттко в своих воспоминаниях о Гюрсе. — Каждый день мне приходилось давиться этой дрянью".

Но не только отвратительные бытовые условия приводили женщин в отчаяние. "Невыносимым в лагере для меня были не набитые соломой матрацы, — вспоминала впоследствии Сузи Айзенберг-Бах, — не скудное питание, не грязь под ногами в дождливые дни, не тягостное существование бок о бок с шестьюдесятью женщинами и даже не колючая проволока, которая была видна отовсюду, а чувство полной безвыходности". Многие из пленниц Гюрса бежали во Францию, чтобы не попасть в нацистские концлагеря, а теперь были интернированы страной, от которой ждали спасения.

Но Ханна не из тех, кто легко отчаивается. Даже в плохие времена она полна жизнелюбия. Правда, ситуация в мире настолько скверная, настолько "дерьмовая", как говорит сама Ханна, что мрачные мысли возникают и у нее. Двенадцать лет спустя в разговоре с Куртом Блюменфельдом[1] она при-

1. Курт Блюменфельд (1884—1963) — сионистский лидер, друг Ханны Арендт.

знается, что в Гюрсе подумывала о самоубийстве, но в конце концов сочла это "смешным". Для Ханны, которая настаивает на том, что личное должно быть отделено от политики, самоубийство в лагере — это проявление бессилия и даже в чем-то поступок комический. Эту же мысль она ясно высказывает в одной из своих позднейших статей, где описывает эпизод из своей жизни в Гюрсе: "В лагере Гюрс... я только один-единственный раз слышала о самоубийстве, когда кто-то из женщин призывал всех вместе свести счеты с жизнью в знак протеста, чтобы поставить французов в неловкое положение. Но когда мы поняли, что нас запихнули сюда как раз "pour crever" ("чтобы мы сдохли"), общее настроение внезапно переменилось и возникло страстное желание жить. В итоге мы пришли к выводу, что тот, кто все еще считает этот общий кошмар своим личным невезеньем и потому собирается в индивидуальном порядке покончить с жизнью, ведет себя неправильно, асоциально и никак не заинтересован в общем ходе событий".

Многие из переживших Гюрс потом рассказали, что женщины в лагере были охвачены упорным желанием выстоять, несмотря ни на что. Время от времени они ярко красились, надевали свои лучшие платья и отправлялись на прогулку по территории лагеря, словно по бульвару.

Несмотря на отделявшую узниц от мира колючую проволоку и запрет на получение почты, в лагерь все же проносили газеты, и заключенные узнавали новости. Так им стало известно, что в середине июня немцы заняли Париж и теперь продвигаются на юг. Эти новости вызывают панику. Узницы чувствуют, что оказались в ловушке. А что, если лагерь перейдет в руки немцев? Неужели придется просто сидеть и ждать, пока за ними придет гестапо?

Но и лагерное начальство не знает, как себя вести. Правительство ушло в отставку. Теперь во главе Франции восьмидесятилетний маршал Филипп Петен. Он объявляет о перемирии с Германией. В результате страна оказывается поделенной на две части. Север и атлантический берег оккупированы Германией, юг по-прежнему свободен. На не оккупированной территории, в городе Виши, Петен создает новое правительство, так называемое правительство Виши. Оно ведет коллаборационистскую политику, сотрудничает с Гитлером. Извечный враг вдруг становится другом.

Этот политический поворот на короткое время приводит в замешательство комендантов лагерей для интернированных лиц. Многие просто выпускают заключенных, предоставляя их собственной судьбе. И в Гюрсе постепенно ослабе-

вает лагерная дисциплина. Никто не патрулирует лагерь ночью после комендантского часа, лагерные ворота плохо охраняются.

Воспользовавшись этой неразберихой, группа женщин вырабатывает дерзкий план. Им удается выкрасть чистые бланки документов на освобождение и подделать подпись коменданта. С этими бумажками почти две сотни узниц без особых трудностей покидают лагерь. В их числе и Ханна Арендт. Лиза Фиттко в своих воспоминаниях пишет, что среди прочих с ними была и фрау Блюхер.

Женщины, бежавшие из Гюрса, использовали свой шанс очень вовремя. Уже спустя несколько дней порядок в лагере был восстановлен и выбраться из него стало невозможно. Правительство приняло антисемитские законы и тесно сотрудничало с немецкими властями. В соответствии с параграфом 19 договора о перемирии правительство Виши взяло на себя обязательство выдать Германии всех беглецов. С 1942 года многих узников Гюрса депортировали "на работу" в Аушвиц.

Тем временем на юге Франции царит хаос. Все дороги, все живописные деревеньки в департаменте Нижние Пиренеи возле границы с Испанией наводнены беженцами с севера. Многие переходят из деревни в деревню, гонимые страхом угодить в руки немцев. Большинство старается добраться до Марселя, единственного французского океанского порта, который немцы не контролируют. Марсель — последняя лазейка, с помощью которой еще можно вырваться из этой ловушки.

Среди измученных беглецов, скитающихся по дорогам южной Франции, — писательница Анна Зегерс с двумя детьми, журналист Артур Кестлер. В гражданской войне в Испании он сражался против Франко и пережил настоящую одиссею, пройдя через испанские и французские тюрьмы и лагеря. Кестлер записался в Иностранный легион, полагая, что это единственная возможность не попасть в лапы немцев, а теперь и он ищет способ выбраться из Франции. В своих дневниках Артур Кестлер описал женщин из Гюрса, которых встретил в Наварене: "Местные жители называют их гюрсианками. Крестьяне в Наварене, Сусе, Жеронсе и других близлежащих деревнях дают им жилье и еду, и за это те работают у них на полях. Женщины эти исхудавшие и измученные, но чисты и аккуратны. На головах у них тюрбаны из пестрых платков".

Ханна сразу отделяется от остальных женщин. Лиза Фиттко встречает ее однажды на проселочной дороге, по которой

та бредет в полном одиночестве. Она предлагает Ханне вместе с ней и другими женщинами из Гюрса податься в Лурд. Но Ханна отказывается, полагая, что, если идти в одиночку, у нее больше шансов. Пешком она отправляется в Монтобан — проделывает путь в двести километров. В этот город стекаются многие беженцы, и Ханна надеется узнать хоть что-нибудь о Генрихе Блюхере.

Ее расчет оказывается верен, и ей сопутствует везенье — в Монтобане Ханна находит старых друзей: Лотту Кленборт, Кон-Бендитов, Анну Вейль, а однажды в толпе беженцев, которые со своими пожитками, кто на колесах, а кто пешком, передвигались по улицам города, она встречает и Генриха. Лагерь, в котором он находился, был распущен при приближении немецких войск, и вместе с остальными беженцами Блюхер отправился на юг.

Теперь Генрих и Ханна приходят в себя в Монтобане и ждут мать Ханны, которая лишь в октябре доберется к ним из Парижа. Но затем их положение резко ухудшается. Правительство Виши издает распоряжение, согласно которому все евреи должны явиться в местные органы для регистрации. В этом случае они снова могут быть интернированы. Многие из тех, кто бежал из Гюрса, опять попадают в лагерь.

Ханна понимает, что надо действовать, пока еще не поздно. Вместе с матерью и Генрихом она добирается до Марселя, чтобы получить визу в американском консульстве. Сделать это непросто. Въезд в Соединенные Штаты осуществляется по квотам, их ожидают очень многие беженцы, и никто не может быть уверен в положительном результате. Для получения визы необходим так называемый аффидевит — письменное поручительство американского гражданина в том, что он берет на себя финансовое обеспечение въезжающего. Ханна использует свои контакты с еврейскими организациями, кроме того, ей помогает Гюнтер Штерн[1]. Наконец, она получает столь желанные визы для себя и для Генриха. Визу для матери дают далеко не сразу.

Впрочем, получение американской визы — лишь одно из препятствий. Большинство пароходов в Америку отплывают из Лиссабонского порта. А для того чтобы попасть в Лиссабон, необходима транзитная виза в Испанию и Португалию. Ради нее нужно целыми днями простаивать в очередях перед консульствами. Но если даже повезет с визой, все равно вы-

1. Гюнтер Штерн (Андерс) — первый муж Ханны Арендт, который уже находился в Америке.

браться из Франции очень трудно. Только в редких случаях правительство Виши дает разрешение на выезд. Для многих беженцев остается лишь один путь — нелегально перейти французскую границу.

Именно это и пытается сделать Вальтер Беньямин. Ханна встречает его в Марселе, где Беньямин вручает ей свою рукопись под названием "Тезисы о понятии истории". У него есть все необходимые визы, но выбраться из Франции он не может. Однажды Беньямин уже пробовал бежать: вместе со своим другом Фритцем Френкелем он пробрался на борт какого-то грузового судна, переодевшись французским матросом. Но их обман раскрылся. После этого Беньямин решает добираться в Испанию пешком через Пиренеи. С собой у него пятьдесят таблеток морфия, половину из них он отдает своему старому другу Артуру Кестлеру — "на всякий случай". Беньямин обращается за помощью к женщине из Порт-Вендре, которая занимается переправкой людей в Испанию. Это не кто иная, как Лиза Фиттко, бывшая узница Гюрса. Она ведет Беньямина через Пиренеи. У Беньямина больное сердце, и он тащит с собой тяжелый портфель с рукописями. Возле испанской границы Лиза его покидает, в полной уверенности, что теперь он в безопасности. Однако в Порт-Бо, приграничной деревушке, снова страшное невезенье: Беньямин узнает, что границу только что закрыли. Испанские пограничники собираются на следующий день отправить его обратно во Францию. Но на утро Вальтер Беньямин уже мертв. Ночью он принимает большую дозу морфия. "Маленький горбун" из детского стишка и под конец сыграл с ним злую шутку.

Ханне и Генриху везет больше. Как раз в тот момент, когда на короткое время открываются границы, они поездом отправляются в Лиссабон. Мать Ханны приходится оставить у друзей. Она последует за ними, как только получит визу.

В апреле 1941 года Ханна и Генрих поднимаются в Лиссабоне на борт парохода, который должен доставить их в Нью-Йорк. Спустя пару недель следом за ними отправляется и Марта Арендт.

Призрак в стеклянной будке

> "Я не помню, как часто я смеялась,
> но помню, что очень громко".

В августе 1960 года Ханна Арендт и Генрих Блюхер снова проводят свой отпуск в Катскилл-Маунтинс, на этот раз в небольшом местечке Хайнс-Фоллс, в пансионе, выстроенном в стиле

швейцарского шале, где хозяин и все гости говорят только на швейцарском диалекте. Каникулы означают для Ханны возможность спокойно работать. У нее обширные планы: подготовиться к выступлениям на двух конгрессах в Нью-Йорке, а также к семинарам, которые она должна будет осенью вести в Колумбийском университете, еще Ханна собирается выпустить сборник статей и работает над своей новой книгой, где на примере французской и американской революций она хочет проанализировать суть этого явления[1].

Когда Ханна устает от работы, она купается в одном из прудов, которые образовались здесь благодаря водопаду, или бродит по хорошо знакомым ей горным тропинкам. По вечерам Генрих учит ее играть в бильярд. Он носит большую ковбойскую шляпу, и Ханна сравнивает его с героем вестерна, только что сошедшим с экрана.

Они читают газеты. На первых полосах — материалы о предстоящих выборах американского президента. Еще одна важная новость — в Аргентине израильские спецслужбы похитили Адольфа Эйхмана, нациста, сыгравшего ключевую роль в уничтожении евреев и исчезнувшего после окончания войны. Теперь в Иерусалиме над ним начнется судебный процесс.

Как и Ханна, Эйхман родился в 1906 году, после 1945-го он скрывался в Люнебургской пустоши, выдавая себя за лесоруба. В 1950-м Эйхман перебрался в Аргентину, за ним последовали жена и дети. Там, в предместье Буэнос-Айреса, Эйхман жил под именем Риккардо Клеменса и работал автомехаником. 11 мая 1960 года его похитили секретные службы Израиля, неделю они прятали его в Буэнос-Айресе, а затем тайно вывезли в Израиль.

История Эйхмана не выходит у Ханны из головы. Она рано эмигрировала из Германии и за происходящим там наблюдала издалека. Процесс над Эйхманом для нее — последний шанс увидеть живьем типичного представителя нацистской верхушки.

Поэтому по возвращении в Нью-Йорк она пишет короткое письмо Роберту Шоуну в журнал "Нью-Йоркер", предлагая себя в качестве корреспондента, освещающего процесс в Иерусалиме. Ответ приходит немедленно, что говорит о том, какой Ханна пользуется известностью: ее предложение принимается, и журнал берет на себя все расходы, связанные с поездкой.

1. Имеется в виду книга Ханны Арендт "О революции", 1963.

Перспектива поехать в Иерусалим перевернула все планы Ханны, хотя будущий год у нее уже и так почти полностью расписан. Но главное, ей наконец-то удалось уговорить Генриха вместе с ней совершить поездку в Европу. Ради процесса над Эйхманом она отказывается от многих взятых на себя обязательств, откладывает все дела. Но только не их совместную поездку с Генрихом. Они решают, что весной Ханна полетит в Израиль, проведет там несколько недель, пока идет процесс, а затем отправится в Европу, какое-то время пробудет в Швейцарии и Германии, потом к ней присоединится Генрих. Вместе они поедут в Италию и Грецию, а затем навестят чету Ясперсов[1].

В ноябре в Америке выбирают президента. Ханна и Генрих сутками не отходят от телевизора в ожидании результатов. Побеждает Кеннеди, на полпроцента опередивший соперника. Ханна воспринимает это известие с большой радостью. В кругу ее друзей тоже царит воодушевление. Приглашенный на инаугурацию писатель Роберт Лоуэлл[2] ей пишет: "The world is green again" — "Мир снова стал зеленым". <...>

8 апреля Ханна Арендт летит в Иерусалим. Город заполнен людьми, которые приехали, чтобы следить за процессом. Среди иностранцев особенно много немцев, по мнению Ханны, они страдают "тяжелым израэлитизмом" — так она называет проснувшуюся в них любовь к евреям. Ханна останавливается в гостинице на окраине Иерусалима, ее соседи по столу — обер-бургомистр Франкфурта и его жена. Своего сына они только что отправили в кибуц. Какой-то журналист буквально бросается Ханне на шею: он никак не может прийти в себя от того, какая ужасная вина лежит на немцах. "Как в театре, — пишет она Генриху. — Омерзительно".

11 апреля в окружном суде Иерусалима начинается судебный процесс над Адольфом Эйхманом. Среди зрителей — Ханна Арендт. На высоком подиуме занимают свои места трое судей под председательством Моше Ландау. На столе перед ними горы книг и папки, в которых более полутора тысяч документов.

Ниже судейской скамьи сидят переводчики. Еще ступенью ниже — стеклянная будка с обвиняемым. Зрители видят Эйхмана в профиль. Наконец, у самого основания судейской

1. Карл Ясперс (1883–1969) — знаменитый немецкий философ, учитель и друг Ханны Арендт.
2. Роберт Лоуэлл (1917–1977) — американский поэт и драматург.

скамьи расположились спиной к публике главный государственный обвинитель Гидеон Хауснер с целой командой помощников и защитник Эйхмана доктор Роберт Серватиус со своим ассистентом. У защитника и обвиняемого, как и у большинства сидящих в зале, на голове наушники — заседание ведется на иврите.

Адольфа Эйхмана Ханна называет "призраком в стеклянной будке". Это худой человек среднего роста, пятидесяти с лишним лет, "лысеющий, с дурными зубами, близорукий, тот самый, который в течение всего процесса тянул свою морщинистую шею в сторону судейской скамьи... который старательно и по большей части успешно сохранял самоконтроль"[1]. Ханне Арендт этот человек в стеклянной будке не кажется "чудовищем", напротив, с самого начала у нее возникает чувство, что она видит перед собой "шута горохового". Наиболее важные факты из своей нацистской карьеры он якобы забыл, зато отчетливо помнит, в каком был настроении и какие испытывал чувства. Ханна Арендт отмечает; что он произносит лишь "пустые фразы" и клише, не способен воспринять ничью точку зрения, кроме своей собственной, и постоянно прячется за какими-то "высокими чувствами". Уровень этой сентиментальной глупости ее поражает. "Ты уже, наверно, слышал, что он сам хотел бы *публично* повеситься, — пишет она Генриху. — У меня просто нет слов".

Именно потому, что Эйхмана так трудно принимать всерьез, что он производит такое смехотворное впечатление, в тех чудовищных вещах, о которых он рассказывает, Ханне чудится что-то гротескное, комическое. И все же речь идет о невообразимых ужасах, и ответственен за них должен быть человек, который, по заключению психиатров, "совершенно нормален" — в этом странном контрасте Ханна видит нечто очень важное, что необходимо понять, чтобы разобраться в том, что представлял собой нацистский тоталитарный режим. "Все это так отвратительно нормально и так невероятно ничтожно, — так описывает она свои чувства и свое недоумение в одном из писем Генриху. — Я все еще ничего не понимаю, но мне кажется, что это понимание возникнет и возникнет именно у меня".

Сам процесс Ханну разочаровывает. Обвинение предоставляет огромное количество свидетелей, горы материала, и все для того, чтобы еще раз показать гигантские масштабы

1. Ханна Арендт. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Перевод С. Кастальского и Н. Рудницкой. — Европа, 2008.

уничтожения евреев. Но все эти документы по большей части не связаны с Эйхманом. У Ханны возникает впечатление: преступления нацистов здесь пытаются представить во всей их кошмарной полноте, чтобы таким образом превратить Эйхмана в монстра. Между тем в стеклянной будке находится человек с суетливыми движениями, не способный выстроить ни одной правильной фразы, на все вопросы дающий дурацкие ответы. И когда во время допроса свидетелей все же высвечивается конкретная роль Эйхмана в уничтожении евреев, то выясняется, что он отнюдь не был главным организатором этого уничтожения, каковым его здесь представляют, а просто функционером среднего звена и, как он все время заверяет, всего лишь выполнял свой служебный долг.

Тем не менее для Ханны Арендт Эйхман не второстепенный персонаж, а типичный нацист. Она ни коей мере его не оправдывает, считает виновным и заслуживающим смертного приговора. И все же открытым для нее остается вопрос, почему столь эффективная тоталитарная система как национал-социализм функционировала благодаря столь примитивным и несамостоятельным личностям, как Эйхман.

В Иерусалиме Ханна Арендт остается до 6 мая. Через своего старого друга Курта Блюменфельда она завязывает контакты с влиятельными людьми в Израиле. Почти целую ночь она проводит в напряженном споре с Голдой Меир, которая в тот момент занимает пост министра иностранных дел. Ранним утром у падающей от усталости Ханны лишь одна забота: “как заставить министра иностранных дел лечь в постель, если он (вернее она) ни за что не хочет этого делать”.

Когда, наконец, 7 мая Ханна летит в Базель, у нее с собой семь тяжелейших папок с материалами процесса. Это записи допросов Эйхмана. Ханна собирается использовать их для своих статей.

Неделю она проводит в Базеле, потом отправляется в Мюнхен, где снимает номер в маленьком уютном отеле, расположенном рядом с Английским садом. Здесь она собирается спокойно поработать над своей книгой о революции, воспользоваться прекрасными мюнхенскими библиотеками. После Троицы ее навещает Анна Вейль. Вымокшие, но довольные, они гуляют под дождем по Нимфенбургскому парку. Покупают для Ханны фотоаппарат “минокс”, с экспонометром и fool proof, то есть “защитой от дураков”.

На том же поезде, который отвозит Анну Вейль обратно в Париж, из Вены в Мюнхен приезжает повидаться с Ханной Гюнтер Андерс. При этой встрече со своим бывшим мужем Ханна испытывает странные чувства. Она в ужасе от того,

как он изменился. Сильно похудел, поседел, вид у него измученный. Все это резко контрастирует с его рассказами о собственных блестящих успехах. Андерс в этот момент готовит публикацию своей переписки с одним из пилотов, сбросивших бомбу на Хиросиму. Он надеется, что книга принесет ему деньги и славу. Все это кажется Ханне "легким безумием". Правда, по ее мнению, заключается в том, что "перед ним vies-à-vis de rien, то есть пустота, но он этого признавать не хочет"[1]. После отъезда Андерса Ханна испытывает облегчение. Тем сильнее она радуется Мэри Маккарти[2], приехавшей к ней в Мюнхен из Варшавы в начале июля. <...>

17 июня 1961 года Ханна Арендт снова летит в Иерусалим. Процесс продолжается, и она обязательно хочет присутствовать, когда Эйхман будет давать показания. Приговор должен быть вынесен не раньше декабря. В Иерусалиме Ханна задерживается всего на несколько дней, а затем летит в Цюрих, где 24 июня должна встретиться с Генрихом. Он преодолел свой страх перед полетами и все-таки отправился в Европу. Чтобы встретить его в цюрихском аэропорту, специально из Локарно приезжает Роберт Гилберт, старый друг Генриха — они не виделись с берлинских времен. Гилберт после войны сделал себе имя как кабаретист и переводчик американских мюзиклов.

Свой визит к Ясперсам Ханна и Генрих откладывают до июля. Сначала они хотят совершить путешествие по Италии. Через Сен-Готардский перевал едут в Пизу, оттуда — в Рим и в Сорренто. В Сорренто берут на прокат машину и пускаются в путь, как и полагается "пожилым господам". Они посещают Капри, Помпеи, Салерно и Амальфи. Особенно сильное впечатление на них производит греческая колония Пестум. Генрих приходит в такое восхищение, что начинает мечтать о будущей поездке в Грецию.

В середине июля они возвращаются в Швейцарию, и тут, наконец, происходит долгожданная встреча Ясперсов с Генрихом Блюхером. Карл Ясперс уже столько слышал от Ханны про Генриха, что у него такое чувство, будто он давно его знает. Между ними сразу же возникает взаимопонимание, несмотря на то, что трудно представить себе двух более несхожих людей и по происхождению, и по жизненному пути, чем у самоучки из пролетарского Берлина и профессора из бур-

1. Из письма к Генриху Блюхеру от 28 мая 1961-го.
2. Мэри Маккарти (1912–1989) — американская писательница, публицист, близкая подруга Ханны Арендт.

жуазной семьи. Их встреча превращается в настоящую "оргию дружбы", как потом напишет Генрих, и впредь они договариваются обращаться друг к другу на "ты".

Не забывает Ханна и о Хайдеггере[1]. Она пишет ему письмо, в котором сообщает свой адрес, но ответа не получает. В конце концов, Ханна решает еще раз сделать шаг ему навстречу. Пока Генрих гостит у своего друга Роберта Гилберта в Локарно, она едет во Фрайбург по приглашению профессора Йозефа Кайзера. Кайзер живет со своим другом и вообще ведет весьма экстравагантный образ жизни. В честь Ханны он устраивает настоящий праздник, на который приглашает и философа Ойгена Финка, близкого друга Хайдеггера. Но тот решительно отклоняет приглашение, дав понять, что видеть Ханну Арендт не хочет.

Ханна подозревает, что за этим странным поведением Финка скрывается Хайдеггер, который рассержен ее письмом и несостоявшимся посвящением[2]. Позже она напишет Карлу Ясперсу: "Всю жизнь я перед ним притворялась, вела себя так, словно меня не существует и словно я не могу сосчитать до трех, разве что интерпретируя его собственные тексты — вот тут-то ему было очень кстати, что я могу считать до трех, а иногда даже до четырех. Но мне надоело притворяться, и тогда я получила по носу. Сначала я ужасно разозлилась, но теперь это прошло. Сейчас мне, скорее, кажется, что этот щелчок я в какой-то мере заслужила за свое притворство и за то, что внезапно перестала притворяться".

В начале августа Ханна и Генрих возвращаются в Нью-Йорк. Снова начинается привычная жизнь. Генрих всю неделю преподает в Бард-колледже, Ханна ведет занятия со студентами и изучает горы материала, которые собрала о процессе над Эйхманом, чтобы написать свой отчет для "Нью-Йоркера".

Осенью Ханна читает курс в колледже Уэсли. В разгар занятий она получает известие, что Генриху плохо, он в больнице.

Лотта Берадт, их старая приятельница, обнаружила Генриха в квартире на Риверсайд-Драйв в довольно скверном состоянии. У него ожоги от собственной сигары, в квартире

1. Мартин Хайдеггер (1889–1976) — выдающийся немецкий философ, учитель Ханны Арендт, с 1924 г. их связывали близкие отношения. После войны Ханна Арендт старалась защитить Хайдеггера от обвинений в симпатиях к нацизму.
2. Ханна Арендт послала Хайдеггеру свою книгу "Vita activa, или О деятельной жизни" вместе с письмом, где объясняла, почему не посвятила ему эту книгу.

полный хаос, повсюду разбросаны бумаги, перевернута мебель.

Ханна тотчас отправляется в Нью-Йорк. Мэри Маккарти подменяет ее в университете. Вначале Ханна никак не может понять, что с Генрихом. Врачи в больнице не говорят ничего определенного, подозревают опухоль. В ходе обследований выясняется, что у него аневризма, то есть расширение мозговой артерии. Постепенно ему становится лучше, но теперь ему предстоит примириться с тем, что заболевание у него серьезное. Ханна сообщает ему диагноз, говорит и о том, что смертность в таких случаях достигает пятидесяти процентов. "Не волнуйся, — успокаивает ее Генрих, — не забывай и про остальные пятьдесят".

В ноябре Генриху уже разрешают выходить на улицу. Главврач советует ему еще два месяца соблюдать осторожность, а потом вести обычную жизнь, но избегать физических нагрузок.

С 11 по 15 декабря в Иерусалиме ожидается вынесение приговора Эйхману. С небольшими оговорками он признан виновным по всем пятнадцати пунктам обвинения и приговорен к смерти.

Ханна в какой-то степени "разочарована" приговором. Не тем, что Эйхман приговорен к смерти, иначе, по ее мнению, и быть не могло. Но она полагает, что в приговоре должно было прозвучать более отчетливо, что отправлять правосудие необходимо всегда, даже когда сложно расценить, каким должно быть наказание.

Статью Ханны о процессе над Эйхманом ждут с большим нетерпением. "Что с твоей статьей об Эйхмане для 'Нью-Йоркера'? — пишет ей Мэри Маккарти. — Меня об этом постоянно спрашивают".

Но Ханна хочет прежде закончить свою книгу о революции. И только потом заняться Эйхманом.

19 марта 1962 года Ханна (в тот момент ей пятьдесят пять) едет на такси через нью-йоркский Центральный парк, внезапно в ее машину врезается грузовик. Ханну сразу же доставляют в больницу Рузвельта. Угрозы для жизни нет, но при этом множество травм: перелом девяти ребер и запястья левой руки, повреждены зубы, на теле — гематомы и ушибы, сотрясение мозга, глубокие раны на голове (ей накладывают тридцать швов), из-за перенесенного шока пострадала сердечная мышца.

Однако Ханна восстанавливается удивительно быстро. Уже через четыре дня она может ходить, сидеть, читать и даже воевать с всесильной старшей сестрой, которая никак не

может перестать называть Ханну "дорогушей". Наконец, 30 марта Ханну выписывают из больницы, потому что иначе, как говорит сама Ханна, она "сама бы от них удрала".

Озабоченная Мэри Маккарти спрашивает Ханну в письме, как идет восстановление, Ханна отвечает, что хоть она и выглядела вначале, как неудачная картина Пикассо, но сейчас все уже не так страшно. Волосы на голове ей сбрили, не хватает одного зуба, и на лбу шрам. Мэри советует ей купить парик. Но Ханна предпочитает, пока волосы не отрастут, носить черный платок.

31 марта 1962 года приговор Адольфу Эйхману приведен в исполнение, прошение о помиловании отклонено. Прах Эйхмана развеян над Средиземным морем.

Ханна отправляется в дачный домик в Паленвиль, чтобы наконец взяться за очерк для "Нью-Йоркера". Но прежде она читает протоколы допросов Эйхмана. "Я не помню, как часто я смеялась, — признается она позже, — но помню, что очень громко!" Статью о процессе Ханна пишет в состоянии "странной эйфории", испытывая при этом чувство облегчения. "Только никому об этом не рассказывай, — пишет она Мэри Маккарти, — может, это и есть неоспоримое доказательство того, что у меня 'нет души'"?

Эйхман и нет ему конца

"Банальное зло может уничтожить весь мир".

16 февраля 1963 года в журнале "Нью-Йоркер" появляется, наконец, первая из пяти статей Ханны Арендт, посвященных процессу над Эйхманом, под названием "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil"[1]. 16 марта, когда публикуется последняя статья из этого цикла, Ханны уже давно нет в Нью-Йорке. Она у Ясперса в Базеле, 23 февраля там отмечали его восьмидесятилетие.

"Твое счастье, что ты далеко", — пишет ей Генрих в Базель. У него, не переставая, звонит телефон, все хотят поговорить с Ханной по поводу ее статей об Эйхмане. Звонят в основном евреи, они возмущены этими публикациями, которые к тому же должны теперь выйти отдельной книгой. "Возникает впечатление, — пишет Генрих, — что все эти люди наступают единым фронтом". Еще раньше до Ханны доходили

1. "Эйхман в Иерусалиме: отчет о банальности зла" (*англ.*).

сигналы, что назревает скандал. В начале марта она получила письмо от Зигфрида Мозеса, бывшего Государственного контролера Израиля[1], в котором от имени Совета немецких евреев он объявлял ей войну.

Ханна пока еще воспринимает все это спокойно. Она "очень довольна", что ей удалось убежать ото всей шумихи. В Швейцарии и Германии до нее пока очень слабо доносятся отголоски той бури, которая поднялась в Нью-Йорке. Немецкий перевод книги о процессе над Эйхманом еще не появился.

В Кёльне, куда Ханна едет из Базеля, она выступает с чтением отрывков из своих статей, участвует в дискуссии, которую должны транслировать по радио. Ханна использует эту возможность, чтобы "донести свое мнение до немецкого правительства". Она выступает с резким протестом против того, что в послевоенной Германии бывшие нацисты могут продолжать делать карьеру, занимать высокие должности, что они не привлечены к ответственности за совершенные преступления. "До тех пор, пока эти господа не предстанут перед судом, – говорит Ханна в одном из более поздних интервью, – прошлое, несмотря на все разговоры, так и останется непреодоленным, или придется ждать до тех пор, пока мы все не умрем"[2]. В своих статьях об Эйхмане она пишет об этой ситуации, приводит конкретные примеры. Во время дискуссии в Кельне Ханна высказывается со всей прямотой. "Если то, что я действительно говорила, пустят по радио, – пишет она Генриху, – останется только сказать: ну и ну..."

В начале весны к ней в Европу приезжает Генрих Блюхер. Его пароход должен прибыть прямо в Афины. Ханна присоединяется к нему еще раньше, в Неаполе. Они хотят осуществить свое давно запланированное путешествие по Греции, а затем отправиться в Италию и на Сицилию. Генрих мечтал об этой поездке всю жизнь. Он в восторге от Афин. Генрих неутомим, много ходит пешком, осматривая античные памятники. "Мы живем тут 'легкой жизнью богов'" – пишет Ханна Ясперсам. С не меньшим удовольствием она сообщает, что они ничего не читают, ни книг, ни газет. Но в конце мая в Риме она уже по горло сыта музеями и раскопками. Ханна "объявляет забастовку" и хочет только "делать покупки, пить

1. Зигфрид Мозес (1887–1974) – лидер сионистского движения, один из крупных государственных деятелей Израиля.
2. Из разговора с Тило Кохом (в кн: Разговоры с Ханной Арендт. – Мюнхен, 1976. с. 40).

кампари и вино, много и вкусно есть". Однако, к сожалению, в Риме ее снова настигает Эйхман. "Здесь поднялся большой шум, — пишет она, — но меня это не слишком волнует"[1].

После остановки в Париже, где они навещают Мэри Маккарти, Ханна и Генрих в конце июня возвращаются в Нью-Йорк. Их квартира на Риверсайд-Драйв буквально завалена почтой. Почти все письма касаются статей Ханны об Эйхмане. Только теперь она по-настоящему осознает, что затронула пласт непроработанной, вытесненной еврейской истории. Пока Ханна отсутствовала, против нее развернулась целая "кампания", которая сейчас "в полном разгаре" — так она описывает ситуацию Ясперсам.

Действительно, еврейские организации буквально объявили Ханне Арендт войну. Лига по борьбе с дискриминацией (ADL) подготовила два меморандума против ее книги об Эйхмане. Ханна предстает в них предательницей еврейского народа, поскольку она якобы утверждает, что евреи не меньше виновны в холокосте, чем их убийцы.

Главным форумом для ее критиков становится журнал "Ауфбау". И вновь, как и в истории с Литтл-Роком[2], Ханну упрекают прежде всего за тон ее статей. Она "бессердечна", "бесчувственна", "холодна", "невероятно высокомерна", она охвачена лишь желанием быть любой ценой "оригинальной". Один из авторов даже утверждает, что Ханна Арендт "презирает людей".

Что же касается содержания, то критикуются прежде всего две вещи: сама формула "банальность зла" и трактовка роли юденратов[3] в Третьем рейхе.

Эти юденраты были признанными представительствами еврейских общин. Во время процесса в Иерусалиме Адольф Эйхман подробно описал, как тесно он с ними сотрудничал, организуя уничтожение евреев. Ханна использует его слова, чтобы показать, какую роль в холокосте сыграли главы еврейских общин. Таким образом она затрагивает, по ее словам, "самую темную главу в этой мрачной истории". Ханна Арендт приходит к выводу, что без активного сотрудничест-

1. Из письма Ясперсам от 29 мая 1963-го.
2. Речь о статье Ханны Арендт "Размышления по поводу событий в Литтл-Роке" (1957), посвященной расовым волнениям в Арканзасе. Статья также стала причиной скандала.
3. Юденрат — в годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления, создававшийся в принудительном порядке по инициативе германских оккупационных властей.

ва юденратов с властями нельзя было бы осуществить уничтожение евреев в таких масштабах.

В статье "Эйхман в Иерусалиме" она пишет об этом: "В Амстердаме и в Варшаве, в Берлине и в Будапеште нацисты могли быть уверены в том, что еврейские функционеры подготовят персональные и имущественные списки, переложат расходы за депортацию в места уничтожения на тех, кого депортируют, произведут учет всех освободившихся после депортации квартир и сообщат об этом в полицию, чтобы схватить, доставить к эшелонам и довести до печального конца как можно больше евреев, передадут имущество еврейской общины для планомерной конфискации".

Критики Ханны считают эти утверждения "клеветой и бессмыслицей", издевательством над жертвами холокоста. Они убеждены, что еврейских лидеров нельзя ни в чем заподозрить, а их сотрудничество с нацистами осуществлялось единственно для того, чтобы в этом безвыходном положении спасти то, что еще можно было спасти. Ханна в своем тексте учитывает этот аргумент, но ей он вовсе не кажется убедительным. Сотрудничать с врагами, чтобы "избежать худшего" — это для нее не форма сопротивления, а уловка для успокоения собственной совести, когда люди не желают признать, что давно уже играют по правилам врага. Ханна не согласна с утверждением, будто у евреев не было никакой возможности избежать катастрофы. Впрочем, она признает, что сопротивление в индивидуальном порядке было действительно "абсолютно бессмысленным". Для отдельного человека существовала лишь возможность уйти во "внутреннюю эмиграцию", чтобы не быть соучастником преступлений. Но на общий ход вещей такие "уходы" повлиять никак не могли. Разветвленную систему террора можно было разрушить лишь в случае организованного сопротивления на широкой основе.

Чтобы пояснить, что она имеет в виду, Ханна Арендт анализирует, как осуществлялось уничтожение евреев в разных европейских странах. В таких странах, как Румыния, находилось много добровольных помощников власти, проводящих в жизнь соответствующие приказы, в Дании же, Швеции, Италии нацисты столкнулись с существенными трудностями. И прежде всего события в Дании, как пишет Ханна, демонстрируют, "какая невероятная сила может проявляться в ненасильственных акциях и в сопротивлении во много раз превосходящему и обладающему мощными средствами насилия противнику". Датское правительство упорно сопротивлялось немецким приказам и в ответ на требование носить

шестиконечные звезды датский король объявил, что он сам первый наденет эту звезду.

Такое сопротивление, опиравшееся на большу́ю часть населения, имело удивительные последствия: немецкие оккупационные власти стали гораздо более сговорчивыми, они словно растерялись, перестали выполнять указания из Берлина и даже стали рассматриваться центром как ненадежные. Их "жесткость", по словам Ханны Арендт, растаяла, как масло на солнце. Это смягчение свидетельствует об одной из черт тоталитарной системы, на которую уже указывала Ханна Арендт в своей книге, посвященной тоталитаризму: каким бы жестоким и готовым к массовым убийствам ни был режим, он отступает, когда сталкивается с решительным и широким сопротивлением. Причина — в поразительной бессодержательности такой системы.

Именно эту бессодержательность Ханна Арендт наблюдала у Эйхмана и поэтому отказывается объявлять его чудовищем или бездушным монстром. В демонизации Эйхмана она видит угрозу — ему придают значительности, которой он не заслуживает, даже если речь идет о демонической силе. В результате может создаться впечатление, что мы имеем дело с темными силами, против которых люди бессильны, которым ничего нельзя противопоставить. Для Ханны Арендт за этими "темными силами" скрывается совершенно реальная организация, с которой можно и нужно бороться. Коллективная инициатива, по ее мнению, сильнее и действеннее, чем любая система террора, которая зиждется на приказе, подчинении и безответственности. Именно поэтому она называет Эйхмана "шутом гороховым", а зло, которое он олицетворяет, — "банальным".

В своем письме к Гершому Шолему[1] Ханна объясняет, почему считает правильным отказаться от понятия "радикальное зло", которым она оперировала в своей книге о тоталитаризме, и говорить о "банальном зле": "Я действительно пришла сегодня к убеждению, что зло всегда экстремально, но никогда не радикально, у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб. Глубоко и радикально всегда лишь добро".

Но для критиков Ханны, в том числе Гершома Шолема, уже само выражение "банальность зла" умаляет чудовищные

1. Гершом Шолем (1897–1982) — еврейский философ, историк.

преступления нацистов и невероятные страдания их жертв. И лишь тот, кто сам не испытал на себе нацистский террор, может выступить с такими легковесными утверждениями.

Критика Ханны Арендт не ограничивается газетными статьями. Предпринимаются попытки помешать выходу книги. Организуются публичные выступления. Эрнст Симон, профессор Иерусалимского университета, совершает поездки по американским университетам и старается настроить еврейские студенческие организации против Ханны Арендт. Главный обвинитель на процессе Эйхмана Гидеон Хауснер приезжает в Нью-Йорк, чтобы на собрании бывших узников концлагерей выступить против "чудовищной защиты Эйхмана, которую осуществляет Ханна Арендт". Лига против дискредитации евреев рассылает письма всем раввинам Нью-Йорка с призывом осудить Ханну Арендт. "Кажется, весь город только об этом и говорит", — пишет Ханне Вильям Шоун.

Но Ханна никак не отвечает на упреки, она убеждена: против нее ведется "политическая кампания", настоящая "охота", и дело уже совсем не в ее книжке, а в искаженном восприятии ее самой, в том, что ей создают определенный "имидж". Вместо того чтобы взглянуть в лицо историческим фактам, их просто отвергают. Но Ханна считает, что нелепо стараться объяснить всем, будто ее неправильно поняли и она имела в виду нечто совершенно иное.

Ханну поражает лицемерие многих знакомых. С глазу на глаз они заверяют ее, что восхищаются книжкой об Эйхмане, но отказываются защищать Ханну публично. Один из немногих, кто решается выступить в ее поддержку, — психолог Бруно Беттельгейм[1]. Но его выступление заканчивается скандалом.

Очень болезненно Ханна воспринимает и то, что многие друзья теперь ее сторонятся. Ханс Йонас[2] на целый год прерывает с ней отношения. Она глубоко страдает от того, что старинный друг Курт Блюменфельд умирает в мае в Иерусалиме, так и не простив ее. Незадолго до смерти Блюменфельда ему пересказывали ее тексты. Ханна убеждена, что, если б он прочитал их сам, его мнение было бы иным.

Ее по-прежнему безоговорочно поддерживают Мэри Маккарти, Карл Ясперс и, конечно, Генрих Блюхер. Генрих заяв-

1. Бруно Беттельгейм (1903–1990) — американский психолог и психиатр австрийско-еврейского происхождения.
2. Ханс Йонас (1903–1993) — американский философ немецкого происхождения.

ляет, что с удовольствием "набил бы морду" кое-кому из ее недругов, Ханна извиняет его тем, что, когда речь заходит о ее защите, он ведет себя весьма старомодно. При этом Генрих забывает, что ему уже шестьдесят четыре, и здоровье у него не самое лучшее. Он часто жалуется на усталость, временами ему трудно двигаться. Из-за кампании, развернутой против Ханны, Генрих впадает в депрессию. Она теперь старается не оставлять его на длительное время. Но все это совершенно незаметно, когда он читает лекции и ведет семинары. Мэри Маккарти навещает Генриха в Бард-колледже и выслушивает восторженные отзывы студентов, которые уверены, что каждая его лекция лучше предыдущей.

Мэри глубоко возмущают нападки на подругу. Она пишет, что постепенно они принимают очертания "самого настоящего погрома". Ей хочется помочь Ханне "не только словом, но и делом". В конце концов, она пишет двенадцатистраничную статью, которую в январе 1964 года публикует журнал "Партизан Ревью". К этому времени Мэри уже очень известна в мире литературы. Ее новый роман "Группа" за короткое время становится номером один в списке бестселлеров. Несмотря на этот невероятный успех, книгу серьезно критикуют американские коллеги Маккарти. На роман пишут пародии. Норман Мейлер[1] называет ее книгу дамским романом, из тех, о которых тайно мечтают издательницы женских журналов. После этой атаки Мэри легко себе представить, каково сейчас Ханне. Она рада будущей встрече и надеется, что вместе они смогут "насладиться своим изгойством". Карл Ясперс также собирается публично выступить в защиту Ханны. Он даже задумывает книгу, в которой на примере ее очерка об Эйхмане хочет показать феномен "независимого мышления". Ясперс опасается за душевное состояние Ханны, "которая на самом деле вовсе не такая толстокожая". Ему кажется, что даже ее жизнь может подвергаться опасности, и он советует ей нанять телохранителя. Хотя Ясперс сам женат на еврейке, он не может понять, почему против Ханны ведется такая громкая кампания. Он считает книжку об Эйхмане великолепной. "Как бесконечно наивно, — пишет он, — не замечать, что, предъявив миру эту книгу, Ханна борется с 'самообманом'".

Ясперс боится, что книга вызовет бурю и в Германии, поскольку Ханна весьма критически относится к немецкому Со-

1. Норман Кингсли Мейлер (1923–2007) — американский писатель, журналист, кинорежиссер.

противлению. Она задается вопросом, было ли у Эйхмана нечто наподобие совести и попутно объясняет, что отнюдь не все противники Гитлера руководствовались велениями совести. Только некоторые отдельные борцы или группы, такие, например, как "Белая роза"[1], боролись против Гитлера и нацистов, потому что действительно испытывали к ним отвращение. Так называемые "люди 20 июля"[2] во главе с графом Штауфенбергом выступили против Гитлера вовсе не по принципиальным соображениям. Их интересовала политика: предвидя поражение Германии, они хотели создать благоприятные условия для переговоров с победителями. То, что в общепринятом смысле называют совестью, считает Ханна, "в Германии было фактически утеряно".

Ясперс оказался прав в своих опасениях. В январе 1964 года, еще до выхода немецкого издания, историк Голо Манн[3] выступил с разгромной статьей в еженедельной газете "Ди Цайт". "Характеристика, которую Ханна Арендт дает Сопротивлению, — пишет Голо Манн, — содержит самые возмутительные, клеветнические высказывания, которые когда-либо делались по поводу этого движения".

У Ханны теперь часто возникает чувство, что она не в силах противостоять этим нападкам. И даже физически, ведь для того чтобы реагировать на все обвинения, ей нужен целый штаб сотрудников и секретарей. И все же молчит она не из-за этого. Ханна чувствует, что не в состоянии участвовать в этом публичном спектакле, ей это "отвратительно".

Единственной отдушиной для Ханны остается профессорская деятельность. С осени 1962 года она преподает в университете Чикаго, где для нее создают идеальные условия. Она может преподавать лишь один семестр и сама выбирать, какие семинары и лекции проводить. Работая со студентами, которые ничего не имеют против нее, она вновь обретает силы, приходит в себя после скандалов, вызванных книгой об Эйхмане. Ее авторитет в университетском мире постоянно растет. Ханна буквально завалена приглашениями выступить с докладом. И повсюду, где она появляется, пишет Ханна Ясперсам, ее встречают овациями.

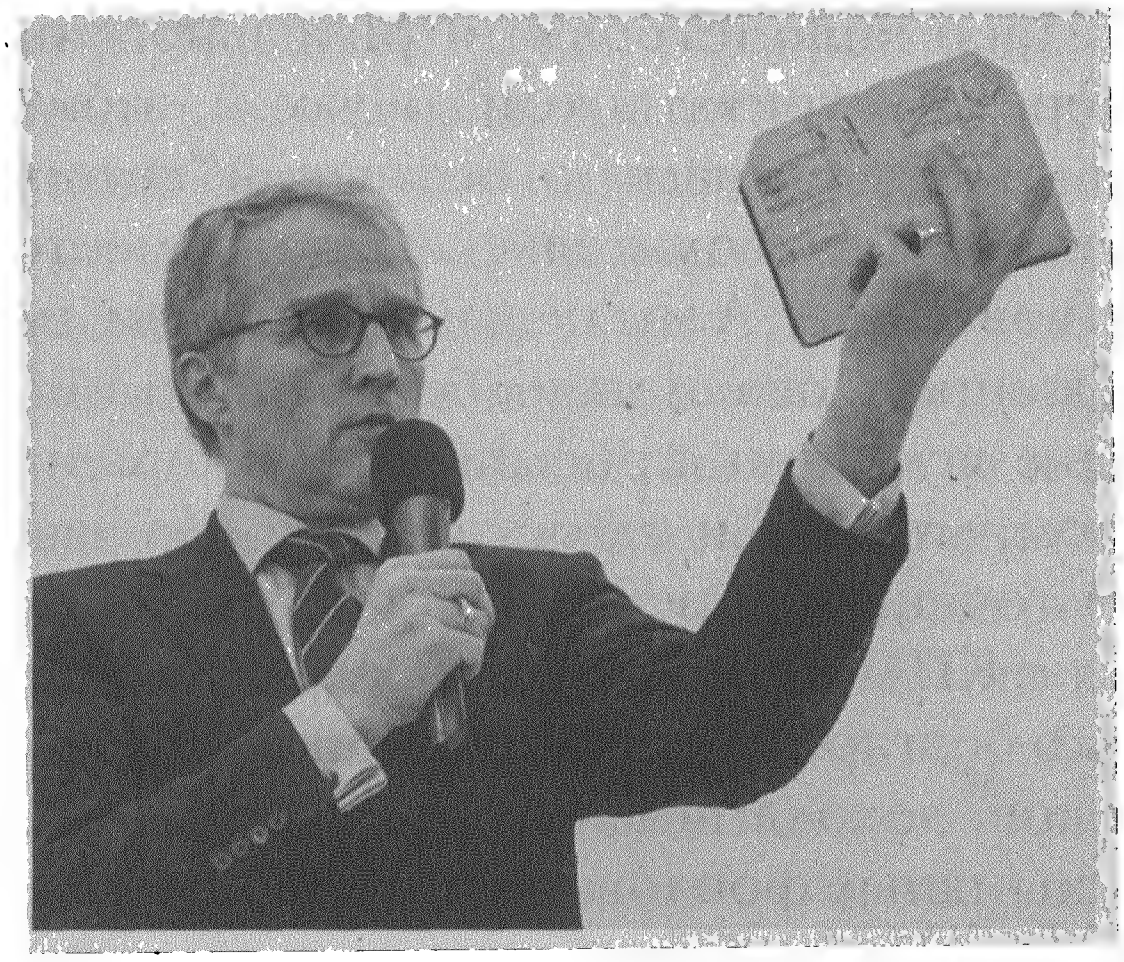
1. "Белая роза" — подпольная группа Сопротивления в Третьем рейхе. Действовала с июня 1942-го по февраль 1943 г.
2. Имеются в виду участники заговора против Гитлера, подготовившие покушение 20 июля 1944 г.
3. Голо Манн (1909—1994) — немецкий историк и эссеист, второй сын Томаса Манна.

22 ноября 1963 года все теле- и радиопередачи прерываются экстренным сообщением. На американского президента Кеннеди в Далласе совершено покушение. Он смертельно ранен. Ханна узнает эту новость в клубе Чикагского университета, где они обедают вместе с Мэри Маккарти. Мэри приехала в Нью-Йорк, чтоб уладить дела со своей книгой, и навещает Ханну. Услышав о покушении, некоторые студенты плачут. Впрочем, эту новость в Америке восприняли по-разному. Ханна узнает, что в южных штатах известие о покушении на "негритянского угодника" встретили с восторгом.

Кеннеди умирает в тот же день. Для Ханны это трагедия. В своей книге о революции, вышедшей в 1963-м, создание Соединенных Штатов Америки она описывала как величайшее событие в истории. Американскую конституцию Ханна назвала грандиозным документом. Она ждала, что новый стиль в управлении поможет Кеннеди возродить те идеи, которые были заложены отцами-основателями. После смерти Кеннеди Ханна не видит никого, кто бы мог занять его место. "Мэдисон, Гамильтон, Джефферсон Джон Адамс – какие это были люди! Не чета сегодняшним!"[1].

1. Из письма Ясперсу от 16 ноября 1958 г.

Рюдигер фон Фрич



Штемпель в свободный мир

Главы из книги

Перевод Михаила Рудницкого

Хуберте — а также Александру,
Максимилиану, Мари,
Тильману и Фридриху-Карлу

Калотина, 6 июля 1974

СПОКОЙНО, только спокойно. Ты же не впервые пересекаешь здесь границу. С какой стати они должны что-то учуять?

Но все равно — в машине тишина мертвая, ни словечка, ни шутки, чтобы разрядить напряжение. Напряжение, которое нагнеталось все последние месяцы, а со вчерашнего дня, когда мы с Буркхардом, моим старшим братом, выехали из Мюнхена, просто перехватило горло и стискивает все силь-

С любезного разрешения Господина Рюдигера фон Фрича, Посла Германии в России.

© Михаил Рудницкий. Перевод, 2015

ней. Буркхард рядом, за рулем, он и сейчас лучше владеет собой. Но на душе-то у него наверняка тоже кошки скребут. Уже совсем скоро ему, как и мне, предстоит миновать рубеж паспортного контроля на болгарской границе.

За спиной у нас 1300 километров изнурительного автопробега — сперва через Австрию, потом по узкой, забитой, усеянной рытвинами и колдобинами югославской "автостраде". У Буркхарда хоть какой-то водительский стаж имеется, у меня его считай что вовсе нету. А мы целый день ехали, ночевали в машине в спальниках, спали мало, беспокойно, встали разбитыми. Я вообще всю ночь просыпался, разбуженный очередным кошмаром, мутным и тягостным. Но сейчас мы оба начеку и сосредоточены до предела.

Вереница машин к КПП между Димитровградом и Калотиной на югославско-болгарской границе тащится еле-еле. Фуры дальнобойщиков, доходяги-малолитражки, отрада неимущих студентов, солидные фордовские междугородние автобусы-экспрессы, перегруженные багажом многочисленных пассажиров, что едут к себе на родину, в Турцию.

Наша машина не лучше и не хуже других. Двое парней, по сути, еще юноши — одному двадцать, другому двадцать два. Едут в маленьком красном "опеле-кадете", судя по всему, на каникулы в Турцию, а может, и дальше. В те годы, когда молодежь в массовом порядке паковала рюкзаки и автостопом отправлялась куда-нибудь в сторону Катманду или на поездах через всю Европу, а нередко и к морю в Турцию, такое было в порядке вещей. В машине обычный туристический бардак, спальники, продукты, инструменты, запчасти, шмотки, дорожные карты.

Впрочем, если приглядеться повнимательней, шмоток в машине для двоих, пожалуй, многовато. Три дешевых армейских вещмешка, целый ворох брюк и рубашек, спальников тоже явно больше, чем нужно. Но мы, разумеется, готовы все объяснить. Что-то прихватили на подарки, что-то на случай холодов, да и вещи все старые, порваться могут. А что, звучит вполне правдоподобно.

Зато чего никакими силами не объяснить — это зачем нам три лишних заграничных паспорта, припрятанных в машине. Три зеленых западногерманских паспорта, по одному на Тома и двоих его друзей. Зелененькие паспорта на имя Тома, Бернда и Максимилиана, которые въедут в Болгарию вовсе не из Мюнхена, а из разных районов ГДР — из Тюрингии, из-под Магдебурга, из Лейпцига. Которые, если все прошло по плану, вот уже двое суток дожидаются нас на черноморском побережье. У которых паспорта вообще-то есть, но не зеле-

ные, западногерманские, а синенькие, гэдээровские. Которые этих трех зеленых паспортов ждут не дождутся, чтобы завтра же вместе с нами из Болгарии перебраться в Турцию, из диктатуры на свободу, "за бугор", в другую Германию.

Мы оба, Буркхард и я, прекрасно знаем: если эти паспорта найдут, нам и объяснять-то ничего не придется. Все и так слишком очевидно. Три паспорта не на наши имена, в которых к тому же уже оттиснуты въездные штемпеля болгарской пограничной службы, хотя границу мы еще не пересекали. Штемпеля добротные, почти совсем как настоящие — но только на первый взгляд. На самом деле вырезаны они не ахти как, да и под ультрафиолетом, если начнут проверять, не засветятся. И заклепки, которыми закреплены фотографии, чуть толще и грубей стандартных — потому что сами фотографии подменены.

Зато если паспортов не найдут — все должно сработать. Тогда мы с Буркхардом покатим дальше, ночь напролет будем ехать, до самого побережья. Встретимся в условленном месте с Томом, Берндом и Максимилианом, отдадим им паспорта, рюкзаки и излишки нашего багажа. И превратим их в наших земляков, обыкновенных западногерманских ребят, которые надумали из ФРГ автостопом махнуть в Турцию. Им, правда, придется за одну ночь назубок выучить свои новые биографии. Вместе с ними мы доедем до турецкой границы, вместе с ними покинем пределы социалистического лагеря. Это должно произойти завтра, во второй половине дня, а точнее — около четырех часов. Не раньше, но и не позже.

Ибо завтра — финал. И как раз в четыре матч будет в самом разгаре.

Воскресенье, 7 июля 1974 года. Дата выбрана идеально. Завтра в Мюнхене — финальный матч чемпионата мира по футболу, ФРГ — Голландия. Весь мир прильнет к экранам телевизоров, на худой конец — к динамикам радиоприемников. И болгарские пограничники тоже. И именно в этот час какие-то немецкие ребята подъедут к КПП в намерении пересечь границу. Разумеется, желая попутно узнать, как идет игра: азарт болельщиков должен перекрыть волнение нарушителей границы. Общая любовь к футболу способна сблизить самых разных людей и сгладить самые непримиримые противоречия.

У нас все продумано, все до мелочей. Свести риск к минимуму, а шансы на успех к максимуму — это был главный принцип всех наших расчетов. У нас за спиной — девять месяцев подготовки, а перед нами — только эти два КПП; с запада через Югославию шмыгнуть в Болгарию, а из Болгарии выныр-

нуть на Востоке, в Турции. Все остальное неважно, все остальное ерунда. Ибо там, по ту сторону другой болгарской границы, мы, хотя и будем на Востоке, уже снова окажемся "на Западе", вырвавшись из социалистической Болгарии, очутимся в Турции, которая как-никак член НАТО. Такая вот в нынешнем биполярном мире парадоксальная география.

Граница все ближе. Надвигается неотвратимо и мучительно медленно.

А если все-таки влипнем? "Пособничество бегству из республики", "противозаконная торговля людьми" — таковы "составы" наших преступлений на юридическом жаргоне ГДР. Что нас ждет — болгарская тюрьма или выдача властям ГДР? Какая мера наказания? Есть вещи, о которых и не спросишь никого, их только на себе опробовать надо. Впрочем, в тот же день, 6 июля 1974 года, воскресные издания западногерманских ежедневных газет сообщают: за пособничество бегству окружной суд города Шверин приговорил западноберлинца Петера Штрауха к девяти годам лишения свободы — наказание необычайно суровое по сравнению с обычными сроками в три, четыре года, которые чаще всего дают за такое. Газеты в эти месяцы изобилуют сообщениями о неудавшихся попытках побега и приговорах участникам и пособникам. Волной судебных процессов и суровых вердиктов власти ГДР пытаются очередной раз запугать тех своих граждан, кто вознамерился покинуть страну.

Если сцапают нас, то наверняка арестуют и троих друзей, слепо положившихся на нас, безоглядно вверивших свои судьбы в наши руки, поставивших на карту все свое будущее. Их-то уж точно болгары выдадут, а в ГДР мгновенно засудят и посадят. И только если очень повезет, их, может быть, когда-нибудь выкупят, ибо на самом-то деле противозаконной торговлей людьми занимается как раз правительство ГДР: за солидные отступные в твердой валюте оно некоторых политических заключенных выпускает. До 1989 года руководство ГДР подобным образом продало в ФРГ 33 тысячи своих граждан, заработав на этом 3,4 миллиарда западногерманских марок.

Что ж, хотя бы перспектива выкупа имеется. Только вот какой ценой?

Спокойно, только спокойно. Мы въезжаем за ограждение КПП. Югославская сторона не проявляет к нам особого интереса, зато с тем большим рвением обнаруживает его болгарская. Шлагбаумы, вывески, пограничники. Действия и процедуры, столь же неминуемые, сколь и непонятные. Шлагбаумы опустились и спереди, и сзади. Ловушка первый

сорт. "Добро пожаловать в Народную Республику Болгарию" — приветствуют нас на разных языках огромные транспаранты; счастливые рабочие и крестьяне, запечатленные в едином для всего соцлагеря железобетонном стиле социалистического реализма, радостно машут нам с поблекших от солнца и времени плакатов.

Болгарский пограничник заглядывает в открытое окно нашей машины: бесстрастное лицо, невнятное приветствие.

— Паспорта, пожалуйста.

Неужели он не видит, что у меня сердце буквально выпрыгивает из груди? Паспорта переданы в окошко, исчезают где-то под стойкой. Что там с ними делают? Сверяют по спискам? Может, нас уже объявили в розыск? Чушь! Не могут они знать, что мы задумали. Стандартные вопросы. Куда? Зачем? Для проформы. Еще один взгляд в машину. Для проформы. Нам возвращают паспорта, пограничник взмахом руки пропускает машину. Обычные туристы, ничего подозрительного, дополнительная проверка не требуется.

Спокойно, только спокойно, мы еще не совсем въехали. Еще одна остановка, обмен "обязательного минимума" валюты, наших западных марок на болгарские левы, — по сути, принудительный отъем денег, а потом еще и покупка талонов на бензин. Трогаемся дальше. Выехали за пределы КПП. Еще один поворот — и нас уже не видно.

Вопль! Ликующий вопль облегчения, кулаки молотят по панели приборов, словно мы только что стали чемпионами мира. Это разрядка неимоверного напряжения. "Прорвались!"

Мы тормозим, тискаем друг друга в объятиях. И не упомнить, когда мы с братом в последний раз обнимались. Зато теперь вот эта вновь обретенная близость — она уже навсегда.

Для порядка я на всякий случай решаю пролистнуть свой паспорт, глянуть на транзитную визу, которую нам только что проштемпелевали. Открываю, и в тот же миг понимаю: все зазря!

Все зазря! Все наши ухищрения, вся столь безупречно спланированная "операция" — всё псу под хвост! Кранты. Полная хана.

— Эти гады поменяли цвета! — ору я в бессильной ярости. — Ты только посмотри!

Не веря себе, мы таращимся в наши паспорта. Да, вот они, два болгарских въездных штемпеля, знакомый прямоугольный формат, все строчки на месте, и число сегодняшнее. Но: левая половина прямоугольника зеленая, правая

красная. А за две недели до этого, когда мы совершали последний контрольный въезд, цвета, как и во все предыдущие разы, были другие: верхняя половина голубая, нижняя лиловая. В точности как в тех трех паспортах, что припрятаны у нас между автомобильными картами и которые теперь ни на что не годятся. Все остальное в полном ажуре: те же страницы, то же место в паспорте, та же структура самого штемпеля, сегодняшнее число и даже приписка шариковой ручкой на кириллице: "автостоп". Все как надо — кроме цвета штемпеля. Хана. Полная хана.

Томас

8 октября 1973-го — девятью месяцами раньше...

После выпускных экзаменов я три с лишним месяца путешествовал по Северной Америке: навещал дедушку с бабушкой и нашу многочисленную родню на западе Канады, на автобусе проехал через всю Америку до самой Мексики. Тем приятнее было снова оказаться дома.

В моей комнате на столе солидная стопка писем, штук сорок, если не все пятьдесят. Оно и понятно: после сдачи экзаменов нехватка прежнего активного общения в интернате вылилась в переписку. Первые весточки от ребят и девчонок об их первых шагах по целине самостоятельной жизни. И ответы на мои письма, которые я слал во время своего долгого путешествия.

Столько знакомых адресов, почерков... Но кто такая Маргарет Шаллер? Ее письмо из маленького городишки на Рейне оказалось в самом низу. Я вскрыл его последним.

Я подруга матери Тома. С давних пор я довольно часто провожу отпуск в Бад-Бланкенбурге и прекрасно осведомлена о всех прелестях тамошней жизни.

Еще с прошлого года Томас начал подумывать бежать на Запад. А сейчас, после окончания школы и неминуемого призыва в армию, он еще больше укрепился в своем намерении... Но не знает, как ему быть и что делать. Единственная его надежда — на нашу помощь...

Томас...

Мы познакомились двумя годами раньше, летом 1971-го. Мне было семнадцать, и на каникулы меня отправили к родным в Тюрингию, в Бад-Бланкенбург. Для нашей семьи такая поездка была самым обычным делом. До меня туда ездили

мои старшие брат и сестра, Буркхард и Хайди, ну и, конечно, родители, они-то часто. Перед Рождеством мы посылали туда все необходимые ингредиенты для праздничного кекса, ну и всякие западные "дефициты", которых в ГДР или совсем не было в продаже, или они были неважного качества, и уж конечно их можно было купить только в строго дозволенном количестве. По большей части посылки доходили благополучно, хотя нередко было видно, что их вскрывали, в них рылись: порванная подарочная бумага, растрепанные мотки шерсти, отпечатки пальцев на креме "Нивеа".

Поездки с Востока на Запад были практически невозможны — выпускали только пенсионеров, и за очень высокую плату, — да и с Запада на Восток поехать было затруднительно. И все же: если у вас были в ГДР родственники, им разрешалось раз в году на месяц вас к себе пригласить. И родственники эти почему-то снова и снова изъявляли желание этим своим правом воспользоваться: "Рюдигеру в этом году шестнадцать исполнится. Может, он приедет к нам будущим летом?"

Две недели в Тюрингии — это вместо Адриатики или Южной Франции... И все это самопожертвование ради поддержания каких-то родственных связей, по настоянию "предков"? Разумеется, инициаторами этих наших поездок всегда был отец (он родом из Дрездена) ну и тамошние семьи его двоюродных братьев. Но я лично охотно поехал "в зону". Хотелось не только познакомиться с родственниками — в ФРГ двоюродных братьев и сестер моего возраста у меня не было, — но и вообще разбирало любопытство посмотреть, на себе прочувствовать эту самую ГДР. Она всегда была так близко — и так далеко, и столько всего про нее сообщалось и рассказывалось удивительного и странного.

И вот, наконец, все, что нужно для поездки, у меня собрано: приглашение, разрешение на въезд, разрешение на выезд. В парикмахерской на вокзале в Нюрнберге я расстаюсь с роскошной шевелюрой: если нет сходства с паспортной фотографией, могут и не пропустить. А длинные волосы в семидесятые годы были необходимым атрибутом всех "классных чуваков", кто стригся коротко, автоматически становился чужаком. Длинными космами можно было вызвать негодование старшего поколения, а это же самый смак. Вот и я тоже отрастил себе волосы такой длины, что их можно было перехватывать повязкой. Впрочем, моя мама только и заметила, что мне это совсем не к лицу (и в отношении моих лохм была совершенно права), но смирилась, а отец вообще счел, что это отличная идея: почему бы не испробовать что-то новень-

кое? Такая реакция предков как-то сразу лишила мой длинноволосый имидж особого смысла, во всяком случае, в разгар лета, когда и без того жарко, я без сожалений расстался с пышной копной волос, укоротив их до длины, в равной мере приемлемой как для меня, так и для гэдээровских пограничников.

На немецко-немецкой границе меня любезно избавили от свежего номера еженедельника "Ди Цайт" — "это вам лучше оставить у нас". Провоз в ГДР каких-либо печатных изданий, хотя бы отдаленно наводивших на мысль о возможности свободы слова, был категорически запрещен. Газеты не разрешалось использовать даже в качестве оберточной бумаги. "Ввиду действующего на территории ГДР запрета на ввоз газет и журналов, не значащихся в списке печатных изданий ГДР, рекомендуется для внутренней и наружной упаковки пользоваться только бумагой без буквенно-печатной символики. (Запрет не распространяется на упаковочную и подарочную бумагу с рисунками и орнаментом.)" Так поучала многостраничная "Инструкция по формированию подарочных отправлений в ГДР и Берлин (Восточный)", выпущенная правительством ФРГ.

Я удивительно быстро оказался в тюрингском Заальфельде, где у меня была пересадка. Первая неожиданность: полное отсутствие привычной рекламы на вокзале. Вместо этого маленькие, неброские, чуть ли не стыдливые вывески, деловитым, в стилистике еще довоенных времен шрифтом извещавшие о "сберкассе" и "модной обуви". До чего беспомощные фразы, до чего блеклые, какие-то грязноватые плакаты по сравнению с яркими, кричащими зазывами западной рекламы тех лет, выдержанной в духе "флауэр-пауэр" и поп-арта. Да и зачем что-то рекламировать в условиях экономики, продукции которой неведома конкуренция?

Вообще краски: все будто покрыто серым налетом — штукатурка домов, выдохшаяся охра или чахоточная голубизна малолитражных двухцилиндровых "трабантов", упаковочная бумага в магазинах. Даже люди — и те словно какие-то серые. И уж совсем необычно — огромные транспаранты пропагандистских лозунгов. Это было настолько для меня ново, настолько дико по стилистике и лексике, что я немедленно запечатлел некоторые на фотоснимках. "VIII съезд СЕПГ — очередная веха построения социализма в ГДР". Каждая буква сияла таким нестерпимо алым цветом, словно его собирали по всей республике.

Когда я приехал в Бад-Бланкенбург, оказалось, что мой двоюродный брат и почти ровесник (он на год младше) То-

мас в больнице — аппендицит. Его мать объяснила мне дорогу, и я с привезенными фруктами в руках отправился на другой конец городишки его навещать. И снова сюрприз: со мной то и дело заговаривают совершенно незнакомые люди. "Это где же бананы дают?!" Или позже, в бассейне: "Где это ты отхватил такие штиблеты и джинсы? Ах вон оно что — ты с Запада..."

После войны родители Томаса остались в Тюрингии. Его отец, дядя Вильгельм, не мог, да и не хотел ни бросать свою мать, ни заставлять ее уезжать из родных мест. В Бад-Бланкенбурге он унаследовал богатый дом с большим садом и вовсе не намерен был его лишаться. Дом им позволили сохранить — только во что к этому времени он превратился! Вся сантехника и так называемые удобства еще довоенных времен, деревянные балконы (в свое время дом был выстроен в стиле швейцарского шале), казалось, в любую секунду готовы обрушиться. И это при том, что семья всеми силами старалась дом спасти и сохранить. Но в ГДР, где даже снабжение товарами повседневного спроса функционировало с большими трудностями, а уж запчастей и стройматериалов не хватало катастрофически, удел частного домовладельца был особенно незавиден. Газеты пестрели объявлениями с предложениями об обмене весьма странного свойства (власти, доколе возможно, на эти странности закрывали глаза). Изумляло обилие предлагаемой голубой кафельной плитки: в обмен на нее люди желали получить новую резину для "Вартбурга", клетки для кроликов, водопроводные краны и смесители. Под голубой плиткой подразумевались купюры достоинством в сто западных марок.

У семьи Томаса голубой плитки не было, да и вообще жилось им несладко. За пожилой матерью нужно было ухаживать, а тетя, тоже жившая в доме, зарабатывала главным образом продажей овощей и фруктов, которые выращивала в саду, и кроликов, которых держала в сарае. У нее каждый пфенниг был на счету. И хотя каждое из своих растений она могла назвать по латыни (плоды классического образования довоенной поры), проку от этого было немного.

Каникулы я провел замечательно — совсем иначе, чем обычно. Все было просто, но очень радушно и как-то по-человечески тепло. Долгие беседы с дядей Вильгельмом, отцом Томаса: умный, тонкий, образованный человек и очень искренний. Горечь оттого, что все сложилось так, как сложилось: что он не там, где надо, по другую сторону границы, "в зоне". Где он "собственник" и "потомок юнкерского рода", который не побоялся крестить и конфирмировать всех сво-

их детей, который о своем военном прошлом рассказывал так, словно только вчера с фронта пришел. У него было высшее сельскохозяйственное образование. В 1950 году он вернулся из плена и сразу направился "трудоустраиваться". "Барон фон Фрич? Сельское хозяйство? Ну нет, об этом забудьте". И он стал истопником при спортзале. Но даже и там ему нет-нет, да и напоминали, как бы между прочим: "Радуйся, что у тебя хоть такая работа есть, Вилли!"

Не то чтобы эта семья чувствовала себя более ущемленной, нежели другие, которые тоже не вполне подходили под социалистический ранжир. "Просто надо знать свой шесток", — любил повторять дядя Вильгельм. Само по себе благородное происхождение еще не было клеймом, больше того, в глазах людей это иной раз рождало завышенные ожидания. Томас потом, уже в школе, это заметил: одноклассники нередко именно от него надеялись услышать веское слово протеста.

Разумеется, Вильгельм Фрич мог бы достичь большего, подняться выше — но он не хотел приспосабливаться, применяться. И детей в том же духе воспитывал. Конфирмация? Обязательно. Официозный государственный обряд "посвящения в юность" — нет! Томас настаивал. Другим-то можно! Такой красивый праздник! В конце концов отец сдался. Но стать "юным пионером"? Нет. Так что, пока все его товарищи, повязав красные галстуки, отправлялись куда-нибудь на пионерскую экскурсию, Томас вынужден был торчать на уроках в параллельном классе. Впрочем, и в этом отношении отец все-таки пошел на уступку, хотя и совсем не сразу. И лишь в одном пункте — когда на Томаса начали давить, настойчиво предлагая вступить в ОГСД — "Общество германо-советской дружбы", — он встал насмерть. Хотя в обществе этом состоял каждый, это был, так сказать, обязательный минимум участия в общественной жизни. В итоге по этому поводу в дом даже пожаловали учителя. Но только однажды. Вот когда Вильгельм Фрич с радостью воспользовался возможностью порассказать о своем пребывании в советском плену. "Русские замечательные люди, знаете ли, но..."

С Томасом у нас как-то сразу возникло полное взаимопонимание, и мы много времени проводили вместе. Простейшие каникулярные радости — то в бассейн искупаться сходим, то просто за мороженым, — я, кстати, сразу же горько пожалел о том, что рассказал младшей сестренке Томаса, сколько у нас самых разных сортов этого лакомства, не только шоколадное, клубничное и сливочное. Она, конечно, тут же с восторгом и завистью рассказала об этом маме, и той пришлось прило-

жить немало усилий, чтобы утешить десятилетнюю дочурку. И в кино мы с Томасом ходили, и осматривать старую шахту. *И хотя росли мы в очень разных обстоятельствах, воспитание* наше оказалось во многом схожим. Так что связывали нас не только узы семейного родства, доставшиеся нам от наших "предков" и сами по себе отнюдь не гарантирующие душевной близости. Нет, это была несомненная взаимная симпатия, ибо мы очень скоро убедились, что на многие вещи смотрим одинаково. Как и я, Томас интересовался политикой, и его откровенно разозлили пышные торжества, которыми в августе 1971 года, как раз во время моего приезда, отмечалась по всей ГДР, в том числе и у них в городке, "десятая годовщина возведения социалистического защитного вала", то есть Берлинской стены. Да-да, это был настоящий праздник, с музыкой, торжественной речью какого-то майора Национальной народной армии, но при скоплении весьма скептически настроенной публики. Мне все это показалось каким-то театром абсурда, завершившимся вечером бурной дискуссией в кругу семьи. Здесь все политические вопросы обсуждались непримиримо и открыто, говорилось о наглой пропагандистской лжи, об отвратительном снабжении, об отставании перед Западом. Хотя все это не отрицало гордости за достижения, добытые столь дорогой ценой.

Помимо всего прочего нас с Томасом связывал и общий интерес к истории вообще и к истории нашего рода в частности. Оказалось, у него есть исторические документы, которые, как он считал, гораздо надежнее хранить на Западе. Однако просто так провозить подобные вещи через границу не разрешалось. Поэтому, отправляясь обратно домой, я для надежности сунул их в газету "Нойес Дойчланд", орган СЕПГ.

Но перед тем, после десяти дней в Бад-Бланкенбурге, меня еще забрал к себе дядя Карл, брат Вильгельма, обретавшийся неподалеку от Лейпцига. Судя по всему, жилось ему получше, у него даже была своя машина, старенькая "шкода". Отец попросил его свозить меня в несколько мест, связанных с прошлым нашей семьи. Дядя Карл с удовольствием согласился. Едва выехав, мы надолго встали перед железнодорожным переездом: ждали, пока проедет бесконечный товарный состав с советскими военными автомашинами. "Русским здесь все позволено. Видел бы ты, во что они превращают наши поля и леса своими танками", — с горечью заметил дядя, и тут же поделился со мной одним из политических анекдотов, которым в ГДР не было числа. "Почему мы называем наших советских товарищей 'братьями', а не 'друзьями'? Потому что друзей выбирают, а братьев нет".

Дома у дяди Карла я познакомился с другими своими двоюродными братьями — Удо и Роландом. И с ними контакт установился сразу же. Как на чем-то само собой разумеющемся мы сошлись на темах Восток-Запад, о недостатках здесь и преимуществах там. Причем вовсе не обязательно речь шла о каких-то глобальных вещах — свобода слова, права человека, свобода перемещения и т. д. Нет, о самых обыкновенных: почему они не имеют возможности покупать западные грампластинки с модной западной музыкой и почему музыка здешних групп такая скучная. И все это в том же, что и у Томаса, саркастическом тоне.

За завтраком, по торжественному случаю, приготовили настоящий, в зернах, кофе — роскошь, которую мои родные в Бад-Бланкенбурге себе позволить не могли. Потом на "шкоде" в Веймар, где долго обитали предки нашей семьи. Мы посетили последних родственников, которые еще там оставались. Веймар мне понравился — в отличие от Дрездена, куда мы тоже наведались: серый, тоскливый город безликих послевоенных новостроек. Знаменитая Фрауэнкирхе еще являла собой груду камней и щебня, замок — сплошные руины, даже опера еще не была отстроена заново. В Дрездене тоже жила наша престарелая родственница. Там же я увидел, во что превратился родной дом отца: заброшенный пустырь и развалины.

И, наконец, как кульминация всей поездки: огромная куча битого кирпича и штукатурки. Зеерхаузен, наше фамильное имение, взорванное в 1948 году. На единственной в деревне улице немедленно появилось местное начальство — взгляд недоверчивый, глазки настороженно бегают. Некто Герберт Мёле, бургомистр и секретарь парторганизации в одном лице, "а вдобавок наверняка еще и агент 'штази'", — как успел прокомментировать дядя Карл. Это еще одно неизбывное восточногерманское впечатление: "штази", то бишь госбезопасность везде и всюду. Неизбежные расспросы: кто мы такие, зачем приехали, что тут такого интересного можно разглядывать... Зато в 1989-м тот же Герберт Мёле на голубом глазу заявил моему отцу: "Ты же знаешь: в глубине души я всегда был верен национальному немецкому духу!" Как хочешь, так и понимай... Еще до воссоединения Германии, когда отец стал наведываться в Зеерхаузен, привозя с собой то пакетик кофе, то еще что-нибудь из западного "дефицита", бургомистр с каждым разом встречал его все теплее. И почти всякий раз в качестве ответного сюрприза в руках у него объявлялась какая-нибудь вещица из фамильного поместья — то книга, то несколько салфеток, ложечка. Все это Герберт Мё-

ле, по его словам, перед самым взрывом “на всякий случай прибрал”, дабы, как он теперь давал понять, “сберечь для хозяев”.

Перед отъездом мне пришлось вступить в неприятное соприкосновение с государственной властью. В плавательном бассейне я потерял свое удостоверение личности. С какой стати я вообще его с собой взял, понятия не имею. Этот внутренний документ ни для въезда в ГДР, ни для выезда обратно домой совершенно не требовался, нужен был только загранпаспорт с проштемпелеванной визой. Вероятно, проще всего было о потере удостоверения вообще не заявлять. Однако родственники сочли, что для порядка, на всякий случай, лучше заявить — вдруг его кто-нибудь найдет и сдаст куда следует. Короче, пришлось мне идти в отдел регистрации, где меня отчитали в лучших авторитарно-бюрократических традициях. Да как я мог себе такое позволить, и о чем только думал, и как теперь со мной вообще быть — словом, обычный набор подозрений, передергиваний, запугиваний, пущенный в ход с удвоенным усердием при виде строптивости этого нахального западногерманского юнца, который еще что-то смеет вякать. А я про себя решил, что ничего они со мной не сделают, не станут же здесь оставлять.

Наконец, последнее, что осталось перед отъездом — потратить обмененные деньги. На каждый день пребывания в ГДР я обязан был обменять по пять западногерманских марок, по курсу один к одному и без права обратного обмена. Только вот незадача: что купить в ГДР на эти 70 марок? Я разыскал в магазине грампластинок диск с классическими записями из истории джаза, купил кое-что из книг, сувениры на память, а остаток просто подарил родственникам. Разыгрывать из себя “богатого дядюшку” было неловко, но с грехом пополам обе стороны эту неловкость преодолели. Несколько труднее оказалось выполнить поручение родителей: обязательно сходить с дядей и тетей в валютный магазин и что-то для них приобрести. То ли избыток застенчивости, то ли просто гордость не позволяли им выбрать что-то существенное. Ассортимент в этом “интершопе” по сравнению с обычным западным супермаркетом был весьма заурядным, однако за западные марки, доллары и австрийские шиллинги здесь все же можно было купить некоторые из вожделенных западных товаров, да и кое-что из продукции ГДР, что в обычном, рядовом, магазине, так называемом государственном торговом предприятии, имелось отнюдь не всегда, или имелось не в качественном экспортном исполнении, либо не имелось вовсе. В магазинах собственной страны это правительство

исхитрялось на иностранную валюту продавать собственному народу произведенные им же товары...

После отъезда мы с Томасом начали писать друг другу. Его письма отличались от писем моих одноклассников, которые я получал во время каникул. Приходили они не часто, но это были очень глубокие письма. С раздумьями о смысле жизни, о дружбе, о пережитом. А кроме того, в них все отчетливее, все резче и критичней звучали политические мотивы. Хотя и между строк, но все равно достаточно внятно. Не слишком ли далеко он заходит? Я радовался этим письмам, но ощущал при этом и легкую беспомощность. Как относиться к этому недовольству, к этой справедливой, оправданной критике, как вести себя, как отвечать с учетом цензуры и перлюстрации, когда сам ты находишься в безопасном положении? Я старался писать так, чтобы не навредить Томасу. Именно поэтому в последнюю секунду все-таки раздумал посылать ему статью из американского "Ньюсуика" с чертежами пограничной полосы ГДР, оборудованной с поистине беспримерной бесчеловечностью. Речь в статье шла об установках СМ-70.

В 1970 году руководство ГДР начало укреплять и без того смертоубийственное оснащение своей западной государственной границы новыми, еще более изощренными системами безопасности, а именно — самострельными установками СМ-70. Прежде так называемая приграничная полоса состояла из пятикилометровой запретной зоны, внутри которой вдоль самой границы тянулась пятисотметровая контрольная полоса, очищенная от растительности, с дорожками для патрулей, ограждениями из колючей проволоки и так называемыми МЗП (малозаметными препятствиями) в виде натянутой над самой землей проволокой, в просторечии "спотыкач", вышками для часовых, прожекторами и полосой минного поля, прозванного что на Востоке, что на Западе полосой смерти. Теперь все это великолепие было дополнено еще и СМ-70, установками, которые всякого "нарушителя границы", попадавшего в зону их действия, обстреливали веерной очередью стальных осколков. Участия человека теперь уже не требовалось. В протоколе испытаний пограничными частями нового оборудования в 1971 году с удовлетворением констатируется:

Характер поражений, производимых осколками на оленей, кабанов и пернатую дичь, позволяет с уверенностью заключить, что нарушителю границы, попавшему в зону действия СМ-70, будет нанесено либо смертельное, либо тяжелое ранение, исключающее возможность дальнейшего преодоления контрольно-пограничной полосы.

В 1976 году Михаэлю Гартеншлегеру, оппозиционеру и диссиденту, почти десять лет проведшему в заключении, прежде чем он оказался в ФРГ, удалось демонтировать две таких самострельных установки, подобравшись к ним с западной стороны, и продемонстрировать их международной прессе. До того руководство ГДР само существование этих установок просто-напросто отрицало. За это Гартеншлегер был объявлен в ГДР в розыск, а впоследствии при попытке демонтажа очередной установки застрелен специальным подразделением министерства госбезопасности.

Два года спустя после поездки в Бад-Бланкенбург я сдал экзамены на аттестат зрелости. Но толком еще на знал, чем займусь после школы. Мне не грозила ни армейская, ни альтернативная гражданская служба, бундесвер, как и следовало ожидать, по причине давней инвалидности, меня забраковал. Я расценил, что время, выигранное таким образом, — это подаренная мне возможность не сразу вступать на прямую дорожку по маршруту "институт—профессия". Тем более, что я еще не решил, какую профессию выбрать, на какой факультет или в какой институт поступать. Зато прекрасно знал, на что хочу употребить свой выигранный временной гандикап: я хотел наконец-то делать "что-нибудь полезное", — поработать, допустим, в тюрьме, либо в доме престарелых или инвалидов.

Томасу в 1973 году оставался еще год школы. В отличие от меня, он точно знал, кем хочет стать. Он мечтал о профессии юриста. Но прекрасно осознавал, что даже пытаться не стоит, — ему этот путь заказан. Отметки у него были хорошие, но слишком много имелось к нему нареканий, да и в общественной жизни он участвовал недостаточно активно. Тогда он решил, что будет геологом, как его знаменитый прадед, который совершал увлекательные экспедиции, был ординарным профессором в университете Галле и президентом "Леопольдины" — Немецкой академии естествоиспытателей. Но тут вдруг прошел слух, что в ГДР геологи не нужны. По крайней мере в тот год, когда Томас закончит службу в армии, набора на геологию точно не будет. Вот так, предельно просто, все решалось! Томас не мог свободно выбрать себе профессию, он вообще ни в чем не был свободен, и все с большей горечью это осознавал. Все, что предоставлялось мне само собой разумеющимся, ему было заказано: он не мог поехать, куда захочет, не мог свободно высказываться, не мог, как я, позволить себе паузу на перепутье жизни. Недовольство и досада постепенно перерастали в яростную решимость, подстеги-

ваемую разговорами с друзьями по интернату — прежде всего с Берндом и Максимилианом, которые думали так же, как он. И все чаще все трое стали помышлять о том, как бы выбраться из ГДР. Самым выгодным для осуществления этого замысла представлялся короткий промежуток между окончанием школы и армией. Ибо бегство во время прохождения военной службы было чревато в ГДР самыми тяжелыми последствиями: нарушителю сразу двух статей уголовного кодекса ГДР — 213-й ("незаконное пересечение государственной границы") и 254-й ("дезертирство") — грозили самые драконовские приговоры.

Только как же осуществить подобный замысел? Друзья начали прикидывать имеющиеся возможности. У кого-то школьный товарищ жил почти на Эльбе, на противоположном берегу, в прямой видимости — Западная Германия, нижнесаксонский Хитцакер. Но сколько проверок и кордонов надо миновать, чтобы хотя бы приблизиться к пограничной зоне, если ты по документам не местный житель! К тому же — и в ГДР это было известно не хуже, чем на Западе — водная граница с ФРГ охранялась ничуть не менее тщательно, чем сухопутная.

Один, другой, третий план исполнить задуманное своими силами создается, обсуждается, отбрасывается. Может, все-таки с чьей-то помощью? Как-то вечером во время одного из подобных заговорщических совещаний Томас между прочим роняет:

— Вообще-то у меня двоюродный брат есть на Западе, разве я вам не говорил?

— Так, может, он пособит?

— А надежный парень?

— Да, за это я ручаюсь.

Что ж, тогда стоит его спросить.

Только спросить-то совсем не так просто. В письме не напишешь — слишком рискованно. По телефону позвонить — еще опаснее, не говоря уж о том, что это почти невозможно; домашние телефоны в ГДР были редкостью, семья Томаса жила без телефона. К тому же разговор "с Западом" надо было заказывать заранее и долго, по несколько часов ждать. И, разумеется, все такие разговоры прослушивались.

Вот так и получилось, что летом 1973 года, когда Маргарет Шаллер, давняя подруга матери, очередной раз приехала к ним погостить, Томас посвятил ее в свои планы. Попросил со мной связаться и передал для меня письмишко.

В письме от Маргарет Шаллер обнаружился тетрадный листок в клеточку, убористо исписанный знакомым, твер-

дым почерком Томаса. Впрочем, почерк этот вскоре, уже в течение года, заметно изменится: станет крупнее, чуть менее аккуратным, почти небрежным — хотя на самом деле просто более раскованным.

Дорогой Рюдигер!

Начну с места в карьер, только не пугайся, пожалуйста, или, по крайней мере, пугайся не настолько, чтобы оказаться не в силах мне помочь. Так вот, я решил этим или следующим летом "перебраться" в ваш свободный мир. К сожалению, я не один, вместе со мной еще двое друзей тоже готовы поставить на карту свои жизни. Заковыка только в одном: как это сделать? Напрямик через границу отпадает, мы ведь намерены еще принести пользу вашему государству и не хотели бы прибыть туда, перегруженными свинцом.

Нет ли у тебя на примете каких-нибудь благоприятных связей или возможностей на сей счет? Нельзя ли что-нибудь придумать с использованием паспорта или удостоверения личности? Может, у тебя сыщется пара-тройка дружков (похожих на нас), которые могут заказать себе новые паспорта или удостоверения личности с нашими фотографиями? Еще нам понадобится человек, умеющий изготавливать штемпеля, к примеру, въездной штемпель в Румынию, а мы бы оттуда уже вылетели самолетом. Или ты бы сам приехал в Румынию, предварительно сделав себе паспорт и удостоверение с моими фотографиями, я бы по ним вылетел в ФРГ, а ты пойдешь в немецкое консульство и заявишь: "У меня украли деньги и документы", или просто "Я потерял". Но если это для тебя слишком рискованно, ты так прямо и скажи. Если раздобудешь для нас только удостоверения, нам придется в Югославию ехать ("для пребывания сроком менее семи дней гражданам ФРГ достаточно иметь удостоверение личности, на основании которого им выдается краткосрочный вид на жительство"), вы отдадите нам ваши удостоверения, мы прибудем в Югославию и попытаемся с адриатического побережья, наняв, допустим, какой-нибудь рыбацкий парусник, добраться до Италии или хотя бы до прилегающих островов. Другая возможность: попытаться просто из Югославии вылететь, сказав, что вид на жительство потеряли.

Маргарет Шаллер в курсе остальных подробностей, поскольку лично вместе с нами все это обсуждала. Она и это письмо тебе перешлет, поскольку доверять его рентгеновскому оку нашей таможни слишком опасно. По этой же причине и с ответом будь осторожен. Дай, кстати, знать, получил ли ты предыдущее мое письмо. Родители мои об этих планах ни в коем случае знать не должны. Все выпадающие расходы мы, разумеется, возместим либо сразу по прибытии на место, либо заранее.

Пожалуйста, помоги нам!
В надежде на твою поддержку,
заранее у тебя в долгу,

твой Томас.

Письмо оглушило меня, как удар грома — внезапный, мощный, раскатистый, он буквально меня потряс. Смятение чувств, чехарда мыслей — все это теснилось в голове и сердце. Но еще прежде, чем я начал взвешивать практические шансы и оценивать меру опасности, прикидывая пути и возможности, во мне уже родилось мгновенное решение: Томасу надо помочь. И сколько я потом об этом мгновении и обо всем, что за ним последовало, ни вспоминал, я ни разу в своем решении не усомнился. Для меня никогда не стоял вопрос "да" или "нет", только вопрос "как"?

Томас. Ну конечно. Он прав. И он классный малый. А уж тем более твой двоюродный брат. Да пусть хоть четвероюродный, что из того? Он думает, как ты, чувствует, как ты. Только вот как же все это провернуть?

Семья

Маленький серый слоник из коробки с игрушками моего детства был, видимо, из каучука. Во всяком случае, не из плюша, как другие мои игрушечные звери. На ощупь он был точь-в-точь как затычка в ванной. Поэтому я его не очень любил, хотя и считалось, что это вещь очень ценная, ведь дедушка привез ее из Африки. Слоник был особенно важен, потому что все остальное, что связано с Африкой, "пропало". В первую очередь две фермы, которыми дедушка владел там, на "немецком юго-западе". Только со временем мне стало ясно: дедушка покинул Африку еще в 1916-м, в статусе военнопленного. А я родился в 1953-м.

Пропала, впрочем, не только Африка — безвозвратно канули целые миры: кайзеровская империя, Дрезден, родина отца, Россия, в балтийских губерниях которой росли родители матери, — там давным-давно все захватили коммунисты. Пропали целые состояния — сперва подорванные инфляцией, потом проглоченные национализацией, родина матери, родина отца, да и вся Германия в общем и целом тоже пропала.

Теперь зато была "советская оккупационная зона" и "стена за колючей проволокой". Вместо "зоны" можно было про-

сто говорить "там", или сокращенно "ОЗ" ("оккупационная зона"), на худой конец – "средненемецкие земли". Но ни в коем случае не ГДР – ведь это равносильно официальному признанию ее как государства. Восточной Германией тоже назвать нельзя – это означало бы отказ от наших восточных земель – от Силезии, Померании, Восточной Пруссии... Дедушка иногда сетовал на утрату Эльзас-Лотарингии, Эйпен-Мальмеди[1] и Северного Шлезвига. Интересно, а сейчас там как? Можно ли туда поехать? Или там тоже "стена и колючая проволока"?

Отцовские родители жили с нами под одной крышей. И рассказывали много всего интересного. О дедушкиных конных экспедициях по Африке, о бабушкиных походах в Альпы, которые она совершала – совсем одна, только с проводником! – еще до Первой мировой войны, о великолепии Дрездена "до краха" – с его невероятным культурным богатством и целым паноптикумом нашей давно вымершей родни. Ну, и конечно, о Зеехаузене, нашем родовом "замке", где вырос дедушка. Этот замок вообще казался мне заколдованным, как замок Спящей Красавицы.

От них мы кое-что узнавали и о детстве и юности нашего отца. Он, впрочем, и сам иногда об этом заговаривал, но собственная судьба казалась ему темой куда менее важной, чем темы общеисторические и тема истории нашей семьи. Он рассказывал о Карле Великом и временах Тридцатилетней войны, о книжном издательстве одного из наших предков и почему один из прадедов уехал в Америку. И снова и снова – как я потом понял, несомненно осознанно, – он говорил о людях, в безвыходных положениях не терявших веру в себя и в свое дело. О Мартине Лютере перед рейхстагом в Вормсе. О гражданах Сан-Франциско, заново возведших свой город после страшного, опустошительного землетрясения. О женщинах, которые в 1945-м, не дожидаясь мужчин, принялись разгребать страну из развалин и отстраивать заново. Все подобные истории неизменно заканчивались одной и той же присказкой: "Если прямо не получается, надо справа зайти. Если справа нет прохода, надо слева попробовать. Какой-нибудь выход обязательно найдется". Приходя пожелать нам "Спокойной ночи", он напоследок всегда говорил одно и

1. Эйпен-Мальмеди – часть территории современной Бельгии на границе с Германией. (*Здесь и далее, если не указано иное, – прим. перев.*)

то же: “Завтра снова будет день, и он снова будет замечательный!”

А наша мама росла еще дальше на востоке, где-то на границе между Латвией и Литвой. Немцы жили в тех краях столетиями, состояли на службе у русских царей, к империи которых относились и “остзейские провинции”. Но под конец Первой мировой грянула революция, балтийские республики обрели самостоятельность, немцы утратили свой былой политический и социальный статус, а по большей части и земельную собственность. Тем не менее дедушка с бабушкой там остались — до тех пор пока Гитлер и Сталин не сговорились поделить между собой три независимых прибалтийских государства, а остающихся там немцев “переместить”. В так называемом “Вартегау”, на западе Польши, занятой немецкими войсками в 1939-м, им были предоставлены новые жилища.

Каждую осень дедушка с бабушкой, мамины родители, приезжали к нам погостить. Как и многие балтийские немцы, они вскоре после войны выехали из разрушенной Германии в Канаду. Там — а ведь обоим было уже за пятьдесят — они худо-бедно начали строить свою нелегкую новую жизнь, откладывая каждый грош на ежегодные поездки к нам и по всей Германии, чтобы навестить своих балтийских родных и знакомых.

Рассказы дедушек и бабушек с отцовской и материнской стороны о довоенных временах во многом были схожи. Но со временем я стал замечать в них и кое-какие знаменательные различия — прежде всего в отношении к понесенным утратам. Беженцы с востока и из центральной части бывшего немецкого рейха жили в надежде — а политика эти их надежды старательно подпитывала — когда-нибудь вернуть себе родные земли и жилища. И отцовские родители мечтали о том же. Все утраченное и выстраданное по-прежнему садняло у них в душах. Ничто для них не завершилось, ни под чем не была подведена черта, все раны продолжали кровоточить.

А вот мама, ее родители и многочисленная родня, напротив, по-своему смирились со своей судьбой, покорились своей участи. И утраты свои считали безвозвратными, хотя, спроси у них кто-нибудь об этом, они бы, возможно, так не сказали. Плониан, родовое гнездо матери, теперь был в Советском Союзе, и с 1944 года, когда семья его покинула, оттуда не было ни слуха ни духа. Что сталось с домом и с жителями, было неизвестно. Когда мать рассказывала о своем детстве, в ее словах не было печали, разве что легкая грусть.

Это были воспоминания о покойной слитности с миром природы, о деревенской жизни где-то на краю Европы, с настоящей, ощутимой сменой времен года.

В рассказах бабушки перед нами вставал и вовсе уж диковинный мир: царский двор в Санкт-Петербурге, революции 1905 и 1917 годов, увиденные глазами ребенка, а потом девушки, ее выпускные экзамены в школе во время Первой мировой. При всех ужасах, выпавших на ее и всего поколения долю по вине Советского Союза, она, как и мама, сумела передать нам глубокую душевную приязнь к России, ее языку и культуре, к русской истории и к русским людям. Бабушка читала нам наизусть стихи Лермонтова, любила музыку Рахманинова, весной в праздник Воскресения Христова на столе у нас всегда была настоящая, в форме, творожная пасха. К приходу гостей наша мама пекла русские пироги. В течение многих столетий вся жизнь прибалтийских немцев была теснейшим образом сопряжена с Россией. Зверства революции, коммунистической диктатуры, Красной армии, когда она вошла в те места, — все это в ее глазах было не русским, а советским. Видимо, именно здесь коренятся истоки и моего возраставшего интереса к России, к русской культуре, но и к Советскому Союзу, к идее социализма, равно как и к вопросу, каким образом тоталитарное насилие коммунистического строя способно столь длительное время держать в подчинении миллионы людей. Я начал помимо школы учить русский язык, на первых порах моим учебником стал томик стихов Анны Ахматовой. Как и Буркхард, я полюбил грустные, поэтичные песни Булата Окуджавы и читал в немецком переводе его тонкую лирико-сатирическую прозу, где под видом обличения царского режима на самом деле критиковались советские порядки.

Конечно, мир дедушек-бабушек был где-то в прошлом. Но и детство, и юность родителей представали в наших глазах чем-то бесконечно далеким. И даже то, что происходило всего несколько лет назад, ничего общего не имело с нашей действительностью. Между тем и этим пролегла война. 1945 год — это был перелом всего и вся. Некая абсолютная цезура, знак радикальных перемен. "До войны" — это было все равно как на Луне.

"До войны" — это в разговорах взрослых означало: перед Второй мировой войной. Соответственно, "в войну" означало "во время войны", а когда имели в виду Первую мировую, говорили "в первую войну". Брат мамы и брат отца в войну "погибли", были родные и знакомые, которые "пали в боях", "пропали без вести", "оказались в оккупации", а тетя с прихо-

дом Красной армии пережила "ужас что". Своего двоюродного брата мама "так никогда больше и не увидела", хотя ему, в отличие от нее, беременной, вечером 13 февраля 1945 года на вокзале в Дрездене удалось втиснуться в поезд. Который через пару часов разбомбили. Сама мама с вокзала пошла домой и каким-то чудом в печально известной бомбардировке Дрездена выжила. Что ей пришлось пережить, мы знали тогда только в самых общих чертах по рассказам отца. Сама она об этом никогда не говорила.

Столь роковыми были собственные судьбы, столь велики были перенесенные травмы, что вопросам о причинах и следствиях, о вине и ошибках, о страданиях других в рассказах родителей и дедушек-бабушек просто не находилось места. Сегодня я понимаю: старшие всячески щадили нас, стараясь оградить от ужасов того, что им довелось изведать, но я до сих пор на собственной шкуре знаю, сколь мало им это удалось. Войны я боялся ужасно, хотя и не мог бы толком сказать, что конкретно это значит.

А что опять будет война — это не только казалось вероятным, но было почти решенным делом. Тревога взрослых во время Карибского кризиса не могла не затронуть и нас, детей. На уроках в начальной школе учителя объясняли нам, как действовать, если начнется атомная война. Если застанет на улице, упасть на землю головой в сторону ядерного гриба, перед собой для защиты выставить ранец. В классе надо было опрокинуть парту и прятаться за ней. В нашем классе это было невозможно, все парты оказались намертво свинчены друг с другом. После кубинского кризиса в подвале хранился запас продуктов. Понятное дело, это были главным образом жуткого вида консервные банки, о которых потом все забыли. После, когда все они вздулись, пришлось выбрасывать.

В Зигене, где прошли первые годы моего детства, на нашей улице были развалины, где так увлекательно было играть, хоть это и строго запрещалось. Развалины в Дюссельдорфе, где мы жили позже, до середины шестидесятых, были еще выше. Со временем они исчезли, как и калеки-инвалиды.

Исчезли и розыскные плакаты немецкого Красного Креста, висевшие прежде на всех вокзалах и в других общественных местах. На плакатах были фотографии детей, примерно моего возраста, целая мозаика детских голов. Звали их — кого Герман, кого Вальдемар, или Гудрун, или просто сестричка Маргарита. Все эти дети пережили самую страшную утрату, какую я только мог себе вообразить, ибо поверх плаката тянулась надпись: "Дети ищут своих родителей".

Последние напоминания о войне, которые в конце шестидесятых — начале семидесятых еще можно было увидеть в общественных местах в Швебиш-Гмюнде, где заканчивалось мое детство, — это стенды с плакатом Фонда единой неделимой Германии, на которых воспроизводилась карта Германии в границах 1937 года. Такой же картой мы пользовались на уроках географии во "Всемирном атласе Дирке" и в прилагавшемся к нему учебнике Зейдлица, том 1 под названием "Немецкая отчизна". По этому вопросу между всеми политическими партиями разногласий не было.

Еще одна картина из моего детства: раскладушки. Родители опять лезут на чердак "спускать раскладушки". Раскладушки, кстати, были "от американцев". (Но почему от них, если они против нас воевали и нас победили?) Когда спускали раскладушки, это означало: к нам едут родственники. Бессчетные дядюшки и тетушки, кузены и кузины из Прибалтики, часто вообще седьмая вода на киселе, приезжавшие к нам, как к себе домой, переночевать по пути куда-то еще; некий загадочный племянник отца вообще жил у нас месяцами.

Разумеется, и мы тоже, как к себе домой, по дороге, заезжали переночевать к дальним тетушкам в их скромных, небогато обставленных квартирках, когда случалось оказаться в их краях. Записная книжка, которую для этих надобностей изготовила для меня мама, была составлена не по фамилиям, а по городам — и едва ли не в каждом имелись родственники или добрые знакомые, у которых можно остановиться.

Так что навестить родственников в ГДР, вздумай мы туда отправиться, было самой естественной вещью на свете. Родня, семейные корни со всеми их извивами и переплетениями в жизни наших родителей — и об этом тоже мы не раз говорили с Томасом, когда я в 1971-м был в Тюрингии. И ничего удивительного, что теперь Томас обратился за помощью именно ко мне.

Начнем с линолеума и картошки

Только как же все это провернуть? Мне ли не знать, что в наших газетах чуть ли каждый день пишут о попытках побегов.

"Зюддойче цайтунг", воскресенье, 7 октября 1973

В ГДР объявлено о задержании двоих граждан ФРГ, обвиняемых в нарушении транзитных соглашений... В прошедшие дни ГДР

неоднократно сообщала об арестах транзитных туристов, которым предъявлены обвинения в пособничестве бегству из страны.

"Зюддойче цайтунг", понедельник, 8 октября 1973

Попытка бегства из страны, предпринятая гражданином ГДР в округе Люхов-Данненберг, окончилась трагически. По сообщениям нашей пограничной службы, после срабатывания четырех автоматических самострельных устройств по ту сторону границы были слышны стоны тяжело раненного мужчины. Примерно через полтора часа пострадавшего вывез прибывший на место наряд Народной армии ГДР.

Так как же все это провернуть? И как все это сообразуется с моими личными планами? Я пока что толком не успел об этом подумать. В глубине души была странная уверенность, что Томаса удастся перетащить легко, как бы между делом. И быстро. А уж место социального работника я себе тем временем как-нибудь найду. Но перво-наперво надо вытащить Томаса. Только как?

Для начала я решил написать ответ Маргарет Шаллер, которая переслала мне письмо от Томаса. Разумеется, сообщал я ей, я готов сделать для Томаса все, что в моих силах. Правда, я не утаил от нее и своих опасений: Томаса и его друзей Запад может разочаровать. Не зря ведь в одном из писем он весьма критично отзывался о здешних жизненных установках, ориентированных сугубо на материальное благополучие. А сам я хорошо помнил, как в нелегких условиях ГДР между людьми устанавливаются гораздо более тесные и сердечные, чем у нас, отношения, и понимал, насколько это для Томаса важно.

К сожалению, я не знаю, сомневался я в конце письма, можно ли обо всех этих вещах писать Томасу напрямую. Не подскажет ли Маргарет, как мне поступить?

Как оказалось, это мое письмо повлекло за собой сплошные недоразумения. Я предполагал, что Маргарет теперь либо сама как-то свяжется с Томасом, либо мне напишет, и спокойно ждал вестей. А вестей не было. Между тем Томас и его друзья мучились неизвестностью: соглашусь ли я им помочь, и если да, то как намерен это сделать?

Я же тем временем уже начал обдумывать и строить планы. Прошла не одна неделя и даже не один месяц, прежде чем план побега был разработан до мелочей: отталкиваясь от простейшего, начиная с самых дурацких вопросов, я начал прикидывать, читать, а кое-что и проверять на практи-

ке. Хотя некоторые принципиальные вещи были для меня ясны с самого начала. Я решил, что буду организовывать все сам, не прибегая к помощи третьих лиц, в первую очередь — к платным услугам так называемых "специалистов". Слишком рискованным казалось мне доверить такое предприятие незнакомым людям. Слишком много приходилось слышать о провалах подобных акций, нередко связанных с мошенничеством, провокациями и даже шпионажем. К тому же не хотелось строить дело на финансовой заинтересованности третьих лиц, которые в погоне за барышами способны подвергнуть всех участников чрезмерному риску. Не говоря уж о том, что я понятия не имел, где таких "специалистов" искать и как с ними связаться.

Самый первый вопрос: какой маршрут выбрать? Напрямик через немецко-немецкую пограничную полосу? Исключено. Тут я был всецело согласен с Томасом. На подобный риск шли только вконец отчаявшиеся головы. Техническое оборудование границы было убийственно безупречно, и руководство ГДР делало все для того, чтобы об этом знал каждый. Хитростью как-нибудь протащить через КПП, допустим, в багажнике машины? Дурацкая игра ва-банк, в сущности, безнадежная затея. На границе досматривается каждое транспортное средство, без исключения. На лодке по Балтийскому морю? Слишком затратно, а надежности никакой, да и опасно, море как-никак. Нет, побег надо организовать только через третью страну, одну из стран Варшавского договора, куда Томас и его друзья без проблем могут въехать. Но и оттуда выбираться не как диверсанты, нелегально переходя границу где-то в лесу или прячась в грузовике под мешками. Нет, Томас и оба его друга должны покинуть эту третью страну абсолютно легально — по фальшивым паспортам. Только где раздобыть фальшивые документы? И кого вообще про такое спросишь, кому рискнешь в таком деле довериться? А если, на худой конец, попробовать самому?

Насколько это вообще хитрое дело — изготовить фальшивый паспорт? Возможно ли в принципе? Похоже, все-таки возможно. Не так давно я что-то про это читал, кажется, в шпионском романе Йоханнеса Марио Зиммеля "Не каждый же день вкушать икру". Я припомнил: там чуть ли не целая глава была посвящена рассказу о том, как подделать паспорт, чтобы им с успехом мог воспользоваться другой человек. Значит, первое, что следует сделать — перечитать Зиммеля. Меня ждало горькое разочарование. То, что при беглом прочтении выглядело дельными и увлекательными выкладками эксперта, при ближайшем рассмотрении оказалось совер-

шенно бесполезно. "У меня целый шкаф штемпелей и печатей. Должно быть, богатейшее собрание во всей Европе", — вот и все, что сообщает в интересовавшем меня месте некий "фармазон" (специалист по подделке документов) Томасу Ливену, агенту поневоле и главному герою романа Зиммеля. Правда, чуть более подробно оказалась описана техническая сторона изъятия из паспорта фотографии. Что ж, этим мне тоже придется заняться. Но целого шкафа штемпелей и печатей у меня, увы, нет...

Не "да" или "нет", а только "как"? Выходит, первым делом — самостоятельно. Это значит — одному. И чем меньше людей об этом узнают, тем лучше. Тем меньше болтовни. Тем надежнее.

И еще одно: чем меньше страхов и нервотрепки — тем больше пользы для дела. "Поставить на карту свои жизни", — так Томас мне написал. Ну нет, так горячиться мы не будем. А вот свободой рискнуть — это придется всем. Все, кого я вздумаю в эту затею втянуть, будут только без толку паниковать, а по-настоящему помочь не смогут. Значит: никому ни слова.

С другой стороны, совсем в одиночку мне это не потянуть. Но если обратиться, то к кому? К Буркхарду, брату? Он слишком загружен занятиями в университете, да у него и других своих дел полно. К тому же отношения у нас непростые. В детстве мы то и дело ссорились. Зато в интернате, где подолгу живешь бок о бок с другими ребятами, я узнал, что такое настоящая крепкая дружба. И в самом деле, для чего еще нужны в жизни друзья? КаГе. Вот кто мне поможет. Только где он сейчас. Надо бы встретиться.

Скрывать свои планы мне было нетрудно. Да и времени они пока что отнимали немного. Пока что работа головой. Прикидывать, рассчитывать, еще внимательней и уже другими глазами оценивать политическое положение. Ну и немного помастерить, что всегда было мне в радость: работа предстояла тонкая, точная, требующая много терпения и выдержки. Постепенно переходя от игры к серьезному делу.

А еще — мне ведь деньги понадобятся, куча денег. Такой побег — дело затратное.

Недели пролетали, как во сне. Я навещал друзей, приискивал себе работу в социальной сфере. И мало-помалу начал экспериментировать с красками, чернилами и штемпелями.

Первые шаги, первые неудачи. "Любую печать перегнать — раз плюнуть, берешь горячее крутое яйцо, и готово", — снисходительно поучали меня в школе иные авторитеты из старшеклассников. Легко сказать, особенно, когда сам не де-

лал. По крайней мере, с паспортами... Вот так, запросто, снять отпечаток штемпеля с одного листа и перенести на другой — на поверку все это оказались бабушкины сказки. Отпечаток худо-бедно, а вернее худо-бледно переходил с бумаги на яичный белок, но снова на бумагу никакими ухищрениями ложиться не хотел. Значит, копируемый штемпель надо сперва подкрасить. Или уже на яйце как-то "освежить". Нет, эти краски не годятся. Значит, добываем штемпельную краску. Пробуем с ней. Подрисовываем. Все без толку. С такой поддельной ксивой даже в плавательный бассейн не пропустят. Тогда пробуем по-другому: вырезаем штемпель на линолеуме. Тоже не годится. Крупные линии получаются, но вот с мелкими черточками, цифрами и буквами, которых на любом штемпеле полным-полно, все гораздо хуже. Хорошо, тогда на картошке. Отпадает сразу же. Слишком грубо, аляповато, даже слепой разглядит, что подделка. Хорошо, а если "перетащить" штемпель на горячую вареную картофелину? Полная лажа, еще хуже, чем с яйцом.

Собеседование в лечебнице Штеттена. Солидное евангелическое заведение, где с 1847 года осуществляют уход за инвалидами и тяжелобольными. В 30 километрах от Швебиш-Гмюнда, в верхнем течении Ремса. Да, практиканты им нужны постоянно, особенно в филиале Хангвайде, там самые тяжелые пациенты. В январе я могу начать. Сперва краткий курс обучения, потом практическая помощь в палатах.

Между тем скоро уже три месяца, как я получил то первое письмо от Томаса. Я все еще полагал, что Маргарет Шаллер ему написала. А она, оказывается, решила, что мы теперь переписываемся напрямую. Вот почему письмо, пришедшее от Томаса в начале ноября, было для меня как гром среди ясного неба. То есть письмо-то пришло не от Томаса, а от некоей Сибиллы Нойман. Кто вообще такая Сибилла Нойман? Оказалось, западногерманская кузина Томаса, которая гостила у них дома и согласилась переслать письмо.

...Ну почему ты не хочешь мне помочь? Почему ни слова не напишешь, пусть не о самом деле, но хотя бы просто так? Да и прямой, начистоту, отказ, меня бы тоже не расстроил, скорее обрадовал. Все лучше, чем эта томительная неизвестность — она как затишье перед боем

Я знаю, в вашем государстве меня могут ждать и разочарования, но все равно хочу, больше того — должен совершить задуманное. Хотя с точки зрения уровня жизни у нас тут все в лучшем виде. И по части расходов мы нисколько не будем вам обузой. Пожалуйста, напи-

ши, что ты решил — только не прямым текстом, ведь тайна переписки у нас — чистая фикция. Надеюсь, ты меня не разочаруешь...

Только теперь я по-настоящему прочувствовал, насколько Томасу тяжело. А еще я понял: он не строит иллюзий относительно своего будущего здесь. Вообще-то я мог бы и сам об этом догадаться: не такой он наивный простак, чтобы мечтать о "райских кущах" западной жизни.

И еще одно стало ясно: нам надо переписываться напрямую. Но это означает — с предельной осторожностью. А коли так — надо непременно подпустить пару критических замечаний насчет нашего "старшего брата" США и вообще о наших капиталистических порядках. Хотя сам я от подобных мыслей был скорее далек. И сокращение ФРГ вместо Германия тоже употреблять было странно. Но чтобы планы побега? И в мыслях нет такого! А вот о совместных путешествиях в духе укрепления взаимопонимания между народами — почему бы не поразмышлять? Я ответил Томасу немедленно.

8 ноября 1973

Дорогой Томас!

Оба твоих письма получил, сердечное тебе за них спасибо. Меня очень порадовали твои рассуждения и задумки. А что на первое, особенно интересное твое письмо я не ответил, так это чистой воды недоразумение, я-то считал, что тетя Маргарет, которой я написал, даст тебе обо всем знать. Но теперь буду писать сам.

Я только месяц назад вернулся в ФРГ, сразу после выпускных я три месяца пробыл в Канаде, США и на севере Мексики. Это было очень познавательное путешествие — как в позитивном, так и в негативном плане, уж больно сильны различия между нами и нашим "старшим братом"...

Но я считаю, в деле взаимопонимания между народами самое главное — как можно лучше узнавать жизнь других, вникая в их менталитет, образ жизни, обычаи, национальные особенности и т. д. Вот почему я собираюсь на будущий год вместе с двумя своими друзьями в новое путешествие. На сей раз куда-нибудь в Восточную Европу, возможно, в Румынию или, даже скорей, в Югославию, там, как я слышал, поинтересней и много других преимуществ. Но чтобы от путешествия действительно был толк, мы собираемся поехать на своей машине, что, во-первых, дешевле, а во-вторых, дает гораздо больше независимости по части свободы передвижения. К тому же встречаешь много интересных попутчиков, особенно нашего возраста, сейчас ведь модно стало путешествовать автосто-

пом хоть на край света. По дороге кого только не встретишь, чего только не услышишь, я лично всегда с удовольствием подсаживаю таких попутчиков.

В настоящее время я пока что дома, у нас в Швебиш-Гмюнде, пытаюсь найти работу. Образование продолжать хочу не сразу, сперва некоторое время потружусь в социальной сфере, чтобы набраться жизненного опыта. И денег заодно подзаработаю, чтобы осуществить свои туристические планы, которых у меня полным-полно. У нас сейчас это даже не слишком дорогое удовольствие, особенно для молодежи, и препятствий никаких: по своему паспорту я практически в любую страну мира могу отправиться. Только не надо думать, будто наша система — это сплошные выгоды и преимущества, у нас тоже хватает недостатков, а проще говоря, не все то золото, что блестит. Хотя в общем и целом я ни в какой другой стране на свете жить бы не хотел...

Судя по всему, у тебя, надеюсь, все в порядке. Чем ты сейчас занимаешься? Я очень рад, что у тебя такие хорошие друзья, верный друг — это иной раз дороже всяких денег. Как там поживают все ваши? Надеюсь, как и следует ожидать, тоже хорошо, пожалуйста, передай им от меня привет. Буду очень рад, если ты поскорее мне ответишь.

Искренне преданный тебе

всегда твой Рюдигер.

Ответа ждать пришлось недолго.

Нойоберхаус, 24 ноября 1973

Дорогой мой братец!

Никогда не надо терять надежду! Спасибо тебе за твое последнее письмо с таким интересным для меня, да и для всех нас, рассказом о твоих путешествиях. Хотя для нас путешествия совсем не в радость, слишком много препон и преград, даже если надумаешь поехать куда-нибудь в социалистическую страну. Тем не менее на следующий год я намереваюсь вместе с двумя дружками махнуть на Балканы. Мы пока что выбираем между Румынией и Болгарией. Со сроками тоже еще окончательно не определились, но это будет либо июль, либо август. Потому что с сентября нам уже нельзя будет выезжать за границу, ведь в конце октября нас призывают. Конечно, в крайнем случае можем поехать и пораньше, но это я должен с друзьями обсудить. Кстати, я ведь твой должник, напиши в следующем письме, каким способом тебе удобнее будет, чтобы я расплатился.

У нас уже две недели как лежит снег, мы планируем — да и ездили уже несколько раз — лыжные походы в соседнюю Чехослова-

кию. Пограничный переход расположен в 20 километрах отсюда, а сама граница вообще проходит в 250 метрах к югу от нашего городка. Ваш запрет на путешествия в выходные[1] распространяется и на социалистические страны, к примеру, на Чехословакию? Если нет, мы вполне могли бы там встретиться, дорожные расходы возместим... Но это, разумеется, помимо поездки в Румынию или Болгарию. Я пока что до 16 декабря здесь, и на выходные вполне мог бы совершать такие прогулки. А потом только с 3 января 1974-го, потому что я уеду в Бад-Бланкенбург. Как тебе такая воскресная прогулка?

У меня все более или менее хорошо, только нервы на пределе, и это сказывается на занятиях в школе. Думаю, ты понимаешь, каково нам сейчас. Хочется как можно скорее оставить все это позади.

Признательный тебе Томас.

Вторник, 4 декабря 1973-го. Едва ли не весь наш класс съехался во Фрайбург, почти день в день через полгода после выпускного вечера. И КаГе тоже был тут. Я отвел его в сторонку.

— Как насчет того, чтобы провернуть одно дельце?

"Провернуть дельце" — на нашем интернатском жаргоне это означало учинить какую-нибудь шкоду: забраться ночью в продуктовую кладовку, прицепить воздушные шарики к часам на башне, организовать внезапный ночной визит к соседям, то бишь в соседний интернат.

КаГе загорелся сразу же. Немедленно начал делиться идеями и наблюдениями своих многочисленных путешествий: визы, контроль, штемпели — как это все обычно на границе бывает — в аэропортах и в морских портах.

— КаГе, тогда ты должен оставаться на связи. Долго наша с Томасом переписка вряд ли протянется. Я буду держать тебя в курсе.

Лучшего напарника, чем КаГе, и придумать нельзя. Так посмотреть — вроде бы тихоня. И никому из персонала интерната и в голову не могло прийти, что именно у него в соседней деревне стоит "фольксваген-жук", на котором мы по выходным нередко уезжали развеяться. КаГе — надежный, невозмутимый, такой никогда не подведет.

"Провернуть дельце". Привкус азарта в этих словах — теперь уже навсегда. Радость веселой проказы. Только вот на

1. В связи с топливно-энергетическим кризисом в то время в ряде европейских стран были введены запреты на пользование личным автотранспортом в выходные дни.

сей раз все будет всерьез. И хорошо, что мы не знали, насколько всерьез.

Я понимал: в Хангвайде, в лечебнице, много не заработаешь. Значит, пока я там не заступил, надо бы подыскать какой-нибудь денежный приработок. Некто Шмерле, торговавший у нас в Швебиш-Гмюнде автомобилями, заключил договор на ремонт дома "под ключ", с твердым сроком окончания работ, но строительная фирма, которая должна была отделать подвал, внезапно обанкротилась. Вместо того чтобы искать другую фирму, Шмерле на свой страх и риск сколотил строительную бригаду — экономия получалась знатная. Я с радостью включился в строительный процесс, но как, к примеру, прокладывать дренажные трубы, я не знал даже приблизительно. Не знали этого, как выяснилось, и другие "опытные коллеги", не говоря о самом работодателе. Вкалывал я на стройке до середины декабря и заработал прилично.

15—16 декабря 1973-го: в Швебиш-Гмюнде меня навещают друзья и привозят с собой своих друзей. Смесь знакомых и незнакомых лиц. Среди новых, незнакомых, сразу запоминается одно — Хуберта. Не то чтобы любовь с первого взгляда — но с первой ее улыбки, с первого смеха точно. Такого сердечного, такого открытого и радостного смеха мне прежде не доводилось слышать. "Из самого нутра", как скажет позже сама Хуберта. Так началось то, чему суждено было стать любовной историей на всю жизнь. Скажи нам кто-нибудь тогда об этом, мы бы, наверно, смутились — в конце концов, обоим было только по 19. Но завязалась переписка, а когда к лету история с Томом вошла в свою самую напряженную и тяжелую фазу, для меня уже не было на земле никого важнее Хуберты.

Встреча в Карловых Варах

28 декабря 1973-го мне исполнилось двадцать. По закону я все еще не считался взрослым. Совершеннолетие наступало с двадцати одного. Только в марте 1974-го немецкий бундестаг постановил признать совершеннолетними всех граждан ФРГ, которым исполнилось восемнадцать. Закон вступил в силу с 1 января 1975 года — через четыре дня после того, как я отметил день рождения в двадцать первый раз.

Подводя итоги года, СМИ сообщали: 6450 гражданам ГДР в 1973 году удалось бежать из страны — на 16 % больше, чем в предыдущем. 5 января на знаменитом КПП "Чарли",

берлинском пограничном переходе для союзников, был застрелен пограничник ГДР, который пытался перебежать на Запад, захватив в заложники офицера. В Восточном Берлине за пособничество к побегу гражданин ФРГ Йозеф Хуберт был приговорен к восьми годам лишения свободы. Ему инкриминировали "систематические противозаконные действия, нарушающие государственный суверенитет ГДР, по заданию преступных группировок с целью организации торговли людьми и переправки граждан ГДР через границу". В том же году за "пособничество бегству" впервые была арестована женщина — Марго Найдхардт. Приговор — 8 лет лишения свободы. Несколько дней спустя СМИ сообщили еще о трех приговорах, сроки от пятнадцати до семи и пяти лет. В мотивировочной части судебных постановлений все чаще упоминалось "нарушение суверенитета социалистических стран", что подразумевало неудавшиеся попытки организовать бегство через другие страны Варшавского договора...

Вскоре после того, как я начал работать санитаром в лечебнице в Хангвайде, пришло новое письмо от Томаса, к которому впервые было приложено и послание от его друзей.

Нойоберхаус, 18 января 1974

Дорогой Рюдигер!

Ты уже слышал о моих друзьях, которые, как и мы с тобой, тоже заядлые коллекционеры минералов. Чтобы получше с тобой познакомиться, они решили написать тебе сами. Поскольку мы договорились обмениваться минералами, а летом собираемся на поиски в совместную экспедицию, мы надеемся по-настоящему с тобой подружиться.

Твой кузен Томас.

Дорогой Рюдигер!

Как мы знаем от нашего друга Томаса, у нас с тобой схожий круг интересов. Поскольку коллекционирование минералов — наша общая страсть, нам не терпится уже сейчас познакомиться с тобой поближе. Мы, к сожалению, лишены возможности общаться с коллекционерами из западных стран. А хотелось бы. И конечно, за ценные образцы мы готовы предложить хорошее вознаграждение или достойный обмен, так что в накладе ты не останешься. Будем рады пообщаться с тобой напрямую, чтобы поскорее перейти ближе к делу.

Так как тебе наверняка не так-то просто приехать в ГДР, предлагаем встретиться в Чехословакии. По срокам нас устраивал бы февраль, ведь с марта у нас уже начинаются выпускные экзамены. Мы могли бы обсудить, чем будем меняться, чтобы потом как следует подготовиться к следующей встрече.

А пока шлем тебе привет,

твои (пока незнакомые) друзья-коллекционеры.

Со своей стороны я, еще не получив обоих этих писем, тоже уже написал Томасу. Мне становилось все очевиднее, что без подробного обсуждения вряд ли возможно разработать детальный план побега. Иными словами, пора было встретиться, и чем скорей, тем лучше.

17 января 1974

Дорогой Томас!

У меня сейчас полно дел, в том числе и в связи с подготовкой к летним каникулам, к которым я намереваюсь приурочить свое следующее путешествие, на сей раз в Югославию, о чем я тебе, кажется, уже писал.

Вот уже несколько дней я прохожу практику в социальной сфере в заведении для инвалидов с нарушенной психикой неподалеку от Штутгарта... Работа временами весьма утомительная, но мне нравится, к тому же у нас тут превосходное медицинское оборудование. Да и свободного времени хватает, два выходных в неделю, когда много всего можно предпринять. К примеру, я планирую на выходные 23—24 февраля или 2—3 марта поехать в Чехословакию и хотел в связи с этим просить тебя, поскольку ты наверняка лучше меня по этой части осведомлен, порекомендовать мне какое-нибудь приятное местечко с уютным отелем или пансионом, где можно хорошо провести время. Но чтобы с вокзалом и вообще не очень далеко добираться. Хочу мало-помалу начать знакомиться с жизнью наших чехословацких соседей.

Надеюсь, у тебя все в порядке и занятия тебе по-прежнему интересны. Ты уже знаешь, когда в точности заканчиваешь школу и когда тебя призывают?.. Был бы рад получить от тебя ответ поскорее.

С сердечным приветом,

искренне твой Рюдигер.

Ответ не заставил себя долго ждать.

Нойоберхаус, 2 февраля 1974

Дорогой Рюдигер!

Спасибо за твое последнее письмо, в котором опять так много интересного. Мы тоже часто проводим выходные в походах и экскурсиях, к примеру, 2–3 марта мы, все четверо, отправляемся в Карловы Вары, Карлсбад по-старому. Хотя добираться неудобно, мы надеемся уже в 17.25 быть на месте. От пограничного перехода мы едем на автобусе до Карлсбада, а обратно выезжаем в 18.20 в воскресенье, так что вполне успеем все вместе совершить небольшую воскресную прогулку. Мы уже написали в несколько гостиниц, отсюда забронировать четыре места по телефону невозможно. Надеемся, скоро нам ответят.

Сердечный привет тебе и твоим домашним,

твой Томас.

Поедут "все четверо", забронируют "четыре места" в гостинице — я сразу все понял: значит, Томас закажет гостиницу и для меня. Умно и очень предусмотрительно. Если бы мы, граждане двух Германий, но под одной фамилией, на одно и то же время забронировали номера в гостинице, это сразу навело бы на подозрения.

Следующий шаг: мне срочно нужна виза в ЧССР. Вообще-то это было не очень просто, ведь в то время между ФРГ и ее юго-восточным соседом даже не существовало дипломатических отношений. А значит, не было и посольств, где можно получить визу. Однако, по счастью, во Франкфурте имелось все-таки чехословацкое торговое представительство. Мне предстояло как-то убедить этих товарищей выдать мне визу, несмотря на то, что я, вопреки инструкции, не имел на руках документального подтверждения о бронировании гостиницы.

10 февраля 1974

В Торговое представительство ЧССР в ФРГ
от Рюдигера фон Фрича

Многоуважаемые господа!

Обращаюсь к вам с просьбой оформить мне визу в ЧССР. Поскольку, несмотря на все старания, мне пока не удалось забронировать место в гостинице в Карловых Варах, графу с адресом своего местопребывания в анкете оставляю пока незаполненной, но вы-

сылаю вместе с заявлением уже сейчас, чтобы не опоздать с получением визы.

Заранее искренне признательный вам за понимание,
с уважением

Фрич.

Мне повезло. Паспорт с визой я успел получить вовремя. В следующих письмах мы уточняли необходимые подробности будущей встречи.

Нойоберхаус, 11 февраля 1974

Дорогой Рюдигер!

Это прекрасно, что 2 марта ты рассчитываешь прибыть в Чехословакию, где мы наконец-то сможем провести обмен минералами. И то, что ты решил остановиться в гостинице "Народный дом", тоже, считаю, совсем не плохо. В путеводителе я нашел их адрес: "Народный дом", 103 Карловы Вары, Арида ЧСА, 24, тел. 49523386.

Я надеюсь прибыть туда примерно в восемь вечера. Было бы неплохо, если бы ты мог приехать до 18.00, чтобы занять забронированные нами номера, а то их, чего доброго, заселят.

Сердечный привет,

твой Томас.

19 февраля 1974

Дорогой Томас!

Твое письмо от 11 февраля получил, большое спасибо. Судя по всему, наша запланированная воскресная встреча действительно состоится, и я смогу, наконец, всецело отдаться своим минералогическим увлечениям. Поскольку я свободен уже с 19.00 1 марта, я вполне успею к нужному времени быть на месте и занять наши номера.

До скорой встречи в "Народном доме",
сердечный привет,

твой Рюдигер.

До сих пор все было только на бумаге и казалось почти забавой, всего лишь игрой ума: "провернуть дельце", прокрутить в голове маршруты возможного побега, придумать, как подделать документы, ну, немножко поэкспериментировать со штемпелями и красками. Зато теперь все становилось всерьез.

Итак, мне предстоял воскресный визит в ЧССР.

Интересно, "эти" уже пронюхали что-нибудь или нет? Все наши письма пока благополучно доходили. Только вот не чи-

тают ли их по пути? Все наши иносказания, мои и Томаса, не слишком ли прозрачны, не слишком ли дурацкий мы придумали шифр? Может, нас всех, и меня, и моих друзей-приятелей, там уже ждут? Чтоб взять, как говорится, тепленькими, с поличным... Как оно вообще все там будет, в этой Чехословакии? Я еду навстречу неизвестности, и там, в этой неизвестности, контролировать положение никак не смогу... А если провал, если меня арестуют? Ведь "эти" друг с другом сотрудничают, тут уж никаких сомнений. Меня выдадут в ГДР, а там "пособничество бегству из республики" и, ясное дело, тюрьма. Но все равно — встретиться надо, пора все спланировать конкретно, обсудить способ действий, маршруты, сроки. Да и вообще, надо увидеться, познакомиться, заручиться доверием друг друга.

Да нет, все будет хорошо. Но на всякий случай...

На всякий случай я напишу письмо отцу. Оставлю у себя на письменном столе, где его легко будет найти, если я не вернусь. Над текстом долго раздумывать не пришлось.

1 марта вечером я выеду из Хангвайде в твердой уверенности, что вернусь своевременно и в добром здравии, благополучно исполнив задуманное. Однако, во избежание неопределенности, я пишу сейчас это письмо, которое должно все объяснить, если со мной случится что-то непредвиденное.

Сразу по возвращении из США мне стало известно, что наш кузен Томас Фрич из Бад-Бланкенбурга задумал вместе с двумя своими друзьями летом этого года бежать из страны. Он попросил меня помочь ему в этом деле, и я обещал ему сделать все, что будет в моих силах. С тех пор, готовя план действий, мы с ним состояли в регулярной, хотя и очень осторожной переписке. Но теперь назрела безусловная необходимость обсудить все в деталях при личной встрече, с каковой целью я 1 марта и отправляюсь в Чехословакию, чтобы увидеться с Томасом и двумя его товарищами в Карлсбаде. Мы заночуем в гостинице "Народный дом".

Во всех наших письмах и приготовлениях мы соблюдали максимальную осторожность. Тем не менее, как уже было сказано, исключить непредвиденные последствия никак нельзя. Пожалуйста, простите, что я никого из членов нашей семьи в это дело не посвятил, ни к кому не обратился за советом и помощью, хотя это было бы более чем естественно. Это вовсе не знак недоверия с моей стороны, просто я посчитал, что незачем подвергать кого-то еще такому нервному напряжению, тем более на длительное время. В самом недалеком будущем я наверняка привлек бы к этому тебя или Буркхарда, так как моего опыта, знаний и навыков для практического осуществления этого предприятия явно было бы недостаточно.

Помимо меня еще только два человека в курсе этого дела. Во-первых, это школьная подруга матери Томаса, Маргарет Шаллер, от которой я и узнал о его планах. И, во-вторых, мой друг Клаус Грилле, который тоже обо всем осведомлен...

Все документы и письменные материалы касательно этого дела находятся в папке на моем письменном столе в Хангевайде, они там в отельном вкладыше (желтого цвета) с надписью "Лето 1974".

О моем отношении к этому делу, моих побуждениях и мыслях в связи с ним я здесь распространяться не хотел бы, в конце концов, я вовсе не намерен считать это свое письмо прощальным — слишком оптимистичные жизненные установки были положены в основу моего воспитания.

Рюдигер.

28 февраля, четверг вечером: готовлюсь к отъезду. Укладываю скромный туристический багаж в черную дорожную сумку. Паспорт с визой, билет. И самое главное — фотоаппарат, мое последнее увлечение. Но сейчас он нужен не для видовых снимков: надо сделать фотографии всех троих, для паспортов. Ну вот, осталось только прибрать в комнате.

Пятница, 1 марта 1974-го. Вечером пешком на вокзал. Местным поездом до Шорндорфа, где в 21.40 останавливается проходящий пассажирский Штутгарт — Прага. Еще через четверть часа — остановка в Швебиш-Гмюнде. Странное чувство: обычно я здесь выхожу и знакомым путем иду к родительскому дому. А сейчас поеду дальше, один. Взрослею? Меньше всего я думал об этом. У меня вдруг просто перехватило горло, впервые, из-за всей этой истории с Томом. Хорошо, что поезд уже трогается. Проезжать родной вокзал и не выйти — так, должно быть, чувствуют себя арестанты, которых куда-то везут...

Незадолго до полуночи поезд выезжает из Нюрнберга. Контингент пассажиров заметно изменился. Тех, кто сходит еще до границы, в вагоне не осталось.

В нашем купе все уже легли, но никто не спит. Кому вообще понадобилось ехать в ЧССР в начале марта? Студент-палестинец гордо демонстрирует кольца у себя на пальцах: чистое золото! Колец вообще-то многовато, но не так, чтобы слишком. В Чехословакии для новобрачных это большой дефицит. Он открыл эту рыночную брешь и таким образом финансирует свое обучение в университете. Разговор становится еще оживленнее, когда в него включается молодая чешская супружеская пара: с маленькой дочуркой они возвращаются домой. Жизнь здесь и жизнь там, изменения в Чехословакии пять с половиной лет спустя после Пражской весны. Симпатий к идеям Алек-

сандра Дубчека молодые люди нисколько не скрывают. О нынешнем положении дел говорят с разочарованием и даже цинизмом.

Глубокой ночью, в 2.56, в Ширндинге, пограничный и таможенный контроль. Неспешный, обстоятельный, таинственно-многозначительный. Чувство полной беспомощности: при желании тут с тобой могут сделать что угодно. Дальше в сторону Праги, пересадка в Эгере. Утром прибываю в Карлсбад. Пешком до гостиницы "Народный дом" — это одно из многих роскошных, но обшарпанных зданий, явно знававших лучшие времена. Облупившийся, полинялый лоск великосветского курорта, преуспеяние и роскошь девятнадцатого столетия, прихваченные в котомку социализмом и равнодушно волочимые дальше. Повсюду едкий, неистребимый запах дезинфекции. Потертое напольное покрытие из волокна кокосовой пальмы либо страшный, потрескавшийся линолеум с узорами под персидские ковры. Унылая стойка администратора в гостиничном вестибюле, безнадежно вымершем в это субботнее утро.

Администратор, пожилой, коренастый человечек в круглых очках, оказывается в курсе дела.

— Да-да, Фрич, четыре места. — Мягкий чешский акцент. — Ваш паспорт, пожалуйста.

— Конечно, прошу.

Человечек, явно озадаченный, вдруг замирает. Потом, скорее растерянно, без всякого административного гонора, тихо говорит:

— Но это ведь западногерманский паспорт.

— Да, и что из этого?

— А бронирование было из ГДР.

До чего же легко проколоться! Что теперь? Этот старичок, видимо, обязан заявить? На кого он вообще работает? Я краснею, что-то лепечу, заикаюсь, но потом интуитивно делаю, видимо, единственно правильное: все еще бормоча какие-то невнятные объяснения, достаю из кармана кошелек и кладу на свой паспорт десять марок. Только вот не мало ли? Сколько это на чехословацкие деньги.

Старичок смущенно отводит глаза, все происходящее явно ему неприятно. Но прерывает мои путаные оправдания:

— Да знаю, знаю, родственники, две Германии.

И, буркнув про себя что-то еще, кладет передо мной на стойку гостиничный формуляр и ключи от номера.

Номер большой, на четверых, обстановка убогая, с бору по сосенке: четыре кровати, умывальник, зеркало. Кто вообще додумался выпускать обои с таким уродливым рисунком? Я сел на кровать. Что теперь? Что предпримет старичок?

Можно ли на него положиться? Но изменить-то я уже ничего не могу. Тут либо пан, либо пропал. Уехать, потребовать паспорт и наутек? Исключено. Значит, только надеяться. Ну и для верности, еще немного подстраховаться?

Я снова спускаюсь в вестибюль, выжидаю, пока у стойки никого не будет, и, сдавая ключ, произношу тщательно заготовленную благодарность:

— Очень вам признателен за то, что вошли в мое положение.

Старичок расплывается в улыбке и купюру в двадцать марок на сей раз принимает без колебаний. Даже слегка кланяется в знак благодарности.

Только теперь я осознаю, что мне предстоит целый день провести в Карлсбаде, а я к знакомству с городом и осмотру достопримечательностей вообще не готовился. Но ребята приедут только к вечеру. В белесом свете холодного зимнего солнца передо мной лежал город, исполненный загадочного прошлого. Я брожу по его улицам и курортным паркам, фотографирую остатки распадающегося имперского великолепия — взлеты красивых лестниц, гордую осанку дворцов. Покупаю себе знаменитых карлсбадских облаток, и вправду отменных на вкус, а возле павильона, где полагается пить воду, приобретаю на редкость безвкусную фарфоровую кружку. Пробую, разумеется, и целебной воды из источника — одного раза оказалось достаточно...

Углубившись в размышления, я бреду по променаду, как вдруг меня кто-то окликает. Супружеская пара, та самая, из моего купе. Мы и не знали, что едем в один и тот же город, когда на вокзале в Эгере потеряли друг друга из виду. Оказалось, они здесь живут. Радость от неожиданной встречи, растерянный разговор и вдруг, внезапно, — трогательный жест искреннего гостеприимства, повергший меня в затруднение.

— Так заходите в гости!

Все во мне противится этому приглашению: не хочу я никаких контактов, никаких непредвиденных встреч. День и так принес достаточно треволнений, и еще не известно, что меня ждет к вечеру. К тому же я не хочу навлекать на этих милых людей неприятностей, как знать, может, я и сам уже “на крючке”? Но как же быть, когда тебя так радушно приглашают? Ничего, ровным счетом ничего не приходит мне в голову, даже самой дурацкой отговорки не могу придумать.

— Спасибо, отличная идея, — бормочу я, улыбаюсь своим недавним попутчикам и спешу прочь. Никогда не забуду их растерянных, изумленных лиц, когда я вот этак, на полуслове, просто повернулся и пошел...

В гостиницу я вернулся слишком рано, задолго до приезда Томаса с друзьями. Тем томительней тянулось ожидание. А их все не было, и к назначенному сроку тоже. Понапрасну светиться в вестибюле или маячить перед входом тоже не хотелось. Пришлось без толку торчать в номере. И опять, конечно же, накатили самые мрачные мысли, казалось, все пошло прахом, даже не успев начаться. Все впустую? Неужели ребята провалились?

Слава богу, нет: причиной задержки оказалась всего лишь обычная проверка с пристрастием на границе ГДР. Трое школьников, завтрашние выпускники, просто так едут в Карловы Вары на выходные? Что-то тут неладно! Опрос всех троих по отдельности. Но все отвечали складно, расхождений в показаниях нет. Ребята знали, что их может ждать, и подготовились! Одно только странно: у двоих в кошельках по золотой монете. "Так это талисман, на счастье!" — "Тогда давайте-ка лучше мы их побережем. А то, чего доброго, потеряются!" — Пограничники "любезно" изъявили готовность принять ценности на хранение, пока ребята не вернутся. Исключительно в целях сохранности. "Вы же не хотите, чтобы они у вас в ЧССР пропали, верно?.. Ну, вот видите". — Но потом, под самый конец, неожиданная ловушка. "А остановитесь где?" — "В Карловых Варах". — "А если поточнее?" — "Гостиница 'Народный дом'". — "Это мы сейчас проверим".

— Ну и что же?

Томаса и обоих его друзей буквально распирает, едва успев со мной познакомиться, они наперебой спешат рассказать, как все было.

— Они сюда позвонили.

— И что?

— Спросили, действительно ли мы заказали здесь номер и на сколько человек.

— И что им ответили?

— Им сказали, да, номер заказан, на фамилию Фрич. На троих.

Я готов был кинуться на шею своему старичку. Когда, уже поздним вечером, мы отправлялись в город поужинать, я вытряс ему на стойку всю мелочь, не оставив себе ни гроша западной валюты. Администратор плутовато улыбнулся и пробормотал "спасибо".

Чешская кухня, чешское пиво! Один "пильзнер", потом один "будвайзер", а теперь, пожалуй, еще один "пильзнер", ну и можно двигать в другой кабачок... В нас все бурлило от ликования, мы прорвались! Подмазать администратора, это

ж надо сообразить! Друзья Томаса, знавшие обо мне только с его слов, теперь, похоже, прониклись ко мне доверием. Наконец-то мы можем все спокойно обсудить, согласовать время, сроки, обдумать подготовку, оценить риски.

С золотыми монетами — это, конечно, дурость. Ребята решили, что отдадут их мне, а я у себя продам. Таким образом, мы добудем деньги на все, что понадобится. Идея в принципе неплохая: в ГДР эти монеты мало кто покупал, а на Западе они ценились существенно дороже. Но осуществлять замысел надо как-то иначе. Максимилиан тут же предложил:

— Когда в Лейпциге ярмарка, у нас регулярно останавливается коммерсант из Штутгарта. Демельт его фамилия. Можно его попросить.

— Это значит, еще один будет про все знать.

— Ничего, он мужик надежный.

Для дальнейшей переписки мы разработали условный шифр: Швейцария будет означать у нас Восточный Берлин, Франция — Румынию, а Англия — Болгарию. Окончательно определить маршрут побега мы пока что не могли. Для этого мне предстояло еще многое выяснить и уточнить. Одно стало ясно: Югославию из наших планов можно спокойно исключить. Ребята узнали, что туда их ни за что не выпустят. Югославия пользовалась во всем соцлагере сомнительной славой ненадежного союзника, который склонен лавировать между двумя непримиримыми идеологическими фронтами. К тому же оттуда проселочными дорогами легче легкого было перебраться в соседнюю Австрию или морем, через Адриатику, в Италию.

В воскресенье с утра вместе гуляем по тонущему в тумане Карлсбаду. Я фотографирую ребят, стараясь сделать снимки, пригодные для загранпаспорта. Потом мы по очереди фотографируемся друг с другом.

— Сделано в ГДР, экспортное качество, — уважительно тянет Максимилиан при виде моего нового зеркального фотоаппарата “Porst CX 6”. Это же “Практика”! Продукция заводов “Пентакон” из Дрездена. Только на экспорт идет.

Многие предприятия ФРГ поставляли свою продукцию из ГДР, где производственные расходы были существенно ниже, чем на Западе. А руководство ГДР благодаря этому дорывалось до вожделенной валюты.

Но вот и пора прощаться — наш бурный уик-энд подошел к концу. Наши прямые, без утаек и недомолвок, разговоры окажутся очень важны при дальнейшей подготовке. Однако такие личные встречи — все же большой риск, и мы решаем,

что теперь будем общаться по переписке, передавая весточки (а при возможности и монеты) через друзей и знакомых. Все-таки не так бросается в глаза, как встречи двух людей по фамилии Фрич, одного с Запада, другого с Востока...

К сожалению, я не один, вместе со мной еще двое друзей тоже готовы поставить на карту свои жизни. Так написал мне Томас еще прошлой осенью, в своем первом посланий. Ну конечно, я помогу его друзьям точно так же, как готов помочь ему самому. Для меня это было само собой. Твои друзья — мои друзья. И вот мы впервые встретились — и сразу отлично поладили. Рассудительный, хладнокровный Бернд Херцог с его невозмутимым суховатым юморком и куда более живой Максимилиан Рётинг[1], умевший так заразительно смеяться, — оба честные, открытые ребята, самостоятельные, мыслящие и к тому же знающие толк в шутке.

Возвращение из Карлсбада. На подъезде к границе поезд замедляет ход, потом вообще почти останавливается — прямо у самых пограничных заграждений. В моем купе никого — чем не возможность сделать парочку интересных фото! Я меняю объектив на телескопический, высовываюсь из окна и азартно принимаюсь щелкать. Так, теперь направо — и вдруг в объективе все загораживает спина чехословацкого пограничника, в каком-то десятке метров от моего окна! Я чуть камеру не выронил с перепуга. "Идиот, кретин, олух несчастный! Фотографировать пограничные сооружения! Взгляни он в твою сторону, и все — тебе крышка! Своими дурацкими мальчишескими шалостями ты мог все испортить! Хороша была бы пленочка: сперва все трое твоих друзей-приятелей, а потом пограничные сооружения!"

Буркхард

Пятница, 15 марта 1974. Из случайного разговора с Кристианом Вильгельми узнаю, что на Пасху он собирается в ГДР. Сам он, уже давно, тоже бежал из республики. Но по его "преступлению" уже истек срок давности. Теперь ему снова, правда изредка, разрешен въезд, и он как раз собрался навестить своих родственников. Я недолго колебался — ведь это еще один канал связи! Кристиану можно верить. А коли так, я напрямую изложил ему суть дела. Согласится ли он встре-

1. Настоящее имя Максимилиана — Томас Рётинг. Во избежание ненужной путаницы для данной книги его пришлось изменить. (*Прим. автора.*)

титься с ребятами, обменяться информацией и, возможно, переправить от них золотые монеты?

— Само собой.

Суббота, 16 марта 1974 года. В родительском доме собирается все наше семейство; завтра у Ульриха, моего младшего брата, конфирмация. Я приехал из Хангвайде, мой старший брат Буркхард — из Мюнхена. Перед обедом мы с ним сидим у меня в комнате. Я решился: надо и Буркхарда посвятить во все, один я не справлюсь, мне нужен помощник. КаГе, мой верный друг и однокашник Клаус Грилле, конечно, тоже поможет, но он слишком далеко. А на Буркхарда и с финансовой точки зрения можно рассчитывать, он хоть и студент, но в университете еще и работу нашел. Сейчас я ему все изложу, спокойно и взвешенно.

— Кстати, тебе привет от Томаса, нашего двоюродного братца. — И тут мне вдруг отказывает голос, комок сжимает горло. Я набираю в грудь побольше воздуха. — Мы с ним тут недавно виделись, две недели назад, в Карлсбаде. Он бежать надумал.

Буркхард отреагировал точно так же, как и я: ни секунды колебаний, никаких "да" или "нет", только "как". Мы тут же решаем подключить к этому делу Эде Вайга, еще одного нашего товарища по интернату.

На конфирмацию приехал и наш кузен Хельмут, большой любитель путешествовать. Совсем недавно он совершил круиз по Черному морю. Какое удачное совпадение! С дотошностью, которая не может не показаться странной, мы, стараясь не упустить ни одной мелочи, начинаем его расспрашивать. Как производится посадка-высадка в портах Румынии и Болгарии? В газетах ведь то и дело пишут о попытках побега из ГДР, в том числе и через страны на черноморском побережье. А что, незаметно "просочиться" на западный круизный лайнер — это же просто идеальное решение! Но Хельмут только отмахивается:

— Да вы что! Знаете, как там за этим следят!

И во всех подробностях описывает нам меры безопасности, которые успел приметить за время путешествия. Нам сразу стало ясно: этот вариант тоже отпадает.

Хангвайде, 18 марта 1974

Дорогой Томас!

С 3 марта много всего произошло. Мне наконец-то удалось повидаться с Буркхардом и показать ему новинки в своей коллекции минералов. Как я и предполагал, его это очень увлекло, так что теперь многое в этой области мы будем предпринимать сообща. Кроме того,

я связался и с некоторыми специалистами, ведь наше хобби — совсем не пустячная забава, нужно постоянно изыскивать новые пути и возможности, чтобы собрать действительно достойную коллекцию. На Пасху мой добрый приятель отправляется в вашу республику, он тоже коллекционирует минералы, но специализируется только на рудоносных. А ты, помнится, писал, что у тебя как раз есть несколько экземпляров. Вот и покажешь их ему как знатоку, а может, он захочет с тобой обменяться, сколько я знаю, это ведь не запрещено...

Как я уже сообщал тебе в предыдущем письме, на летние каникулы я собирался поехать во Францию. Однако сейчас в виду возникших препятствий все больше склоняюсь к мысли отправиться куда-то еще. Впрочем, поскольку на расстоянии судить обо всем этом трудно, я постараюсь заблаговременно навести справки на месте...

Буду рад вскорости получить от тебя весточку,
сердечный привет,

твой Рюдигер.

А на следующий день я получил более чем странное письмо от Максимилиана.

Нойоберхаус, 19 марта 1974

Дорогой Рюдигер!

Я переговорил со своим знакомым из Штутгарта насчет обмена минералами, но он особого интереса не проявил. Подозреваю, что он даже попытается отговорить тебя от дальнейших обменов, но нас, имей в виду, они по-прежнему интересуют.

Томас передавал тебе привет, у него, к сожалению, много дел и не доходят руки тебе написать.

С дружеским минералогическим приветом.

Что бы все это могло значить? Вероятно, Максимилиан имеет в виду того самого предпринимателя из Штутгарта, который живет у его родителей в Лейпциге, когда приезжает на ярмарку. Пришедшее вскоре письмо от некоего господина Демельта внесло некоторую ясность.

Штутгарт, 22 марта 1974

Уважаемый господин фон Фрич!

На прошлой неделе я был на Лейпцигской ярмарке и, как и все предыдущие годы, остановился в семье Отто Рётига. Его сын Максимилиан дал мне ваш адрес и просил передать, чтобы вы, по возможности, больше не писали вашему родственнику в ГДР писем, в которых склоняете этого молодого человека к нелегальному пере-

ходу границы или внушаете иные надежды, способные побудить его к необдуманному шагу. Между тем этот ваш родственник, судя по всему, находится под наблюдением властей, и подобными письмами вы, как уверил меня сын Рётига, Максимилиан, можете навлечь на него серьезные неприятности. Вся почта там перлюстрируется, так что прошу вас это учесть на будущее.

Сын Рётигов хотел договориться с вами о встрече в Восточном Берлине, но его родители категорически возражают, что я лично очень хорошо понимаю: практически все молодые люди мечтают вырваться из тисков гэдээровского режима, но трудности на этом пути столь велики, что о реальной возможности говорить не приходится. Вы, конечно, и сами знаете, что с недавних пор даже наше правительство оказывает содействие властям ГДР в этом вопросе, что я лично вообще отказываюсь понимать. Но я категорически против того, чтобы молодые люди подвергали себя такой опасности, ведь им грозит от семи до восьми лет заключения, да и после отбытия наказания, как вам наверняка известно, репрессии не кончаются, так что, по сути, такой вот неудачный побег означает для молодого человека утрату всяких перспектив в жизни.

Цель этого моего послания — объяснить вам истинное положение дел, и, надеюсь, вы со мной согласитесь. Пожалуйста, не упоминайте об этом моем письме, если продолжите писать вашему родственнику. Семейство Рётиг также категорически не желает, чтобы их фамилия упоминалась в этой связи. Надеюсь, вы и в этом отношении проявите понимание.

С наилучшими пожеланиями,

Демельт.

Ну а это как понимать? Что все это значит? Что там случилось? Может, Демельт оказался вовсе не так надежен? Неужто у Тома и правда неприятности? Или, наоборот, Максимилиан в разговоре с Демельтом, после того как тот побеседовал с его родителями, уперся и все отрицал? Сплошные загадки, и понять ничего нельзя. Да почему же нет возможности просто поговорить друг с другом, почему, черт возьми, все так сложно?! Пока ясно только одно: этого Демельта надо немедленно успокоить. А коли так, я снова сажусь за свою старенькую пишущую машинку.

2 апреля 1974

Многоуважаемый господин Демельт!

Сердечное спасибо за ваше письмо от 22 марта. Очень любезно с вашей стороны, что вы приняли столь деятельное участие в судьбе Максимилиана Рётига и моих родных.

Опасения и риски, обрисованные в вашем письме, мои родные в своих письмах ко мне, по понятным причинам, не могли изложить с такой же ясностью, и я весьма признателен вам за то, что вы, владея всей полнотой информации, это сделали. Вероятно, молодости свойственно не замечать опасностей или недооценивать их. По счастью, в переписке с моими родственниками пока что обсуждались все больше мировоззренческие и философские вопросы общего характера, хотя иной раз и проявлялись, возможно, известные политические тенденции. Не исключаю, что в этом отношении имел место некоторый перегиб с моей стороны, и теперь мне совершенно ясно, что надо быть предельно осторожным, ибо меньше всего я хочу навлекать на своих родственников какие бы то ни было неприятности.

Еще раз большое вам спасибо за ваше любезное письмо и неоценимую помощь, этим письмом оказанную.

С наилучшими пожеланиями,

Рюдигер Фрич.

В одном я себе поклялся: если затея наша все-таки удастся, мы все вместе обязательно к этому Демельту съездим! Представляю, какая у него будет физиономия!

Письмо, пришедшее вскоре от Тома, хотя бы отчасти все же меня успокоило — впрочем, судя по всему, Томас к этому времени об истории с Демельтом вообще еще ничего не знал.

Нойоберхаус, 1 апреля 1974

Дорогой мой Рюдигер!

Большое тебе спасибо за твое письмо, а также за письмо от твоего брата (по штемпелю от 25.03). Ему я тоже скоро напишу. Особенно меня порадовало, что он тоже намерен обмениваться со мной минералами. Какая, однако, удача, что твой приятель Вильгельми имеет такой интерес именно к рудоносным минералам, которых у нас тут сейчас предостаточно. А каталоги он может привезти? Разумеется, мы с ним встретимся, Шверин — это совсем не край света. Заодно могли бы по такому случаю и вдоволь поболтать о столь увлекательных областях нашей любимой геологии... Что слышно насчет твоих планов съездить в отпуск во Францию? У тебя достаточно времени, чтобы подготовиться к поездке?..

Сердечный привет,

твой Томас.

Сразу после Пасхи я навестил Кристиана Вильгельми в Штутгарте. Тот встречался с Берндом в Шверине и привез

золотую монету. Хоть какой-то просвет! В остальном — ничего хорошего. Хотя трое наших друзей не оставили своего замысла, но теперь всерьез подозревали, что угодили "под колпак" целенаправленной слежки. Не последнюю роль в этих переменах сыграли, очевидно, нежелательные политические разговоры, которые все трое действительно вели в школе. Как бы там ни было, а домой к родителям Тома уже приходила полиция. В связи с чем ребята просили теперь проявлять особую осторожность в последующих письмах.

Как же нам теперь быть? Я решил написать два письма: одно КаГе, которому я объяснил ситуацию, попросив второе письмо переслать Тому со своего адреса и как бы от своего имени.

Хангвайде, 19 апреля 1974

Дорогой Клаус!

...В нашем недавнем телефонном разговоре ты очередной раз выказал горячую готовность помогать мне в деле с моим двоюродным братом. Я считаю, это очень благородно с твоей стороны, ибо это отнюдь не само собой разумеющаяся мелкая услуга. Именно поэтому прошу тебя: будь предельно честен, чтобы в любой момент, когда дело покажется лично для тебя слишком рискованным, суметь сказать "нет". Тем временем я уже сейчас хотел бы воспользоваться твоей готовностью помочь и потому обращаюсь с просьбой: не согласишься ли ты предоставить свой адрес в качестве передаточного для всей поступающей "оттуда" и уходящей туда корреспонденции?.. Проще говоря, все письма, которые я пишу туда, я сперва пересылаю тебе, а уж ты отправляешь их со своего боннского адреса. А мой кузен и его друзья, когда захотят черкнуть мне пару слов, посылают свои письма тоже на твой адрес, а ты пересылаешь их мне. Разумеется, все письма ты спокойно можешь читать. Это первое.

Второе, куда более существенное: чтоб окончательно уточнить время, место и прочие детали нашей акции, мы договорились 25 мая встретиться в Восточном Берлине. Это предложение мне передал мой приятель, который на Пасху ездил к родственникам в ГДР и там с одним из наших друзей встречался. От него же мне стало известно, что положение там теперь обострилось. После нашей встречи в ЧССР, о которой ты знаешь, к родителям двоюродного брата наведалась полиция и строго "посоветовала" оставить все мысли, планы, а тем паче приготовления к бегству из страны. Это означает только одно: вероятней всего, мой двоюродный брат находится теперь под наблюдением... Вот почему мы оба, и он, и я, не

хотим, чтобы наши адреса и фамилии фигурировали в переписке. Это объясняет тебе мою первую просьбу. К тому же я теперь вынужден опасаться, что в ГДР уже выписан ордер на мой арест за пособничество бегству из республики или по подозрению на таковое пособничество. Иными словами: самому мне ехать в ГДР или в Восточный Берлин равносильно самоубийству. Но встреча все равно должна состояться. Так вот, вторая, огромная моя просьба к тебе: не можешь ли ты вместо меня на эту встречу пойти? В Берлин мы полетели бы вместе, и я остался бы в западном секторе тебя ждать. Все расходы я, разумеется, беру на себя в полном объеме... Ответь, пожалуйста, поскорее, если ты не сможешь, — за что я нисколько на тебя не обижусь, — мне надо будет найти кого-то еще. Слишком часто использовать для этой цели моего родного брата не хотелось бы, у него та же фамилия, а, кроме того, он встретится со всеми троими еще до этого.

Кроме того, я попросил Клауса сообщить мне данные своего паспорта на тот случай, если они вдруг понадобятся, а также обратиться в болгарское торговое представительство, дабы узнать *срок действия болгарской транзитной визы со дня ее выдачи и сколько времени нужно на оформление? Лучше всего запросить по телефону, на всякий случай, под чужим именем.*

Теперь надо было объяснить все это Тому, а заодно и уведомить его, что вся переписка отныне будет идти через КаГе. Для пущей конспирации я на сей раз подписался как Клаус-Рюдигер.

19 апреля 1974

Дорогой Томас!

Твою последнюю открытку и письмо получил, большое спасибо. Рад, что у тебя все более или менее хорошо, хотя в школе тебе, как я понимаю, не помешало бы чуть больше везения. Буду ругать тебя изо всех сил ввиду предстоящих выпускных экзаменов!

У меня все тоже идет своим чередом, и, если не считать мелких забот и затруднений, какие бывают в жизни у каждого, я вполне могу быть доволен. За трудности на работе меня с лихвой вознаграждает мой любимый конек, минералогия, которой я отдаюсь с огромной радостью и большим рвением. На сегодняшний день предмет моей особой гордости — великолепный экземпляр, привезенный мне приятелем из его пасхальной поездки. Это редкий рудоносный камень, радующий глаз уже своим внешним видом. Но и помимо этого приятель обрадовал меня многими новыми сведениями и познаниями, ибо он в этом отношении большой дока.

Ведь здесь у нас в Швабии тоже встречаются замечательные окаменелости юрского периода, так что я часто хожу в походы в Швабские Альпы.

Но сейчас моя первейшая цель — Цюрих, где я намерен посвятить себя прежде всего осмотру достопримечательностей города и его художественных сокровищ. А вот мой друг больше интересуется загородными экскурсиями, к тому же у него там, за городом, друзья, которых он намерен навестить, но это, скорей всего, без меня, я слишком увлекся историей и ограничусь музеями. Впрочем, больше не буду докучать тебе этими подробностями.

Что до летних моих отпускных планов, то они, скорей всего, будут связаны с Англией, хотя это еще не вполне ясно, да и время окончательно все уточнить пока еще есть. Какие планы у тебя? Вам-то до шикарных пляжей рукой подать, на Балтике у вас должно быть чудесно, с каким удовольствием я бы всюду там побывал! Наши курортные места на Северном и Балтийском море, к сожалению, давно превратились в омерзительные загоны для одержимых буржуазным потребительством обывателей. Чтобы как следует отдохнуть, надо ехать куда-нибудь подальше.

Еще раз желаю тебе ни пуха ни пера перед выпускными экзаменами,

с сердечным приветом,

твой Клаус-Рюдигер.

Полагаться в общении только на переписку становилось все трудней, да и небезопасно... Личную встречу, разговор с глазу на глаз ничто заменить не может. Вот почему Буркхард и Эде Вайг, оба прежде ни в каких подозрительных контактах не замеченные, в апреле отправились в Восточный Берлин. Там они встретились с нашими друзьями в ресторане "Будапешт", рассказали, как продвигается наша подготовка к акции и обсудили дальнейшие планы. После ресторана все отправились на вечеринку в частную квартиру на Франкфуртской аллее. Приглашал Андре Дингельс, друг Максимилиана. Квартира в мансардном этаже, голая, почти не обставленная. Много молодежи, музыка, танцы — все как у нас, на Западе, только гораздо теплее, сердечнее... Уже в полночь Буркхард и Эде снова должны были быть на Западе. На сей раз им удалось пронести с собой несколько монет, что существенно облегчило дальнейшее финансирование нашей операции. И еще кое-что они протащили контрабандой: весьма ценные негативы. В мае 1968 года в Лейпциге, невзирая на протесты и возмущение горожан, была взорвана древняя университетская церковь. Отцу Мак-

симилиана удалось "увековечить" этот "акт прогресса" на фотопленке.

Во время этой поездки Буркхард и Эде встречались с Томасом еще раз. Потом, задним числом, все сошлись во мнении, что это была легкомысленная и весьма опасная затея. Местом встречи выбрали автостоянку на "внутризонной" автостраде Хоф—Берлин, неподалеку от Шляйца. Автомобильное сообщение между ФРГ и Западным Берлином осуществлялось по трем так называемым автотранспортным пограничным коридорам, или внутризонным автострадам, проходившим по территории ГДР, которыми имели право пользоваться граждане ФРГ и Западного Берлина, разумеется, после прохождения пограничного контроля, но без всякого специального разрешения. Вместе с тем это были самые обычные транспортные артерии ГДР, которыми, разумеется, пользовались и ее граждане. Возможность встречи между гражданами двух стран на этой автостраде напрашивалась сама собой, и именно поэтому вся трасса находилась под неусыпным наблюдением органов госбезопасности.

Буркхард и Эде точно в назначенное время ждали на небольшой автостоянке, куда должен был подъехать и Томас. Но его все не было. Хотя жил он совсем рядом. Замена шины, которую Буркхард и Эде инсценировали с величайшей обстоятельностью, не могла длиться бесконечно!.. Наконец появился Томас, он примчался на своем мотоцикле — вырваться раньше, не навлекая на себя подозрений домочадцев, он никак не мог. Буркхард и Эде уже сидели в машине, когда Томас, ничего не объясняя, сунул им в окно некий сверток. Еще одна контрабанда, припрятать которую оказалось куда трудней, чем золотые монеты: это был старинный диплом нашего рода, с печатями, в латунной раме с завитушками, да еще и в цинковом футляре.

П*ройдемте!*

Лишь теперь до моего сознания мало-помалу стало доходить, что операцию мало только спланировать — ее придется осуществить. Что уже вскоре план придется назвать окончательным и назначить дату его исполнения. И дата эта совсем не так далеко, ведь Том, Максимилиан и Бернд уже начинают сдавать выпускные экзамены, после чего им почти сразу предстоит отправиться "под знамена", то бишь в армию...

Дельце, которое мы еще недавно столь игриво, шутя собирались провернуть, на глазах теряло всякие признаки шутки,

щекотка азарта сменилась настоящим, нешуточным страхом. Вся эта история начинала меня мучить. Ибо постепенно мне становилось все яснее, чем она оборачивается для всех — в том числе и для меня лично. Я ни о чем больше думать не мог. Она все чаще преследовала меня даже в снах. Я просыпался в холодном поту, испытав ужас очередного провала. Нас арестовывали. Все пошло насмарку, мы опять чего-то не предусмотрели. А позже, ближе к отъезду, мне стало сниться, что "они" стреляют. Или вот-вот выстрелят. В меня, в ребят. А под конец, уже накануне отъезда, последний сон: нас казнят. Расстреливают. И на сей раз я проснулся не до, а уже после выстрелов...

Но другого выхода я для себя не видел. Как будто впереди туннель, через который надо пройти. И казалось: если мы все сделаем правильно, в конце, может быть, увидим свет.

Но как же быть с законом? С виной? Подделка паспортов — это ведь преступление. Разумеется, мысль об этом иной раз мелькала у меня в голове. Но нисколько, ни на секунду не отягощала мою совесть. Да, я осознавал: деяния мои уголовно наказуемы. Но, с другой стороны, я твердо, ни секунды не сомневаясь, знал и другое: я борюсь за правое дело, но волей обстоятельств вынужден действовать по ту сторону закона и права. Я знал: я руководствуюсь понятиями морали, порядочности и чести, которые в данном случае оказались за пределами писаных правовых норм. То, как руководство ГДР обращается со своими гражданами, попросту отменяет всякое право. Перед лицом столь вопиющей безнравственности бесполезно апеллировать к праву, здесь вступает в силу только высшая мораль. Я много над этим думал, глубоко это прочувствовал и не раз обсуждал в разговорах с Буркхардом, с КаГе, с Эде. Да, в высшем смысле право на нашей стороне. А кроме того и прежде всего: нами движет еще и чувство долга.

План наш между тем вырисовывался все отчетливее: бежать надо не через внутригерманскую границу, и вообще это должен быть не побег, не пересечение границы нелегально, а вполне законный выезд через одну из социалистических стран. Может, через Чехословакию или Венгрию — в Австрию? Слишком очевидно и просто, этот вариант нашими противниками наверняка и во всех комбинациях давно просчитан.

Нет, нам надо придумать что-то, что сработает наверняка. С хорошо подделанными паспортами и желательно неожиданно для противников, а это, в первую очередь, значит — "не в том" направлении. То есть не на запад, а на восток! И в то же время не каким-то экзотическим, а популярным, излюб-

ленным туристами, даже избитым маршрутом. И один такой маршрут я знал. В 1972 году я сам им воспользовался, возвращаясь с Кипра.

Мне там, на Кипре, его и подсказали. Добраться до Стамбула, а там, от окраины города, автостопом через Болгарию, Югославию и Австрию. Там же я узнал, где найти болгарское консульство, чтобы оформить необходимую транзитную визу. Оказалось, что маршрут этот чрезвычайно популярен, им охотно пользуются молодые турецкие работяги, возвращаясь в Германию из отпуска. Вот и мы двинемся так же, только в противоположном направлении: сделаем из Тома, Максимилиана и Бернда западногерманских хиппи, которые на попутках через все Балканы добираются до Стамбула, чтобы оттуда отправиться еще дальше, "в страну востока". Да, это то, что надо, это может сработать! Длинные волосы у них и так, а хиповый прикид и нехитрое походное снаряжение мы для них раздобудем. Дело за малым — где взять фальшивые паспорта?

Да, это может сработать, должно сработать. Если все получится. Если заполучить "ксивы". Только откуда? Какие? От кого? Кто их подделает? Фотографии, штемпеля и печати, личные данные — неужто и вправду такое возможно? Мои первые опыты особых удач не сулили.

Действительно ли это оптимальный вариант? Надо бы это обсудить. Но только как? Где?

Нам надо срочно снова встретиться. 25 мая в Восточном Берлине.

Вот так у меня и возникла идея вместе с КаГе отправиться в Берлин — но самолетом, поездка через всю республику по транзитной автотрассе казалась слишком рискованной. А уж там КаГе один, без меня, перейдет границу, встретится с ребятами и все с ними обсудит. КаГе, само собой, согласился.

Суббота, 25 мая, 9.00. Вместе с КаГе вылетаем из Кёльна в Берлин-Темпельхоф. Рейс британской авиакомпании — в Западный Берлин пока что разрешено летать только союзникам. По прилете, поскольку наши места в молодежной гостинице еще не освободились, сдаем багаж в камеру хранения в аэропорту и отправляемся шататься по городу. Встреча с ребятами назначена на 20.00, раньше они в Берлин не успевают. Где? Там, где все встречаются — на Александерплац, под часами со всемирным временем. Там всегда полно молодежи, легко затеряться в толпе, ребята будут там не так заметны. На городской электричке КаГе укатывает в сторону восточноберлинского вокзала Фридрихштрассе, где прямо на КПП можно получить визу для

"однодневного посещения столицы ГДР". Обсудив с ребятами все необходимое, КаГе как можно скорее должен вернуться: обратный рейс в Кёльн забронирован у нас уже на завтра.

Выехал КаГе с большим запасом. Времени у меня уйма. Чем заняться? Будем осваивать Берлин. Ведь я первый раз в городе. Совсем неподалеку от нашей гостиницы — бункер Бендлера, историческое место: здесь была штаб-квартира заговорщиков, планировавших покушение на Гитлера 20 июля 1944 года, почти тридцать лет назад. Чуть дальше — зияющий пустырь Потсдамской площади, до войны — одной из самых оживленных площадей Европы. Теперь от нее остались только фасад отеля "Эспланада" и одинокое здание питейного дома "Хут". И заросшие руины. За ними стена. Погуляв немного, я вскоре вернулся: не хотел пропустить возвращение КаГе. Напротив нашей гостиницы имелось небольшое кафе, туда он и должен был зайти по возвращении. Кофе, газета. Еще кофе. Кола. Я то и дело поглядываю на улицу. С возрастающим беспокойством. Девять вечера, десять, одиннадцать. Ему давно пора вернуться! Полночь! Куда он подевался?! В ноль часов границу перекрывают, дольше он задержаться просто не мог! Что там случилось? Не могли же его... Неужто "они" что-то учуяли? И тогда, выходит, я вместо себя просто подставил друга?

Он вернулся чуть ли не в час ночи, радостный, безмятежный, сияя от удовольствия. На Фридрихштрассе едва не опоздал на последнюю "западную" электричку! Ребят нашел сразу же. Они отлично поладили и вместе замечательно провели вечер. У меня с души отлегло: я так переволновался, что даже ругаться на него не мог.

"Болгарский" план ребятам показался очень даже дельным. Но нужно очень многое обсудить. И они считают, лучше всего сделать это прямо завтра, непосредственно со мной.

— Да, но...

— Никаких "но"! Они абсолютно уверены: тебе ничего не грозит. Все чисто. Железно.

— Да, но...

— Да нет же, поверь. Все в порядке. Я уже договорился с ними на завтра. К тому же мы забыли каталог монет. — Этот каталог ребята просили привезти, чтобы знать, какие из монет на Западе особенно в цене. — Ну же, не дрейфь, соберись!

Я позволил себя уговорить и "собрался".

На следующее утро — едем на восток. Свинцовое небо над всем Берлином. Невозможно поверить, что на календаре

май. Электричка трогается с Лертского вокзала, въезжает на мост через Шпрее и подкатывает к вокзалу Фридрихштрассе. С запада на восток — так близко. Выходим из поезда, становимся в очередь к окошкам паспортного контроля. Мне делается не по себе. Точь-в-точь, как при въезде в ЧССР. Только еще неприятнее. Опять это чувство полной беспомощности. Серые, голые коридоры. Тут и там проплешины облупившейся краски. Мертвенный неоновый свет. И этот омерзительный, неистребимый во всей ГДР запах "вофасепта", дезинфицирующего средства наподобие лизола. Надменный, властный взгляд пограничника. Ощущаешь на себе непререкаемость инструкций, беспредел произвола и страх неизвестности. Какого черта я на это пустился? Но пути назад уже нет. Хорошо хоть КаГе рядом.

Очередь въезжающих продвигается медленно, но вот уже показалась стеклянная кабинка контрольного поста. Скованность сменяется во мне страхом. Вот уже проходят те, кто стоял передо мной. Холодная, казенная любезность паспортистов. Паспорт взять, раскрыть, перелистнуть, взгляд на фотографию, взгляд на лицо. Паспорт исчезает под стойкой, снова перелистывается, вспышка, стук штемпеля. Паспорт возвращается. Следующий.

Это уже я. Паспорт взять, раскрыть, перелистнуть, взгляд на фотографию, взгляд на лицо. Паспорт исчезает под стойкой. Пограничник вскидывает глаза лишь на секунду, смотрит на меня, потом на КаГе. Потом, уже не поднимая глаз, как бы невзначай, тоном полнейшего безразличия:

— Вместе въезжаете?

— Да, а что?

— Тогда пройдемте.

Ну вот и все. Премного благодарен. Сибирь, считай, обеспечена. Если не что похуже.

Сразу за кабинкой распахивается боковая дверь, за ней коридор, "посторонним вход воспрещен". КаГе и меня уводят порознь, его направо, меня налево, в глухие, без окон, помещения.

— Вы позволите взглянуть, что у вас в сумке?

У меня черная сумка на ремне, множество карманов и отделений, все на молниях. Авиабилет, бумажник, план города... Ничего подозрительного не обнаружив, молодой пограничник скучливо приступает к допросу. Рядом напарник, этот только внимательно слушает. Личные данные. Цель приезда в Берлин? А в Восточный Берлин? С кем-то намерены встретиться? Что именно хотите осмотреть? Чем вообще занимаетесь? А ваш друг чем занимается? Он зачем приехал?

У него те же планы, что и у вас? Откуда вы друг друга знаете? И так далее, и так далее, и так далее...

Кажется, уже целая вечность прошла. Но где-то в глубине души возрастает уверенность и спокойствие. Уж к такой-то проверке мы подготовились. Нас так просто не возьмешь. Слишком долго мы занимаемся делами Тома, чтобы вконец утратить бдительность и на такой ерунде проколоться. Уж такой-то дежурный опрос "легенда", которую мы заранее выработали, как-нибудь выдержит. Да, друзья, по университету, в Восточном Берлине интересуют достопримечательности и знаменитые музеи, Пергамский алтарь, телебашня, нет, встреч никаких.

Второй пограничник выходит. Сверить ответы, как мы с КаГе догадываемся задним числом. На все про все уходит полчаса, не больше. После чего мне возвращают сумку.

— Всего хорошего.

Всего лишь дежурная проверка. Выборочная. Они даже не имели в виду нас конкретно! Просто по интуиции, чутьем решили этих двоих юнцов, на всякий случай, что называется, прощупать. Но ничего подозрительного не обнаружено, в показаниях противоречий нет. А коли так: "Всего хорошего".

Проверка оказалась настолько формальной, что эти гаврики не потрудились даже как следует обыскать мою сумку. По лености или по недосмотру пограничник не обратил внимания на отделение на тыльной стороне, прикрытое узенькой молнией по всему внешнему ранту. А между тем именно там он мог бы обнаружить по меньшей мере повод для непраздного любопытства. "О, да у вас с собой каталог монет? Зачем это он вам в ГДР понадобился?"

Повезло. Опять повезло! А может, у нас уже появился ангел-хранитель?..

Том, Максимилиан и Бернд ждали в условленном месте. Завидев нас, не здороваясь, медленно побрели куда-то в сторону. Мы не спеша последовали за ними. Только свернув в тихий переулок, они подпустили нас к себе. Как бы невзначай, на ходу, поздоровались. Куда податься? Разговаривать лучше всего на ходу. А почему бы и правда не взглянуть на Пергамский алтарь? Тогда пошли на Музейный остров!

Я еще раз изложил свой план. Со всеми соображениями и доводами. Итак: после выпускных вы едете отдохнуть в Болгарию, это проходит запросто. Мы добываем для вас три фальшивых паспорта: с вашими фотографиями, штемпелями транзитных виз в Югославию и в Болгарию. Эти визы дают вам право пересечь страну автостопом в течение двух суток. Мы встречаемся в Болгарии, превращаем троих

вчерашних школьников из ГДР в западногерманских хиппи, довозим вас до восточной болгарской границы, и вы по поддельным паспортам переправляетесь в Турцию. С целью дальнейшего путешествия в Индию или еще куда-то. Должно сработать!

Ребята слушали внимательно, сосредоточенно. Переспрашивали детали, обдумывали что-то про себя. Да, пожалуй, должно сработать. В принципе план вполне реальный, а выбранный маршрут — в рамках возможного — даже безопасный. Только вот достаточно ли убедительны будут паспорта? Насколько мы уверены в том, что вообще сумеем подделать паспорта, да еще так, чтобы они прошли пограничную проверку? Я рассказал о своих предыдущих экспериментах и пообещал сделать все, что в моих силах, чтобы вся наша затея не провалилась из-за неумелой подделки.

Какое назначим время? И где встретимся? У Тома и ребят последний выпускной экзамен в начале июня. После чего они могут отправляться на отдых в Болгарию, а что, солнце, море, ничего подозрительного.

— Когда-то в первых числах июля чемпионат мира по футболу заканчивается. Не важно, кто будет в финале. Но этот день — идеальный срок для вашего выезда из Болгарии. Даже болгарские пограничники ни о чем, кроме футбола, думать не будут.

— Тогда встречаемся вечером накануне финала. Прямо у моря.

— Я уже бывал в Несебре. Там пирс, что-то вроде причала. Ошибиться невозможно.

— Тогда в 18.00?

Том опять привез с собой золотую монету. Я сунул ее в кошелек, припрятал среди мелочи, а Тому отдал каталог.

В Западный Берлин мы вернулись без приключений. Погода не улучшилась. В тот же вечер мы улетели в Кёльн, а на следующий день вместе с КаГе уехали в Швебиш-Гмюнд.

Филигранная работа

Уже вскоре я отправился в Ульм, где в специализированном магазине для туристов легко нашел и большие вещмешки, и нехитрую походную утварь, какую могут прихватить с собой трое длинноволосых парней, отправляясь автостопом через все Балканы в Турцию...

Но главным предметом моих занятий, в которых я погрязал все больше, становился канцелярский мир удостовере-

ний, печатей, штемпелей и фото. Приняв решение подделать паспорта самостоятельно, я, как выяснилось, пробудил в себе невиданные ресурсы трудоспособности. Меня просто распирал тщеславный азарт выполнить подделку, что называется, без сучка без задоринки. Не покладая рук, часами просиживал я за письменным столом, снова и снова опробуя и совершенствуя не ведомые прежде навыки. Мне бы год назад столько усердия, когда к выпускным экзаменам готовился! Оказывается, все дело в мотивации.

Самым трудным оказалось разработать и довести до нужной кондиции технологию изготовления поддельных штемпелей. Отправной точкой послужил штемпельный оттиск болгарской транзитной визы, увековеченный в моем заграничном паспорте при возвращении автостопом после Кипра, — по счастью, в очень четком исполнении. На этот "оригинал" я наложил прочную прозрачную кальку, осторожно зафиксировав ее по краям клейкой лентой. Затем с помощью угольника и тончайшего чертежного рейсфедера я перенес изображение штемпеля на кальку. А ведь болгарский штемпель отнюдь не гигант, 42 на 28 миллиметров, и большинство линий на нем шириной не больше полмиллиметра, а кое-какие еще тоньше. Вот почему уже при копировании изображения требовалась величайшая точность. Чтобы добиться полного сходства, я старался один в один повторить даже тончайшие линии внутриконтурной заштриховки.

Перенеся таким образом изображение штемпеля на кальку, я аккуратно извлекал ее из паспорта, после чего, перевернув копию лицом вниз, клал ее на вощеную поверхность (в просторечии восковку или вощанку) матричного листа.

Матричные листы — характерная техническая примета эпохи до изобретения современной копировальной техники. Применялись они для распечатки на простейших множительных аппаратах малым тиражом небольших текстов, равно как и рисунков. В каждой школе стояли такие аппараты — ротапринты, — готовые в любой момент лиловым машинописным шрифтом распечатать на желтоватой, пористой, легко впитывающей краску бумаге вопросы и задания для любой контрольной работы. В память — вместе с неразрешимыми задачками по математике и убийственными столбцами словарных тестов — навсегда врезался легкий сладковатый запах спирта, от этих листков исходивший.

Матричные листы были как бы двухслойными: под тонким листом специальной бумаги пряталась копировальная пленка с нанесенным на нее тончайшим слоем вощеной краски. Вот этой, особо тонкой и чувствительной, пленкой я и

пользовался, чтобы выполнить заготовку для штемпеля: кальку я накладывал на восковой слой и остро отточенным карандашом уже второй раз наносил изображение штемпеля. Таким образом на нижней, изнаночной стороне кальки появлялось зеркальное изображение штемпеля, как бы налипшее на кальку слоем лиловой краски. После чего дело было уже за малым: "транспортировать" это все еще липкое изображение — по-прежнему, что важно, в зеркальном виде — на тот "носитель", из которого изготавливается сам штемпель. А уж потом — всего лишь — этот штемпель аккуратно вырезать — и пожалуйста, проставляй на страницу паспорта нужный тебе штамп.

Довольно много времени ушло у меня на поиск подходящего материала, чтобы изготовить сам штемпель. Для начала я попробовал в специальной мастерской у нас в Швебиш-Гмюнде просто заказать болванку для такого штемпеля, но только внешние контуры, без букв и рисунка, — на всякий пожарный случай, даже под чужим именем, если вдруг меня заподозрят. Результат, к сожалению, оказался никудышный: с первого взгляда было видно, что не совпадают ни размеры, ни ширина окантовочных линий. А уж в чем я твердо был уверен, так это в том, что даже малейшее отклонение от стандарта не ускользнет от наметанного ока болгарских пограничников. Так что от этой идеи пришлось отказаться. Я даже не стал предъявлять претензии к негодному выполнению заказа — опять-таки из боязни навлечь на себя подозрения.

Выходило, что штемпель мне, хочешь не хочешь, надо изготовлять самому. Первые эксперименты с линолеумом, резиновой подошвой, равно как и крутым яйцом и вареным картофелем, успеха не принесли: материал оказывался либо слишком грубым и твердым, либо, наоборот, слишком мягким, либо на него не ложилась краска, либо по нему невозможно было делать тонкую резьбу. Прошло немало времени, прежде чем я нашел, наконец, то, что нужно, хотя материал этот во время моих экспериментов неизменно был, что называется, под рукой: это оказался ластик.

Правда, классический красновато-синий ластик, какие тогда широко были в ходу, тоже ожиданий не оправдал. Слишком грубый. Но в то время в продаже как раз недавно появились новые ластики — разноцветные, белесо-прозрачного оттенка, достаточно эластичные, мягкие и вместе с тем упругие. На них без проблем ложилась самая тонкая резьба, что позволяло воспроизводить любые, даже тончайшие контуры. Как вскоре обнаружилось, они обладали и еще одним неоценимым достоинством — способностью легко впитывать и

столь же легко "отдавать" штемпельную краску. Правда, не бессчетное число раз, ибо они довольно быстро начинали "сочиться", но для нескольких пробных и одного финишного отпечатка их вполне хватало. Вдобавок ко всему, среди них имелись и идеально подходящие по размеру — чуть больше самого штемпеля.

Изготовленную с помощью вощаной матрицы копию я накладывал на гладкую поверхность ластика и аккуратно прижимал. В результате на ластике появлялось зеркальное изображение штемпеля без каких-либо искажений и дефектов, безупречно точное до мельчайших деталей.

Освоив и путем неустанных тренировок доведя почти до автоматизма этот этап работы (паспорт—калька—вощаная матрица—ластик), я приступил к самой трудной части: вырезанию штемпеля. Чтобы с ней справиться, мне пришлось — не сразу, но жизнь научила — приобрести в магазинах художественных принадлежностей довольно много специальных инструментов, прежде всего тончайших резаков и ножей, какие применяются в моделестроении. Это такие ножи со сменными лезвиями, причем самых разных размеров, что позволяло точно воспроизвести в резьбе любые углы и изгибы штемпельных очертаний.

Именно вырезание штемпеля оказалось работой, которая потребовала от меня больше всего стараний, времени и упорства, не говоря уж о предельной сосредоточенности. Оформить внешнюю рамку штемпеля при помощи острого лезвия и металлической линейки получалось еще сравнительно неплохо. Но уже внутренний кант той же рамки давался куда трудней, ибо толщину линии нельзя было превысить ни на йоту — на первом же отпечатке этот дефект, как и любой иной, даже мельчайший, брак, — недостаточно чисто прорезанный угол, всякий разрыв в линии заштриховки — бросался в глаза сразу же.

А тяжелее всего мне давались буквы кириллицы, которые я и знал-то не все. Ну хорошо, КАЛОТИНА — это название пограничного КПП, через который наши трое друзей якобы в Болгарию въехали. НРБ — это, по всей вероятности, Народная Республика Болгария. Но что, черт возьми, означают крохотные, в миллиметр высотой, буковки слева и справа от автомобиля, красующегося в самом центре штемпеля? По четыре штуки, в три ряда, аккурат друг над другом: КППГ — ППГК — ГКПП; ПГКП — ГКПП — ППГК. Загадка — но плюс к тому и мучение! В конце концов, плевать, что они значат — главное, вырезать их надо точь-в-точь, тютелька в тютельку, чтобы все уголки, палочки и перекладинки были на месте.

Ну, а потом еще и сама машина! 15 миллиметров в длину, 4 миллиметра в высоту, вид сбоку, весьма комфортабельное авто, гораздо современнее всего, что под болгарскими номерами тарахтело тогда на болгарских дорогах. Все основные контуры — кузов, дверцы, окна — выполнены двойными линиями, и это на полосе шириной в полмиллиметра! А вдобавок еще и два идеально круглых колеса, тоже двойным контуром! И резать все приходится только от руки, никакие лекала тут не помогут. Впрочем, именно с машиной, как я подметил, я мог позволить себе минимальные неточности: сравнение различных оттисков (а их со временем набралось несколько) показало, что именно тут и подлинный болгарский штемпель иной раз "давал слабину", то смазывая, то нечетко воспроизводя очертания.

Мне невероятно повезло отыскать в продаже точно такой же календарный штемпель, каким проставлялись даты на болгарской транзитной визе. Оставалось только наловчиться проставлять его точно в предназначенном для этого месте. Зато другая проблема оказалась совершенно неразрешимой: в правом нижнем углу штемпеля красовалось некое двузначное число, всякий раз разное, — скорей всего, это был личный номер пограничника, оформившего визу. В конце концов, я просто решил проставить одно из чисел, встречавшихся в штемпелях, предположив, что не настолько уж у болгар совершенная система контроля, чтобы любой пограничник на восточном конце страны точно знал, кто из его коллег сутки назад нес службу на западном.

Я тренировался, тренировался без конца. Перерисовывал, копировал и переносил рисунок, потом вырезал. Ластик за ластиком, штемпель за штемпелем. Сначала ставил себе целью добиться хотя бы приблизительного сходства с оригиналом. Постепенно это стало мне удаваться все лучше. Вырабатывались навыки, техника, приемы в зарисовке и резьбе, позволявшие точно передавать даже самые мелкие детали. Когда я отшлифовал их до предела, я усложнил задачу: теперь во что бы то ни стало надо было изготовить штемпель от начала до конца без единой ошибки. И если даже на последней стадии, при устранении мелких неровностей и шероховатостей, я допускал неточность — работа целого дня шла насмарку. Да, именно столько, целый день кропотливого труда, занимал весь процесс от первоначального копирования оттиска до готового штемпеля.

Чтобы достичь такой безошибочности, нужны были покой и полнейшая сосредоточенность. Глядя на отпечаток будущего штемпеля на ластике, я, прежде чем начать, мыслен-

но должен был предельно четко увидеть и даже как бы прочувствовать свой первый надрез. Куда и под каким углом войдет лезвие, с какой силой в какую сторону пойдет рука, как, когда и где я закончу движение и выну лезвие. Только после этого я, задержав дыхание, поднимал нож и делал надрез. Пауза. Вдох. Снова сосредоточиться, обдумать следующий шаг, задержать дыхание, теперь режем. Снова пауза. Встать, размять пальцы, посмотреть по сторонам, давая глазам отдохнуть, а мышцам расслабиться. Со временем у меня выработался определенный автоматизм, так что под конец мой личный рекорд от первой копии до финального оттиска, включая замену фотографии, составил восемь часов.

Впрочем, сам оттиск тоже не так-то прост, он ведь двухцветный; сверху лиловый, снизу голубой. Но эта задачка оказалась вообще пустяковой. Всякий сколько-нибудь приличный магазин канцтоваров имел в продаже штемпельные подушечки и пузырьки штемпельной краски самых разных цветов, дабы клиент, вздумай он поэкспериментировать с цветом штемпеля, мог предаваться этому занятию сколько душе угодно. За цвет штемпеля у нас отвечал Буркхард. Ему пришлось испортить несколько штемпельных подушечек, прежде чем он научился так распределять на них краску, чтобы получить желаемый двухцветный оттиск. Правда, и здесь выявились свои издержки: эффект двух цветов держался относительно недолго, затем, особенно ближе к центру штампа, краски, расползаясь, начинали сливаться, образуя невнятную темно-лиловую смесь.

Ну а уж штамп югославской транзитной визы оказался и вовсе пустяком: простенькая рамка, в ней название пограничного пункта – "Ljubelj", перевал Любель – плюс номер и дата, опять же самым обычным календарным штемпелем, какой можно было найти в продаже. И все это бесхитростным черным цветом, – в паспорте этот штамп к тому же чаще всего выглядел нечетким, полуразмазанным пятном.

Кстати, о паспортах – откуда мы их брали? Мы с Буркхардом составили список своих особо надежных друзей, к которым можно обратиться. И каждый, к кому мы обратились с просьбой о паспорте, немедленно, не раздумывая, согласился нам помочь – хоть для него это и было чревато, по меньшей мере, морокой и лишними хлопотами: ведь потом пришлось подавать заявление об утере паспорта и оформлять новый. Правда, выбирая кандидатуры, мы следили за тем, чтобы возраст, рост, цвет волос и глаз подходили к одному из наших ребят. К тому же дата выдачи паспорта не должна была заметно расходиться с возрастом человека, запечатленно-

го на фото. По счастью, нам в конце концов удалось раздобыть по две фотографии каждого из ребят в разном возрасте. Я их переснял и распечатывал с новых негативов.

Поначалу мы вообще решили просто положиться на сходство и фотографии в паспортах не менять. Но уже вскоре поняли, что риск слишком велик. Даже на паспортах с давним сроком выдачи и почти подростковыми фотографиями различия были слишком заметны — любой опытный пограничник обнаружил бы их без труда. Том и ребята к идее паспортов с чужими фотографиями тоже отнеслись без восторга. Вот почему во время первой нашей встречи в Карловых Варах я их сфотографировал. Но эти снимки в итоге не подошли: слишком очевидным было их нестудийное качество, уличный фон хоть и слабо, но угадывался, да и зимние куртки, — короче, для паспорта никак не годится. К тому же они были свежие, совсем недавние, значит, в старые паспорта их не вклеишь. Вот и пришлось добывать настоящие паспортные фотографии, желательно к тому же сколько-то годичной давности. Их привез нам Кристиан Вильгельми — на Пасху он поехал в Шверин и повстречался там с Берндом.

Но как подменить фотографию в паспорте? Немецкие паспортные столы к тому времени уже предпринимали немалые усилия, чтобы защитить паспорта от подделки. Паспортное фото — "вполоборота, левое ухо открыто" — вклеивалось в паспорт, а в дополнение к этому скреплялось со страницей двумя металлическими заклепками (люверсами) и печатью.

Значит, весь этот технический процесс следовало проделать в обратном порядке: в отверстие заклепки с тыльной стороны страницы надо было вставить стерженек — для этой цели я приспособил хорошо заточенный карандаш — и, поворачивая, аккуратно обжать ее края до первоначального вида тонкой латунной трубочки. После чего можно было аккуратно извлечь заклепку с лицевой стороны. Именно так этот процесс описывается в одном из шпионских романов Зиммеля. Гораздо сложней оказалось отклеить фотографию от паспортной страницы: тут "профессиональные" советы столь авторитетного "фармазона", как Зиммель, ничуть меня не выручили. Хотя рекомендованная им "колонковая кисточка нулевого размера" и вправду оказалась чрезвычайно тонким рабочим инструментом, субстанция, которую полагалось этой кисточкой наносить, в одном месте упоминается у него как "чудодейственная жидкость", в другом — как "раствор из пузырька с едким запахом". Проку от подобных указаний было немного. Тогда я обратился в фотоателье — под предлогом, что мне нужно отклеить снимки из старых фото-

альбомов. “Нитрорастворитель”, — услыхал я в ответ, однако на добротный канцелярский клей немецких паспортных столов эта вонючая гадость не произвела ни малейшего впечатления — фотографии не отклеивались. Вдобавок обнаружилось, что растворитель этот мгновенно оставляет следы на паспортной бумаге. Тогда я решил фотографии просто срезать. Разумеется, предельно аккуратно, строго параллельно поверхности страницы: тонким лезвием ножа я отделял плотную фотобумагу слой за слоем. И здесь тоже ошибаться было нельзя: всякое слишком резкое движение прорывало страницу насквозь, и паспорт можно было выбрасывать. Легкие шероховатости, впрочем, можно было оставлять, их скрадывала потом вновь наклеенная фотография.

Но сперва я наклеивал ее, так сказать, временно, скотчем, чтобы с тыльной стороны наметить карандашом отверстия для заклепок и точки схождения с печатью. Печать была обыкновенная, резная, я переносил отпечаток с той, что была в паспорте, и прорезал отверстия для заклепок. После чего наклеивал фотографию и закреплял ее новыми заклепками. Тут мне на помощь пришли веяния моды. Среди молодежи тогда считалось особым шиком одеваться по-особенному, ни на кого не похоже. Майки предпочитались только перекрашенные (краситель заливался дома в ванну), свитера — только домашней вязки (такие “самовязы” не зазорно было и дарить), ну а ремни и кожаные куртки сам бог велел украшать заклепками, пряжками и бляшками по собственному вкусу. Для чего и предлагались в продаже специальные степлеры (пробойники), один из которых весьма пригодился мне для паспортных фотографий.

Несебр

22 июня 1974 года я автостопом отправился проверять маршрут, чтобы окончательно уяснить все детали будущего побега. На Троицу Буркхард и Эде Вайг уже провели такую проверку, проехав до самой турецкой границы. Мы старались запомнить все: особенности дорог, их загруженность, а также все, что касалось непосредственно охраны границы — контрольные посты, поведение пограничников, пограничные сооружения...

Из Мюнхена я перекочевал в Австрию, а затем через Югославию добрался до болгарской границы в районе сербского городка Димитровград. На подъезде к КПП я слез с грузови-

ка, водитель которого меня подвозил, и пересек границу пешком. Так принято, когда путешествуешь автостопом: никому из шоферюг неохота нарываться на неприятности из-за незнакомого попутчика.

Стараясь, чтобы это не бросалось в глаза, я внимательно следил за всем, что происходит на границе, насколько тщательно проверяют документы по ту и эту сторону. Особенно, конечно, меня интересовало поведение болгарских пограничников: они проверяли въезжающих гораздо строже, чем югославы на выезде. Процедуры оформления транзитных виз по сравнению с прошлыми разами не изменились. И штамп въездной визы, как я убедился, лишь только представилась возможность его рассмотреть, остался прежним: на одной из страниц где-то в середине паспорта справа внизу он запечатлелся четким оттиском уже хорошо знакомой окраски — сверху голубой, снизу лиловой — и прежней структуры. Над ним пограничник шариковой ручкой написал кириллицей "автостоп" и проставил время пересечения границы.

Пройдя на ту сторону, я заговорил с первым же отъезжающим водителем, и он охотно меня взял...

Но вот, наконец, и турецкая граница, за которую через считаные дни должны уйти наши беглецы. Еще пристальней, чем на въезде в Болгарию, я наблюдал, как проходит контроль. Быстро, деловито, но тщательно. Не все, но некоторые паспорта для дополнительной проверки относили в будку КПП. Что конкретно там с ними делают? Разглядеть нельзя, а чрезмерное любопытство может навлечь подозрения.

Очередь была приличная, что дало мне время подробно изучить расположение пограничных сооружений: где стоят постовые, как расположены заграждения, сколько патрульных прохаживаются вдоль них, как они вооружены.

Оказавшись на турецкой стороне, возле самой границы я обнаружил чайную, где и расположился на тенистой террасе, чтобы наспех зарисовать схему пограничной полосы. Зачем? Я и сам толком не смог бы сказать. Так, на всякий случай. Что-то вроде условного рефлекса: мало ли для чего может пригодиться, исключать ничего нельзя. Хотя в глубине души прекрасно знал: если подделка раскроется, пытаться бежать бесполезно.

Терраса оказалась идеальным наблюдательным пунктом. Я провел там целый день, выпив с десяток стаканов чаю и иногда задремывая, но в основном стараясь ничего не упустить из того, что происходило по обе стороны от КПП и показалось мне достойным внимания.

На обратном пути мне сказочно повезло: дальнобойщики с двух английских фур подхватили меня прямо до Зальцбурга. Зато на немецкой границе меня проверяли строго, как никогда. Однако, так и не найдя при мне гашиша, пограничники вынуждены были довольствоваться моим весьма странным объяснением: да, решил вот за несколько дней проехать через все Балканы.

Тем временем начался чемпионат мира по футболу. Он стартовал 23 июня в Гамбурге матчем "Германия–ГДР", как называли его некоторые болельщики, не особо задумываясь над смыслом сказанного — настолько утвердилось в сознании обывателя западногерманское притязание на безраздельное представительство немецкой нации. Итог этой встречи "национальных сборных" двух немецких государств стал сенсацией: 1:0 в пользу ГДР. "Удар, потрясший основы" — так прокомментировала "Зюддойче цайтунг" победный гол, забитый нападающим сборной ГДР Юргеном Шпарвассером. Тогда еще никто не мог предвидеть, что уже вскоре этот "национальный герой" благополучно останется на Западе.

А в первые дни июня Томас и двое его друзей закончили школу. Они, впрочем, настолько поглощены были мыслями о предстоящем побеге, что не придавали школьным событиям почти никакого значения.

На выпускной вечер в интернат съехались родители. Бернд долго беседовал с отцом Томаса — тот произвел на Берндта крайне сильное впечатление самостоятельностью суждений и твердостью духа. Он, кстати, оказался единственным из родителей, кому сын сказал, что отправляется с друзьями в Болгарию. Вильгельм фон Фрич сразу все понял. Слишком хорошо он знал сына. "Надеюсь, у тебя все получится. Я в свое время из-за матери остался, из-за дома, из-за хозяйства. А ты, сынок, поступай, как считаешь нужным". Вот и все, что он сказал.

Томас никогда больше его не увидит.

От остальных родителей ребята истинную цель своей поездки скрыли. "Едем в Чехословакию!" Туда можно было и без визы.

Когда Максимилиан выходил из дома, родители, как всегда в таких случаях, махали ему вслед из окна их квартиры на пятом этаже. Максимилиан помахал в ответ. А потом, уже дойдя до угла, вдруг кинулся обратно и как-то неловко, резко помахал еще раз. Отец сразу почуял неладное. "Ты его больше не увидишь!" — сказал Отто Рётиг жене. Вместе они прошли в комнату сына. Но там все было как всегда, ничего подозрительного. И даже водительское удостоверение сына

лежало на столе на видном месте. Отто Рётига это отчасти успокоило. Потрудись он его раскрыть, он бы понял, что это всего лишь пластиковая обложка, само удостоверение уже хранилось в Берлине у приятеля, который, в случае успешного побега, переправил бы его Максимилиану на Запад.

И вот, наконец, все трое сидят в поезде. Вовсе запретить поездки в братские социалистические страны власти никак не могли, однако Болгария, особенно если туда надумали вместе отправиться трое ребят, только что окончивших школу, — как-то это слишком подозрительно. Именно поэтому их проверяли с особой, даже для гэдээровских порядков, чрезмерной тщательностью. Но вот, казалось бы, все уже позади. Поезд вот-вот тронется по направлению к чешской границе. И вдруг: "А вас попрошу выйти!" Резкий, пронзительный голос пограничницы, решившей показать, кто здесь хозяин. Ребятам пришлось снова распаковывать все вещи, снова давать объяснения, особенно насчет географических карт, которые обнаружились в их багаже. Но придраться вроде все равно не к чему. И вдруг: "А где ваши обратные билеты?" Непростительная, детская промашка! По счастью, отговорка все же нашлась: "Да мы еще не знаем, откуда обратно поедем. Мы же автостопом хотим по Болгарии, по Венгрии, с ровесниками познакомиться, посмотреть, как в других социалистических странах люди живут". Пограничникам вроде бы и крыть нечем, но они все равно сомневаются. Однако улик, даже косвенных, против ребят никаких, а задерживать их только на основании подозрений — таких полномочий у пограничников нет. Вот так, за два дня до нашей встречи на черноморском побережье, ребята въехали в Болгарию. Виза, полученная ими при въезде, заканчивалась через неделю.

Для побега времени достаточно.

Так им казалось.

6 июля, день, когда нам предстояло встретиться на Черном море, надвигался неотвратимо. На сей раз мы с Буркхардом поедем вместе. Я отправился в Мюнхен. У Буркхарда, в его студенческой гарсоньерке на Августенштрассе, мы заканчивали последние приготовления. Я, не довольствуясь достигнутым, все еще тренировался в подделке штемпелей. Буркхард обеспечивал практическую часть нашего путешествия: добывал автомобильные карты, закупал провизию — на нас двоих на первые дни и на всех пятерых на последующие.

Достать машину оказалось легче легкого: родители с радостью отдали нам свою, как только мы сообщили им о намерении вместе отправиться на юг в каникулы. Очевидно, они ре-

шили, что лучше уж пусть дети поедут на исправном автомобиле, чем будут добираться автостопом или мыкаться на какой-нибудь позаимствованной у друзей студенческой колымаге.

5 июля, за два дня до побега... Мюнхен, Зальцбург, потом через всю Австрию до Клагенфурта. Пока все классно. Но вот и первый рискованный пункт — пограничный с Югославией перевал Любель. Паспорта для Тома и его друзей лежат в голубой пластиковой папке между автомобильными картами. Мы долго думали, куда бы получше их припрятать. Но в конце концов решили, что они просто не должны лежать на видном месте. Если пограничники что-то заподозрят и начнут обыскивать машину, то все равно найдут, хоть под обивкой сидений, хоть в колпаках колес.

Въезжаем в Югославию. Обычный формальный контроль. Наш красный "опель-кадет" медленно продвигается в веренице других западногерманских авто, стремящихся на юг, к морю, в Грецию или на югославскую Адриатику.

— Ваши паспорта, пожалуйста. Ничего не декларируете? Куда направляетесь? Большое спасибо, счастливого пути!

Едва отъехав, заглядываю в паспорт: да, югославский штамп тот же самый, что и раньше, именно такие и в наших трех паспортах. Первый камень с души, первый барьер взят. Но с этой секунды мы на "вражеской территории", по крайней мере, так мы тогда это чувствовали.

Едем по Югославии. Пытка местной "автострады", югославского транзитного шоссе. Дорога чудовищная, не езда, а мука, к тому же усугубляемая сюрпризами югославской дорожной полиции с ее контролем скоростного режима в самых непредсказуемых местах. К счастью, у нас с собой несколько блоков "Мальборо", а это здесь самая надежная валюта.

Ведет в основном Буркхард. У него, по крайней мере, есть международные права, да и кое-какой стаж вождения. Я изредка пытаюсь его подменить, но тогда мы тащимся еле-еле, фуры идут сплошняком, и обгонять их я не решаюсь. Ночуем прямо в машине в спальных мешках, чуть ли не на обочине. Едим тоже по-походному, из своих припасов, лишь бы долго не задерживаться. Любляна, Загреб, Белград, Ниш. И, наконец, — граница. На той стороне — болгарская Калотина.

6 июля 1974. Завтра финал чемпионата мира. Нервы у нас на пределе. Но и на этом КПП все проходит гладко. Никакой подозрительности, никаких особых строгостей, все идет обычным рутинным чередом. И вот мы уже выезжаем с КПП. Теперь считай что дело в шляпе!

Так нам казалось.

Но только в первые секунды.

И тут — хана! Кранты! Эти три поддельных паспорта, припрятанных между автомобильными картами, теперь никому не нужны. В них все правильно — все, кроме краски штемпеля. Девять месяцев планирования и подготовки — все зазря!

Зазря? Да быть такого не может! Ну уж нет, нас так просто не возьмешь! План у нас был отличный, просто гениальный план! Не может из-за какой-то краски дурацкой все сорваться! Наше отчаяние почти сразу сменилось совсем другим чувством: "уж теперь-то мы им покажем!" В голове лихорадочно роились мысли.

А нам еще столько ехать! И кому пришла в голову идиотская идея встречаться прямо на море! Это же сколько напрасной езды! Уже стемнело, нам давно пора быть в Несебре.

Только в два часа ночи мы добрались до места. Причальный пирс обнаружили без труда. Ничего глупее и придумать нельзя: машина с западногерманскими номерами, как в шпионском фильме, среди ночи на причале в Несебре, в том самом Несебре, где "штази", как выяснилось четверть века спустя, каждое лето организовывало свою штаб-квартиру, чтобы следить за многочисленными отпускниками из ГДР и попытки побега пресекать в зародыше. Но сейчас, слава богу, вся округа спит мертвым сном.

Нет, не вся: три силуэта отделяются от черной громады пирса — это Том, Максимилиан и Бернд. Хотя бы встреча не сорвалась.

Они несусветно долго нас ждали. Ведь договорились-то на шесть вечера. Но ребята понимали: на таком большом расстоянии нас что угодно могло задержать. Зато теперь они ликуют, они счастливы нас видеть.

Но только в первые секунды.

— Что случилось? Что-то не так?

Все трое словно окаменели, когда узнали, в чем дело. Они буквально поникли на глазах, онемели от отчаяния и безысходности. Все в них жило напряженным ожиданием, внутренней подготовкой к испытанию завтрашнего дня, к риску побега. А теперь что?

Положение с грехом пополам спасает Буркхард.

— Все очень просто. Через две недели мы приедем снова. С новыми паспортами. И правильными печатями. И вас отсюда вытащим. Две недели сможете продержаться?

Сколь ни потрясены ребята случившимся, долго они не раздумывают. Все лучше, чем полный провал.

— А вы правда сможете? И новые паспорта успеете раздобыть? Так вам же опять... через все границы... Мы-то, ясное

дело, дождемся. Уж как-нибудь устроимся. На худой конец на пляже будем ночевать. Тут, в Болгарии, классно. Правда, вот с деньгами у нас туговато.

И к этому тоже ни мы, ни ребята готовы не были. Мы с Буркхардом оставили им весь провиант и все наши принудительно обменянные левы, и немецких марок дали, сколько смогли, — их на чёрном рынке хорошо поменять можно. Правда, марок было немного.

И вот мы уже снова полны оптимизма. Даже устроили небольшой праздник, организовав на причале из "деликатесов" мюнхенского "Альди"[1] необычайно ранний завтрак с видом на море в первых лучах восходящего солнца. Но был момент, когда ребята снова погрустнели. Я показал им их паспорта. Да, штампы и вправду отличные, один в один. Но вот фотографии, осторожно заметил Максимилиан. Заклепки толще и грубей, чем нужно. Могут заметить! У меня все похолодело внутри. Конечно, Максимилиан прав! Могло и сойти, а могло... Я вдруг почувствовал, что провал со штампами, быть может, нам послан богами... Может, это знак, что мы еще не вполне готовы. Главное, я к этому времени уже знал, что и как можно улучшить. Я уже пробовал использовать "родные" заклепки. Правда, тогда уже было поздно. Я слишком сосредоточился на штампах, а фотографиям особого значения не придавал. Я пообещал Максимилиану, что новые паспорта будут подделаны еще лучше, и он поверил мне на слово. А что еще ребятам оставалось, когда они всецело нам доверились?

Несебр все еще спал мертвым сном, когда мы уже снова прощались. Ничего, как-нибудь эти трое перебьются. Так где встретимся через две недели? Лучше бы где-то на полпути. Давайте прямо в Софии! Да только как назначить встречу в городе, которого никто из нас не знает? У Тома нашелся туристический проспект по Болгарии, там мы выбрали фотографию памятника русскому царю Александру II, освободителю Болгарии. Том вырвал страничку, разорвал ее пополам, одну половину отдал нам, вторую оставил себе. Уж памятник как-нибудь отыщем! Итак, в воскресенье через две недели, в восемь вечера.

7 июля 1974 года — да, мы хотели проверить: правильная это была идея или нет — перейти границу во время финального матча?

1. Сеть недорогих супермаркетов.

По ухабистым турецким дорогам мы с Буркхардом едем вдоль болгарской границы в сторону Капитан Андреево, КПП на болгарско-турецкой границе. Но сперва останавливаемся в чистом поле, прячем под километражным столбиком поддельные паспорта. Заберем в следующий раз, и тогда уж отвезем домой, ведь мы обещали вернуть их законным владельцам. Попасться с этими паспортами сейчас — нет, такой риск мы себе позволить не можем. Впрочем, риск оказался куда меньше, чем при въезде в Болгарию.

Неподалеку от границы мы постояли, дождавшись начала второго тайма. КПП будто вымер. Пограничники любезны как никогда. 2:1 — на пальцах показывают они нам. "Германия! Брайтнер! Мюллер!" На паспорта наши едва взглянули, и что мы недавно уже въезжали в Турцию и теперь опять едем — вообще не заметили. Значит, возможность и вправду была идеальная...

1700 километров обратно, как можно скорей. Пловдив, София, Ниш, Белград, Загреб, Любляна, Зальцбург, Мюнхен.

Родамин Б

Какое-то время Том, Бернд и Максимилиан еще оставались в Несебре. Но отпускное настроение быстро улетучилось. В конце концов, не за этим они в Болгарию ехали. Месяцами, долгими неделями, потом днями ждали они решающего шага, жили его предчувствием. А тут вместо разрешения всех ожиданий — опять тревожная, томительная неизвестность. То, что они уже вскоре просрочили визы, — еще полбеды. Правда, вести себя теперь приходилось с осторожностью, избегая каких-либо контактов с полицией. Лишь потом Томас узнал, что дней через десять после их отъезда домой к родителям опять нагрянула полиция. Безотказно функционирующая бюрократическая машина отреагировала тревожным сигналом: виза в Болгарию была только на неделю, где ваш сын? Мать и правда понятия не имела, а отец прикинулся: "Вы же знаете нынешнюю молодежь. Родителям ничего не скажут".

Но финансы у ребят и вправду были скудные. Торчать на пляже среди радующихся социалистической дешевизне западногерманских туристов становилось все невыносимее. И они отправились автостопом по Болгарии, наугад, без цели, даже не особо интересуясь жизнью страны и ее достопримечательностями. Однажды переночевали в лесу в какой-то лачуге. В итоге обрели новых попутчиков — блох.

Уже на подъездах к Софии, незадолго до нашей второй встречи, познакомились со славным болгарским парнем. Он пригласил их заходить в гости, когда будут в столице. Они радостно воспользовались приглашением, и их приняли необыкновенно радушно. В подарок они принесли последнее, что у них осталось из валюты — пять западных марок. Зато гостеприимный хозяин остался в твердом убеждении, что ребята и вправду из ФРГ. К чему они оказались не готовы, так это к обильным алкогольным возлияниям, сопутствующим местному гостеприимству. В итоге последняя ночь накануне нашей встречи, которую они провели в парке, стала для всех троих похмельным кошмаром. А тут еще и ливень хлынул стеной. Пришлось спасаться под сводами главного вокзала столицы.

Что касается нас с Буркхардом, то срочная организация "второй попытки" в первую очередь натолкнулась на проблему отсутствия денег. Все наши финансовые резервы, как вырученные от продажи золотых монет, так и собственные сбережения за счет родительских карманных денег и каникулярных студенческих приработков, истощились полностью. Выход оставался один: посвятить во все, по крайней мере, отца. Его всегда интересовало, чем мы живем. И он всегда помогал, насколько это было в его силах. На это я сейчас и рассчитывал, равно как и на то, что узы родства нашей семьи всегда были отцу бесконечно важны.

И я отправился в Швебиш-Гмюнд.

— Мне нужны деньги. — Я с трудом выдавил из себя эти слова. Не то чтобы мне было неприятно или стыдно — в конце концов, это же на "доброе дело". Просто слишком велико, почти непереносимо, было напряжение. Но, осилив первую фразу, я с легкостью рассказал остальное. Отец отнесся к услышанному именно так, как я и ожидал: немедленно и без колебаний согласился помочь. Попросил подробно изложить ему наши соображения и планы, кое о чем расспросил дополнительно, потом кивнул. Да, звучит убедительно, может сработать. Конечно, риск остается, но в принципе решение правильное. Он ни секунды в этом не сомневался. Надо помочь — для него, как и для меня, это разумелось само собой.

Конечно, он тревожился — ведь в этом замешаны оба его старших сына! Но вида не подал. Только когда я, в азарте рассказа, похвастался: "Мы даже знаем, где у болгарских пограничников пистолеты: за спиной, за поясом!" — он резко меня осадил:

— Лучше пять лет за решеткой, чем на всю жизнь калекой остаться!

Впрочем, столь далеко идущих планов и у нас с Буркхардом не было.

Он выдал мне полторы тысячи марок — даже для него сумма немалая. И, разумеется, мы снова могли воспользоваться машиной. Вот только что сказать матери? Вообще ничего. Хотя я знал: странности в моем поведении в последние недели нельзя было не заметить, да и просьба второй раз одолжить автомобиль не могла ее не насторожить. Но мне уже было не до объяснений. "Недели через две ты все узнаешь!"

Обратно в Мюнхен. И снова в гарсоньерке на Августенштрассе закипела работа. Первая задача — раздобыть новые паспорта. Уже и в первый-то раз это было не просто. А теперь пришлось искать новых друзей-приятелей и даже дальних знакомых, огорошивая их столь странной просьбой. Однако никто не отказал. Лишь мой школьный товарищ Болько внезапно раздумал, позвонил и затребовал свой паспорт назад — а я уже чуть было не срезал с него фотографию.

Таким образом, все больше и больше людей оказывались посвящены в нашу затею — но мы с Буркхардом надеялись, что сейчас, за несколько дней до проведения "акции", это уже не так страшно. Однако положение становилось критическим: выяснилось, что паспорт Юргена, проходившего службу в бундесвере, остался дома у его родителей, а паспорт Филиппа, как он с изумлением обнаружил, давно просрочен. Буркхард названивал по телефону и слал телеграммы.

Я тем временем вырезал новые штампы, точнее и краше всего, что я изготовил прежде. Но больше всего возни было с заклепками на фотографиях. Точно таких же по размеру и цвету в продаже не было, так что надо было приспособить к делу родные, то есть снятые. Одну сторону заклепки я оставлял неповрежденной, а вторую обжимал с еще большей, чем прежде, аккуратностью до состояния трубочки, чтобы снова использовать. Этим, обжатым, концом, я просовывал заклепку в новую фотографию и с тыльной стороны с предельной осторожностью снова пробивал степлером. Получалось неплохо, хотя и небезупречно, особенно если придирчиво рассматривать. Но все равно это было гораздо лучше всего, что мы клепали прежде. Обычную, без пристрастия, проверку наши паспорта должны были пройти без затруднений.

Так нам казалось. Пока нам не поступил некий сигнал из ФРС[1].

1. Федеральная разведывательная служба ФРГ.

Один из старых отцовских знакомых работал в этом заведении. "Может, он чем-то вам будет полезен". Отец связался с ним через другого своего приятеля, и тот сообщил нам секретный телефонный номер. Когда Буркхард по этому номеру позвонил, ему первым делом пришлось выслушать целый доклад о том, какую опасную аферу мы затеяли. До чего бдительно в таких странах, как Болгария, за всем на свете следят. Как безупречно налажено там сотрудничество со "штази". И, уже напоследок, совсем неожиданный совет:

– Купите себе ультрафиолетовую лампу, проверьте под ней ваши паспорта. В штемпельную краску часто добавляют флуоресцирующие вещества, как дополнительное средство защиты.

А мы с Буркхардом и понятия об этом не имели! Так вот зачем они суют паспорта куда-то под стойку!

Мы кинулись на поиски. В захудалой лавчонке электротоваров нашли, наконец, лампу синего света. Бегом домой. Окна занавесить. Да только откуда в студенческой халупе занавески! В настольный светильник лампу ввернуть, включить, сунуть под нее мой паспорт. Штампы засияли всеми цветами радуги – в том числе и болгарские.

Нас с Буркхардом прошиб холодный пот. До отъезда меньше недели! Я, как проклятый, колдую над новыми штемпелями, Буркхард в лепешку расшибается, раздобывая новые паспорта. А тут – на тебе! Где хоть ее искать, эту светящуюся мерзость?

На поиски уходит Буркхард. Сперва просто в штемпельную мастерскую. Нет ли у них штемпельной краски, которая флуоресцирует... Подозрительный взгляд. Буркхард сразу понимает: лучше смыться. Бежит дальше. Магазин художественных принадлежностей. Прикидывается простачком. Он много экспериментирует с новыми красками, хотел бы попробовать что-нибудь с флуоресцентной тушью. – Весьма любопытно, но, к сожалению, помочь ничем не можем.

Куда теперь? "Пеликан"! Известная фирма по производству чернил! Они же и наборы красок делают, которые мы еще с начальной школы помним! Может, они и что-то похожее производят?.. Буркхард садится за телефон. Звонит на фирму "Пеликан" в Ганновер. Желает побеседовать со специалистом.

– Говорит профессор Фрич, высшее художественное училище, Мюнхен. На следующий семестр у меня запланировано со студентами...

– Нет, к сожалению. Помочь ничем не можем. Сам принцип разумеется, известен, но мы ничего такого не производим.

— А кто производит?

— Родамин Б?

— Ну да, да, родамин Б!

— Кажется, фирма “Киба-Гайги” в Базеле.

Буркхард чувствует: он напал на след! Звонок на фирму “Киба-Гайги” в Швейцарию.

— Говорит профессор Фрич, Технический университет Мюнхен...

Буркхард кладет, нет, торжествующе шмякает трубку на аппарат.

— Есть! Мы получим эту дрянь!

Но обещанной бандероли все нет. Проходит день. Другой. Третий. Сколько же можно ждать! С ума сойти можно! Как всегда, спасительная идея приходит на самом краю пропасти: у особо пижонистых студентов и студенток в последнее время появились такие маркеры, чтобы выделять важные места в конспектах.

— Они тоже светятся!

Сказано — куплено! Так, скорей, окна завесить, лампочку вывинтить, лампочку ввернуть, зажечь ультрафиолетовый свет, провести маркером полосу — есть! Светится!

Буркхард принимается экспериментировать. Прокрасить маркером штемпельную подушечку — почти никакого эффекта. Покрасить сам штемпель — не намного лучше. Подрисовать сам штамп — нет, тоже не получается, теряется четкость. Разобрать маркер, выжать содержимое тампона, смешать его со штемпельной краской. Еще один маркер, еще. Вот оно! Светится! Не слишком ярко, но все-таки светится!

И то сказать — самое время.

Война на Балканах?

Суббота, 20 июля 1974. Второй раз мы с Буркхардом загружаем отпускной поклажей наш скромный автомобиль. Но теперь мы твердо намерены ни в чем не полагаться на случай. Да, в новые паспорта для наших друзей уже вклеены их фотографии — но пограничных штемпелей и печатей там пока что нет. Мы их проставим, только убедившись, что бдительные стражи границ снова не сменили краски. А коли так — значит, мы везем с собой всю нашу лабораторию: сами штемпели, штемпельные краски, маркеры и две штемпельных подушечки. То, что у нас теперь с собой весь инвентарь, позволяет не вписывать в паспорт раньше времени и личный

номер пограничника, который прежде мы проставляли наобум. А это еще одна мелочь, которая могла нас выдать. Теперь же мы проставим этот номер, лишь въехав в Болгарию и заглянув в наши собственные паспорта. Специально для этой цели мы прихватили с собой тончайшую колонковую кисточку, с помощью которой мы этот номер скопируем.

Но все это надо припрятать в машине — по крайней мере так, чтобы не бросалось в глаза. Куда, к примеру, прикажете спрятать штемпель, нашу главную драгоценность?

— Сунем его в кусок мыла!

Сказано — сделано. Итак: кусок мыла осторожно распиливается пополам, середину аккуратно вырезаем. Штемпель заворачиваем в полиэтиленовую пленку, засовываем внутрь, половинки мыла складываем, а затем, посредством намыливания, сплавляем швы. Отлично!

Теперь в дорогу! Снова на трассу, через всю Австрию, через югославскую границу, снова узкое забитое шоссе. Нет, транзит через Югославию — это сущая мука.

Воскресенье, 21 июля 1974. Ночевали опять на обочине, выспались опять плохо. Теперь в нескончаемой веренице дальнобойных фур тащимся на юг. Я за рулем, на секунду отвлекаюсь — удар, дребезг, лязг, вскинувшийся капот нашего "кадета" закрывает мне весь обзор. Авария хрестоматийная: я не заметил, как водитель впереди идущего "форда" затормозил... Наши повреждения куда серьезней, чем в машине рабочего-турка, едущего в отпуск на родину. Но его негодование вполне можно понять. По счастью, с ним можно договориться, он готов довольствоваться немедленной компенсацией, главное — не впутывать в это дело югославскую полицию. На глаз оценив ущерб, Буркхард предлагает 300 марок. Предложение принято. Кое-как выпрямив своими силами погнутый капот и привязав его веревкой к крышке радиатора, едем дальше. Правда, за рулем теперь бессменно только Буркхард.

Часам к четырем добираемся до Гара Драгоман — Калотина, уже знакомого нам югославско-болгарского КПП. Все та же медленная, тягучая вереница машин, то же нервное напряжение, страх, что именно тебя сейчас изобличат. Наши паспорта исчезают в оконце — теперь-то мы знаем зачем. Бдительный взгляд внутрь салона, ленивый взмах руки — "проезжайте!" Не утерпев, я еще на КПП раскрываю свой паспорт, отыскиваю среди множества штампов новый — вот он. Красно-зеленый! Без перемен! К этому варианту мы подготовлены лучше всего. Первый камень с души долой. Но радоваться пока рано: паспорта ребят еще не проштемпелеваны.

Проезжаем пару километров, только теперь Буркхард сворачивает на узкий, ухабистый проселок. Поворот, еще поворот, и наша машина надежно прячется в поле высокой кукурузы. На помятом капоте разворачиваем нашу и впрямь полевую "фальшак-лабораторию": паспорта, штемпели, штемпельные подушечки. На сей раз все берет на себя Буркхард — у меня нервы вконец разболтались. Я бы сам ни за что сейчас не справился — ведь ошибиться уже нельзя, на каждый паспорт у нас только одна попытка, и тут все должно быть как надо: и с двумя красками не промахнуться, и оттиснуть в меру, но не чересчур сильно, и дату проштемпелевать точь-в-точь в нужном месте... Буркхард принимается за дело: сперва проставляет наш штамп, потом в ход идет календарный штемпель, тут важно, чтобы краска не отличалась, наконец, вписывает шариковой ручкой "автостоп" и проставляет время пересечения границы.

— Теперь можешь смотреть, — роняет он с довольной ухмылкой. Штампы и впрямь отличные — комар носа не подточит. Теперь все-таки моя очередь: личный номер пограничника буду вписывать я, даром, что ли, я столько тренировался. Последнее усилие: окунуть кончик кисточки в краску, попробовать на бумаге, затаить дыхание, сосредоточиться и трижды вывести "24", по одному номеру в каждом из паспортов.

— Готово!

Куда теперь весь наш инструментарий? Пузырьки с краской и штемпельные подушечки просто втаптываем в землю, сами штемпеля ломаем и забрасываем подальше в кукурузу.

— Пока найдут, нас уже ищи свищи!

Уже темно, когда мы въезжаем, наконец, в центр Софии. Тем не менее памятник царю находим без труда. Откуда-то сбоку появляются ребята. На осунувшихся лицах смесь усталости и облегчения. Впрочем, при виде паспортов на них появляется даже воодушевление — паспорта и впрямь куда лучше прежних.

У нас с Буркхардом опять куда больше болгарских денег, чем требуется, — обмен-то принудительный. А коли так — мы все отправляемся в шикарный ресторан с надменными официантами во фраках и жирной, тяжелой кухней. Впрочем, после вчерашнего загула аппетит у ребят не ахти. Поужинав, трогаемся на восток, по направлению к границе. По пути Том, Максимилиан и Бернд начинают заучивать свои новые биографии: имя, фамилия, дата и место рождения, — в какой это части Германии, — рост, цвет глаз, когда побывал в Индонезии, когда в Египте.

— Господи, да какого же черта он столько ездил! — стонет Максимилиан, который на время пересечения границы должен стать моим другом КаГе. — Это же невозможно запомнить!

Да, это и впрямь не просто: за одну ночь стать гражданином ФРГ, если ты до мозга костей гэдээровец с саксонским, тюрингским или магдебургским акцентом...

Мы сворачиваем с автострады и ночуем за каким-то сараем. Толком никто не спит.

Понедельник, 22 июля 1974.

Просыпаемся спозаранку. Еще вчера ярко сияло солнышко, а сегодня над нами сизое, насупленное небо. Теперь всем нам и вправду не до шуток. Ребята переодеваются, напяливая привезенные нами шмотки: ничто в их прикиде не должно указывать на гэдээровское происхождение. Неприметные, нейтральные вещи мы с Буркхардом берем с собой, все прочее остается в сарае.

У Бернда сильная близорукость.

— Покажи-ка мне свои очки!

На оправе ясно читается: “Made in GDR”[1].

Я непреклонен:

— Это исключено.

Подбирая ребятам их маскарадные костюмы, я на блошином рынке на всякий случай купил и очки — простенькие, с круглыми стеклышками, в никелевой оправе, в самый раз для хиппи. Велю Бернду их надеть.

— Да я в них вообще ничего не вижу! — возмущается он.

— Не важно, дойдешь как-нибудь, там недалеко!

И хотя в данном случае моя бдительность — чистейшей воды идиотизм, бедняга Бернд не отваживается возражать. Хорошо хоть, я милостиво соглашаюсь, что без очков ему потом никак не обойтись и сую их в бардачок нашего “кадета”.

Когда мы снова трогаемся в сторону границы, одежка на ребятах первый сорт. Вылитые западногерманские хипари. Мы между тем с пристрастием их допрашиваем, пока не убеждаемся, что свои новые биографии они тоже усвоили. Снова и снова объясняем им порядок прохождения через границу: неподалеку от КПП мы с Буркхардом их высадим, как это обычно делается. Сами проедем КПП на машине и уже по ту сторону будем их ждать, а они минуют контроль пешим ходом, — первым Том, это наше непременное условие, следом,

1. “Сделано в ГДР” (*англ.*).

так решил жребий, Максимилиан и, наконец, Бернд. Но ни в коем случае не все вместе: тогда, если первый или второй "проколется" у остающихся еще будет время повернуть. И потом — либо попытаться снова, либо отправляться в Софию в посольство ГДР и заявлять там о потере паспорта. Главное, чтобы болгары не сцапали, слухи об ужасах болгарских тюрем даже до ГДР докатились...

Нет, не торжественный день, не финал мирового первенства — самый обычный, заурядный понедельник, будничное серенькое утро на болгарско-турецкой границе. Хотя кое-что все-таки не совсем обычно: в сторону Турции на удивление мало машин. И мы скоро узнаем почему.

Однако отсутствие большой очереди вовсе не означает, что нас пропустят быстрее обычного. Вероятно, пограничники по такому случаю решили: чем без дела торчать, лучше поработать "тщательнее". Так что к КПП мы приближаемся гораздо медленнее, чем рассчитывали. Вереница машин движется еле-еле, наш "опель" тащится вместе со всеми. Мы с Буркхардом напряженно молчим. Кажется, чем меньше будешь производить движений и звуков, тем безопаснее. Лучше всего было бы вообще закрыть глаза и не дышать.

Перед нами всего несколько машин, как вдруг замечаем: мимо нас прямо к КПП проходит хиппи с рюкзаком. Томас! Быть не может! Но что ему оставалось делать? У самого КПП привал устраивать? Колонна машин продвигалась слишком медленно, вот он нас и обогнал. А если сейчас он "проколется"? Нет, я этого больше не выдержу. Мы с Буркхардом, окаменев, сидим и смотрим на пограничников. Вон, и турецкая сторона уже видна.

Том уже подходит к пограничникам. Отдает паспорт. Тот исчезает в окошке. Том ждет. Ждет дольше обычного, или нам только кажется? Мы с Буркхардом прямо кожей чувствуем, в каком он напряжении. При этом положение его куда хуже, чем мы могли предполагать: он, оказывается, начисто забыл, как его зовут...

Любую мелочь своей биографии он помнит назубок, любую! Но фамилию! Но имя! Как, черт возьми, меня зовут? Как быть, если спросят? Но вот пограничник уже протягивает Тому паспорт. Вскинув вещмешок на плечо, Том неспешно, вразвалочку переходит на турецкую сторону. Минует и контроль на въезд. Все, Том прошел!

Теперь на очереди мы с Буркхардом. С нами-то по идее ничего не должно случиться — не станут же нас задерживать из-за каких-то гэдээровских шмоток? Подаем паспорта из окна машины, оттуда они перекочевывают в будку. Все знакомо до

болт. Паспорта обратно, взгляд в салон машины, "проезжайте". Только помедленнее, помедленнее. Наконец минуем нейтральную полосу. Турецкие пограничники. Все как обычно. Теперь на стоянку. Вылезаем, только спокойнее. А вот и Том. На лице волнение и тревога — как там ребята? Нет, мы ничем себя не выдаем, ни жестом, ни кивком, — там не должны заметить, что мы знакомы. Ну, где же они, сколько можно?!

Наконец-то. Максимилиан. Подходит к болгарским пограничникам. Отдает паспорт. Ждет. Ну почему опять так долго? Слава богу, вот и паспорт. И он тоже вскидывает вещмешок на плечо и выходит в свободный мир.

Теперь Бернд.

— Да он же слепой, как крот.

— Сейчас промахнется! — хихикают ребята, уже в предвкушении победы.

А Бернд и правда уже шагает к нам, напряженно глядя прямо перед собой.

— Мешок тяжелый, — только и буркает он, скидывая ношу себе под ноги. Похоже, он вообще не в себе.

— Меня по полной вырубило, — признается он потом.

Пятеро ребят стоят, обнявшись, себя не помня от радости, готовые тут же, прямо возле границы, устроить индейские пляски. Недоуменные, отчужденные взгляды окружающих — нам на это плевать. Наконец-то можно сбросить напряжение и дать волю своим чувствам. Заполняя турецкие въездные анкеты, мы изощряемся кто как может.

Но нам не терпится поскорее унести ноги. Непосредственная близость места, где нам грозило столько опасностей, таит в себе что-то гнетущее. А потому — скорей в машину. От границы небольшой крюк вглубь страны, до Эдрина, а оттуда на юг, снова к границе, но уже греческой. Однако даже на этом недолгом маршруте мы начинаем замечать: что-то неладно. На дороге полно военной техники, большинство грузовиков и бронемашин с закрашенными синей краской фарами, снуют туда и обратно, беспорядочно и явно в спешке. Укрытые брезентом боевые позиции, солдаты. Даже здесь, на стыке трех стран, где столь близко соседствуют Варшавский пакт и НАТО, а внутри НАТО — враждебные "союзники" Турция и Греция — подобная суматоха выглядит странно.

На подъезде к греческой границе постепенно начинаем понимать: трудности наши отнюдь не кончились. Пограничный КПП будто вымер. Как только переезжаем на греческую сторону, нашу машину прижимают к обочине, велят отъехать в сторону, забирают паспорта.

— Наши дивные паспорта! — стонет Том.

Вежливо, но непреклонно нам предлагают пройти в помещение и для начала подождать. На стене только "Феникс из пепла", символ греческой военной диктатуры. Что все это значит? Караулящие нас постовые, судя по всему, рядовые солдатики наших примерно лет, явно смущенные происходящим, объясняют: командир обедает. Наконец появляется и он сам — и начинается форменный допрос. Что мы видели на турецкой стороне? Сколько грузовиков, сколько бронемашин? Передвижения войск? Укрепленные позиции?

Только этого нам не хватало! Шпионов из нас делать! Теперь, твердо зная, что самое страшное позади, мы пускаемся во все тяжкие. Отвечаем наперебой, стараясь перещеголять друг друга:

— Миллион танков!

— Ага, и примерно два миллиона бронемашин!

— И не меньше трех миллионов солдат!

Ничто не способно укротить наше веселье — похоже, оно заражает даже снисходительного дежурного офицера.

— Вот ваши паспорта — и счастливого пути. Куда направляетесь? В Салоники? Хорошо. Но советую поторопиться!

Да что случилось-то? Нам охотно объясняют. И только тут мы начинаем понимать, насколько оторвались за истекшее время от событий текущей политики. И то правда: новости на чужих языках мы слушать не могли, немецкоязычные радиостанции допотопный приемник нашего пожилого "опель-кадета" перестал принимать еще от австрийско-югославской границы, газет на понятном нам языке мы тоже давно в руках не держали. Иначе непременно бы узнали, что мы с нашей "акцией" угодили в самый эпицентр мирового политического кризиса. И как раз в день нашего отъезда из Германии положение предельно обострилось.

Турция и Греция находились на грани войны.

А началось все из-за Кипра. 15 июля 1974-го греческая национальная гвардия Кипра, поддерживаемая диктатурой черных полковников, захватила власть на острове. Путчисты неприкрыто готовились осуществить присоединение независимой республики Кипр к Греции, пренебрегая интересами достаточно многочисленного турецкого национального меньшинства. В ответ на это турецкие войска 20 июля высадились на острове и начали оккупацию его северной части.

А сегодня было 22 июля... Весь мир, затаив дыхание, следил за событиями на востоке Балкан.

И угораздило же нас выбрать для своей акции именно это время и этот уголок земного шара... Впрочем, что-либо ме-

нять было уже поздно. Выход один: скорей в "опель" и вперед, только вперед, чем дальше от границы, тем лучше.

Под Александруполисом дорога упирается в Эгейское море и поворачивает на запад в сторону Салоников. Не доезжая шестидесяти километров до них, останавливаемся в маленьком городке Серре. Почта еще открыта. Успеваем отправить домой телеграмму: "Пришли Серр перешли Серр победили. Буркхард, Рюдигер и Томас Фрич, Бернд Херцог, Максимилиан Рётиг".

Телеграмму доставили по адресу чуть ли не через двое суток, совсем незадолго до нашего возвращения домой...

Начинало смеркаться, когда мы въехали на окраину Салоников. И тут же о себе снова напомнила военная угроза: нас остановил военный патруль.

– Пожалуйста, выключите фары!

По распоряжению властей в Салониках введено затемнение – на случай возможных налетов турецкой авиации. Петляя в темноте, мы с трудом выбрались в центр города, на площадь Аристотеля... залитую ослепительными всполохами многочисленных реклам.

Останавливаться где-то на ночлег – нет, слишком рискованно. Только вперед, лишь бы поскорей покинуть замершую в ожидании войны Грецию.

Наутро, преодолев еще 400 километров узкой, петляющей дороги, мы достигли западного побережья. Отсюда, из порта Игуменица, мы намеревались на пароме переправиться в Италию. Но и здесь, казалось, жизнь кончилась и город будто вымер: на причале пусто, магазины, конторы, даже билетная касса – все закрыто. И не только в Игуменице, как мы позже выяснили, но и по всей Греции. Уже к вечеру того дня, 23 июля 1974 года, политик-консерватор Константинос Караманлис вернулся на родину из эмиграции, власть диктатуры кончилась, а Караманлис уже вскоре стал премьер-министром отныне снова демократической Греции.

Однако пока что всякое международное сообщение со страной было прервано. Единственное, что нам с трудом удалось – это смыться с материковой части Греции, с боем добыв место на пароме, который переправил нас на остров Корфу.

Мы уже двое суток толком не ели. А здесь на самом берегу нашелся небольшой ресторанчик. Нас отвели на кухню, показали все, чем могут угостить. Ничего особенного, так здесь принято всюду, но для ребят это была настоящая сенсация. Оказывается, можно просто так, без всякой очереди и унижений, зайти в ресторан и спокойно сесть за столик. И тебя ра-

душно обслужат. И вкусно накормят! На радостях мы позволили наложить себе на тарелки огромные порции всего, да и напиткам — рецине и узо — воздали должное. Заночевали прямо на берегу моря. Мы, все пятеро, блаженно завалились спать: непомерный груз последних дней мало-помалу начал сползать с наших плеч.

Казалось, и наутро нам не суждено двинуться дальше. Правда, паромная переправа возобновила работу, однако к ней скопилась огромная очередь. Но мы просто не могли больше ждать, так нам не терпелось наконец-то добраться до Германии. Правдами и неправдами, мольбами и нахрапом, мы все-таки пробились на один из первых паромов. И вот мы уже причаливаем к итальянскому берегу. Италия! Ребята не верят своим глазам. Вперед, скорее по стремительной автостраде, вверх по итальянскому сапожку, на север! Но коли уж так совпало, ведь все равно по пути, — а ни один из нас еще не бывал в Сан-Марино! Пусть небольшая остановка — но как же не украсить еще одним знаком доблести наши славные паспорта! Нам долго пришлось искать неприметную, обшарпанную будочку, где — за небольшую пошлину — явно не перегруженный работой пограничник проштемпелевал в каждом из пяти паспортов подлинную въездную визу республики Сан-Марино и вклеил роскошные марки об уплате визового сбора.

Однако самую нешуточную проверку паспортам наших героев предстояло выдержать вовсе не в Болгарии и не в Турции, не в Греции и не в Италии, и даже не в республике Сан-Марино, нет. На немецкой границе их проверяли доскональнее, чем где-либо прежде. Под Киферсфельденом мы выехали из Австрии и должны были въехать на территорию ФРГ. Впрочем, при виде более чем странной компании явно усталых, замызганных, немытых и небритых молодых людей и их пыльной, побитой колымаги даже самый нерадивый пограничник неминуемо должен был бы насторожиться. Пока наши паспорта гостили в будке КПП — в чем-то все границы одинаковы, — нашу машину подвергли самому придирчивому осмотру. Но ничего подозрительного не нашлось. А в остальном — нет такого закона, чтобы запрещал за несколько дней исколесить чуть ли не все Балканы... Ну и что, мы так проводим каникулы.

Наконец из будки вышел пограничник с нашими паспортами в руках. Судя по всему, изучал он их очень внимательно, ибо сейчас, хотя и любезным, но начальственным тоном он обратился к Максимилиану Рётигу:

— Полагаю, господин Грилле, вы в курсе: вообще-то мы обязаны вынести вам предупреждение. Срок годности ваше-

го паспорта вчера истек. Сегодня мы, так и быть, закроем на это глаза. Но по возвращении потрудитесь незамедлительно отдать его на продление. С недействительным паспортом вас ни на одной границе не пропустят, у вас могут быть серьезные неприятности.

Мы чуть не заорали — от неожиданности, ужаса и восторга. Казалось бы, все до последней мелочи продумали, всякую ерунду предусмотрели — а такого "ляпа" не заметили, и ведь не только мы! Так наши поддельные паспорта оказались украшены еще одной поистине удивительной визой — печатью снисходительной доброты немецкого пограничного контроля.

Новая жизнь

В ГДР очень скоро стало известно, что ребята бежали. И тотчас заработала беспощадная машина диктатуры: обыски на квартирах родителей и друзей, допросы, угрозы, притеснения, просто пакости по мелочам.

"Штази" даже не оставляла надежду вернуть беглецов. "Прессовала" родственников, побуждая тех "повлиять" на "отщепенцев". Без успеха. Особенно упорному давлению подверглась одна из одноклассниц: ее до тех пор и с таким пристрастием допрашивали, что в конце концов вынудили подписать заявление, будто она от одного из ребят беременна. И не только заявление — еще и письмо будущему отцу мнимого ребенка заставили написать, и родственников беглеца известили. Однако против природы даже госбезопасность бессильна: по истечении определенного срока лживые претензии отпали сами собой...

Имущество всех троих было конфисковано. Мотоцикл Томаса Фрича, красный "MZ"[1], через какое-то время обнаружился у дочери бургомистра Бад-Бланкенбурга... После объединения Германии Томас получил от государства возмещение ущерба за эту конфискацию... целых 200 марок. Так выглядело торжество справедливости. Машину, которой трое друзей владели совместно — старый "опель Р4 — олим-

1. Мотоцикл производства машиностроительного завода в Чопау, после 1945 г. оказавшегося на территории ГДР. По разработкам этой фирмы в советском Ижевске после войны выпускались знаменитые мотоциклы марки "Иж".

пия", "производства 1936 года, корпус из особо прочной стали!" — они незадолго до побега продали приятельнице. И одного только не учли: эта покупка была истолкована властями как "пособничество бегству". В итоге приятельница так и не смогла поступить ни в один институт.

Больше других пострадал Герман Штегер. Он был близким другом всех троих, и от "штази" это не укрылось. Обыск на его квартире дал особенно богатые результаты: переписка с западными адресатами, изобилующая "клеветническими" высказываниями, плюс целая библиотека сомнительных с идеологической точки зрения исторических книг. За пособничество бегству из республики и подрывную деятельность Герман Штегер был приговорен к четырем годам лишения свободы. Два года спустя его выкупило правительство ФРГ, и ему разрешили выехать на Запад.

Как сложилась судьба ребят в дальнейшем? Первые дни они провели у нас, в Швебиш-Гмюнде. Отдыхали, приходили в себя, помогали, как могли, по дому и саду. Потом им пришлось пройти обычную процедуру для всех беглецов из ГДР: в иммиграционном лагере Гисен им предстояло вписаться в "нормальную колею" западногерманской жизни.

В Гисене они провели неделю. Там Тома ждала неожиданная встреча — его друг Фред из Бад-Бланкенбурга прибыл в лагерь восемь дней назад, сбежав в Лондоне с корабля торгового флота ГДР — команда лишилась кока. Специальная комиссия, разумеется, опрашивала их в лагере, причем с особым пристрастием — о маршруте их побега. Но они поклялись, что маршрут не выдадут, и сдержали клятву. Пусть, мол, этот путь и другим послужит. Хотя их даже пытались запугивать — в комиссии состояла некая дама, которая в беседе с Максимилианом с глазу на глаз откровенно пригрозила: "Если не расскажете, как сюда попали, отправим вас обратно!" Эпизод этот так и остался загадкой. Как бы там ни было, но стойкость ребят оказалась оправданной: вскоре один из ведущих сотрудников лагеря Гисен был разоблачен как агент органов госбезопасности ГДР.

Что оказалось самым трудным для ребят по прибытии в Западную Германию, столь отличную от Восточной? Пожалуй, не столько практическая жизнь, иные "вызовы" и "правила игры", непривычная необходимость обо всем в своей жизни заботиться самому. Нет, к тому, что их ждут эти и иные трудности, они как раз были готовы и часто говорили об этом. Более всего донимала их тоска по дому, разлука с родителями, с семьей и родней, с друзьями, с родным краем.

В Мюнхенском университете они оставались чужаками — их сразу выдавал нездешний диалект.

— Ты откуда?

Саксонский или тюрингский акцент здесь можно было услышать только у стариков, а еще — у гэдээровских вождей по телевизору. До конца от особенностей родного говора ребята так и не избавились.

Ни один не стал тем, на кого собирался учиться. Бернд Херцог в университете изучал историю и потом нашел в Мюнхене работу на радиостанции "Свобода". Это автоматически означало, что шансов когда-либо побывать в ГДР у него нет и не будет. Уже после объединения Германии ему довелось узнать из своего досье в "штази", что в ГДР за "бегство из республики" он был заочно приговорен к пяти годам тюрьмы. А самая замечательная запись в этом досье, которое он просматривал уже в 90-е годы, гласила: "Запрет на въезд до 2003 года".

После того как редакции радио "Свобода", вещавшие на Восточную Европу, в связи с кардинальными политическими изменениями в странах бывшего социалистического лагеря были расформированы, Бернд работал менеджером в новых (восточных) федеральных землях. Сейчас он живет в Мюнхене, работает журналистом.

Максимилиан Рётиг пошел учиться на юридический. По окончании университета открыл адвокатскую контору и довольно быстро добился успеха. По мере продвижения дела германского объединения он распространил свою активность на восток, открыв во многих городах бывшей ГДР свои филиалы. Сейчас он по-прежнему адвокат, но еще и крупный риэлтор, тоже живет в Мюнхене, вместе с женой и тремя детьми.

Томас сумел осуществить свою исконную мечту — он тоже поступил на юридический, учился в университетах Мюнхена, Женевы и Фрайбурга. Потом вернулся в Штутгарт, где работает в министерстве экономики. Он женат, у него пятеро детей.

Мой брат Буркхард стал коммерсантом и сегодня занимает одну из ведущих позиций в крупном бизнесе. С женой и шестью детьми он живет неподалеку от Мюнхена.

Одного только мы так и не собрались сделать: все вместе, впятером, не навестили в Штутгарте господина Демельта, того самого, который так настойчиво пытался отговорить нас от нашей затеи. Впрочем, этот маленький триумф давно перестал нас прельщать.

Телеграмму с сообщением об успехе нашего предприятия, которую мы послали из Греции, наш отец отдал окантовать и повесил на стене у себя в кабинете.

Студентом я изучал историю и германистику, в конце концов решил посвятить себя дипломатической службе. В 1984 году у меня началась двухгодичная стажировка. В программу обучения входило практическое знакомство с работой различных учреждений и организаций – НАТО, ЕС, немецких профсоюзов, церквей и, среди прочего, Федеральной разведывательной службы в Пуллахе. На огромном столе тамошний эксперт по документации разложил перед нами огромное количество поддельных документов и паспортов, дабы подготовить нас к трудностям работы в правовых и консульских отделах посольств. Ну как не воспользоваться такой возможностью?

– А насколько защищены от подделки печати и штампы, которые проставляются в паспортах на границе? Как обстоит с этим, к примеру, в социалистических странах?

Эксперт только усмехнулся.

– И думать забудьте! Шансов – ноль! Они там, на Востоке, абсолютно на высоте всех современных требований, всех уловок и трюков!

Благодарю за столь лестную похвалу из уст столь искушенного профессионала!

Я по-прежнему работаю на дипломатической службе. У нас с Хубертой пятеро детей.

Те события 1973–1974 годов больше, чем что-либо еще, повлияли на жизнь всех нас, пятерых друзей. И тем не менее события эти странным образом как бы стерлись из нашего сознания, и мы и сами не могли бы объяснить почему. Разумеется, друг с другом мы иногда об этом говорили, но больше, по сути, ни с кем. И то – вспоминали как о чем-то далеком, давно уже утратившем обжигающую, судьбоносную важность. Причины тому, должно быть, были самые разные: каждый хотел избавиться от груза этой "предыстории", вступая на профессиональную стезю, к тому же мы ведь нарушили закон и понятия не имели, какими это может обернуться последствиями для будущей карьеры. А позже, уже обзаведясь семьями, мы тем более не хотели обременять этим сомнительным прошлым наших детей. И лишь когда те достаточно подросли, чтобы правильно оценить происшедшее, мы им обо всем рассказали. Потом, по прошествии времени, живя уже в единой Германии, мы стали рассказывать об этом друзьям. Реакция была

всегда одинаковая: “Это же потрясающая история! Ее обязательно надо записать!” Вот так и возникла эта книга — спустя много лет, в разговорах со всеми участниками, которые не поленились воскресить в памяти тогдашние события.

Долгое время трое наших друзей жили с благородным (но, полагаю, и тягостным) чувством, что они бесконечно нам — Буркхарду и мне — обязаны. Выражали свою благодарность радушными приглашениями и щедрыми подарками. Покуда, в десятую годовщину нашего побега, мы не порешили, что все мы в равной мере вознаграждены и обогащены силой и глубиной пережитых испытаний и их счастливым исходом. Каждый из нас благодаря тем событиям приобрел бесценный опыт, возможно, самый важный во всей нашей жизни.

Вместо послесловия: в километре к западу от Калотины...

25 января 1993 года АДН, бывшее государственное информационное агентство ГДР, распространило следующее сообщение:

(АДН 0153) **Болгарские пограничники подтверждают информацию об убийствах граждан ГДР при попытках нелегального перехода границы.**

Выплаты премий опровергаются. С 1989 года ни одного случая убийства на границе.

София (АДН). София официально признала факты убийства граждан ГДР, пытавшихся бежать за “железный занавес” путем нелегального перехода болгарской границы. В минувший понедельник руководитель пресс-службы Пограничных войск Болгарии подполковник Василий Станойков в разговоре с корреспондентом АДН подтвердил имевшие место в прошлом факты убийства граждан ГДР на границе. Точными данными он в настоящее время не располагает, однако за период с 1961 года могло произойти более двенадцати таких случаев.

На прошлой неделе болгарский еженедельник “Анти” первым сообщил об убийствах граждан ГДР на границе. По информации журнала, за период с 1961-го по 1989 год таких эпизодов было не двенадцать, а в десятки раз больше. В некоторых случаях “ликвидации” подвергались целые семьи.

Впрочем, Станойков категорически не согласился с утверждениями журнала о том, что на границе была "кровавая бойня". Он опроверг также публикацию журнала в той ее части, где говорилось о расстреле 25 лет назад целой семьи, включая шестилетнего ребенка. Это, якобы, однозначно следует из протоколов за период с 1966-го по 1968 год.

Пресс-секретарь признал, что захоронения убитых нарушителей границы производились в Болгарии без идентификации покойных. Сообщения о денежных премиях в размере 2000 левов (около 1000 марок по тогдашнему официальному курсу), которые якобы выплачивались посольством ГДР за каждого убитого нарушителя границы, по словам Станойкова, не соответствуют действительности.

Однако бывшие работники посольства ГДР в София в разговоре с корреспондентом АДН подтвердили, что за "предотвращенные попытки нарушения границы" премии выплачивались. И, по крайней мере в одном случае, застреленных при такой попытке граждан ГДР сразу же тайно захоронили в Софии.

Еще в феврале 1992 года слухи о расстрелах на болгарской границе стали предметом депутатского запроса в болгарском парламенте. По данным Министерства обороны Болгарии, до 1985 года имели место 339 случаев убийств в районе государственной границы. Министр обороны Луджев среди прочего сказал: "Документов, позволяющих установить, кто конкретно отдал приказ стрелять в нарушителей границы, у нас нет. Однако важно отметить, что по существующим законам и правовым нормам как в армии, так и в частях МВД, а в особенности в подразделениях пограничных войск офицеры и солдаты просто обязаны были в случае попытки нарушения границы в буквальном смысле этого слова стрелять на поражение".

Сенсационные разоблачения журнала "Анти" повлекли за собой дальнейшие расследования, инициированные уже новым болгарским правительством. Выяснилось, в частности, что более 2000 граждан ГДР, пытавшихся бежать через Болгарию на Запад, были арестованы и выданы властям ГДР. В 1971 году, по данным "штази", 62 процента всех попыток побега через социалистические страны были предприняты через Болгарию, в 1972 году – 83 процента. Для раскрытия подобных попыток в помощь болгарским властям была командирована так называемая "оперативная группа по предотвращению торговли людьми", которая еще с 60-х годов вела работу на территории Болгарии и которую с 1970 года в

летние месяцы усиливали за счет "группы наблюдения", состоявшей из более чем 20 агентов. Один из опорных пунктов "штази" находился в Несебре...

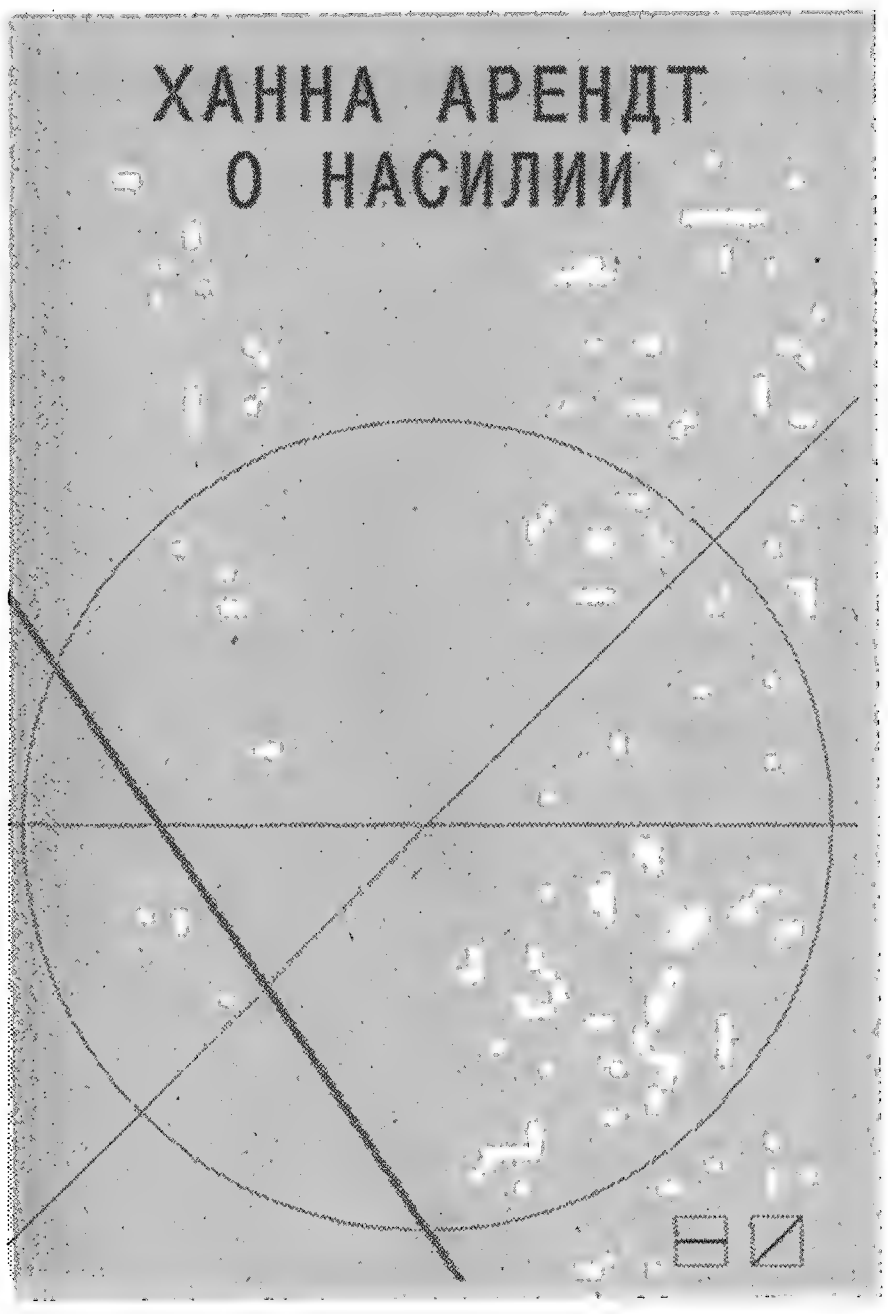
Приказ стрелять в нарушителей границы существовал в Болгарии с 1952 года. На сей день в рамках исследовательского проекта под руководством политолога Штефана Аппелиуса документально подтверждены 18 случаев убийства граждан на болгарской границе. Среди них — и факт убийства 21-летнего гражданина ГДР, "застреленного 3 сентября 1974 года в километре западнее деревни Калотина, округ Драгомар".

Все события, описанные здесь, имели место в действительности. Имена некоторых лиц изменены, цитаты иногда литературно обработаны. Все высказывания автора выражают его личную точку зрения и не имеют отношения к его служебной деятельности. Особой благодарности заслуживает Томас Карлауф, существенно способствовавший превращению этой истории в книгу.

Информация к размышлению Non-fiction

с Алексеем Михеевым

"Новое издательство" выпустило книгу одного из самых ярких политических мыслителей XX века Ханны Арендт *О насилии* (пер. с англ. Г. М. Дашевского. — М.: 2014. — 148 с.).



Книга эта была написана в самом конце 60-х, сразу после массовых протестных волнений в Европе (прежде всего во Франции), которыми был отмечен 1968 год. Но несмотря на то, что с тех пор прошло почти полвека, размышления Арендт, как это ни парадоксально, для нас звучат актуально именно сейчас. Дело здесь в том, что именно сейчас для них сложился внутренний политический контекст: последние несколько лет, увы, сделали тему насилия одной из центральных в нашей текущей повестке дня.

Мы, как правило, ассоциируем насилие с властью; Арендт же пытается преодолеть этот стереотип обыденного мышления, с целью чего подвергает сопоставительному анализу другие понятия из того же семантического ряда: силу, мощь и авторитет. При таком подходе картина получается более сложной: обязательными атрибутами власти являются сила и мощь, а вот поддерживать их власть может при помощи либо авторитета, либо насилия. В том обществе, где существует консенсус относительно делегирования социальных полномочий конкретной власти (как это было в античных греческих демократиях), она не нуждается в насилии; насилие в отношениях между властью и обществом появляется там и тогда, где и когда такого консенсуса нет.

Если рассматривать противостояние власти и протестных движений, то ситуация с насилием здесь, по меньшей мере, симметрична; даже более того, именно оппозиция, ставящая своей целью измене-

ние социального статус-кво, неизбежно оказывается вынуждена прибегать к насилию для достижения цели. При этом инерция революционного насилия такова, что если революция побеждает, то насилие не исчезает, а, как показывает практика, напротив, — становится атрибутом новой власти, инструментом борьбы с контрреволюционерами и прочими врагами.

Еще одно актуальное рассуждение Ханны Арендт касается не революций, а войн. Подвергая сомнению хорошо известное высказывание Карла фон Клаузевица о том, что война есть продолжение политики иными средствами, она утверждает обратное: политика мирного времени есть продолжение войны иными средствами. Иначе говоря, вовсе не мир, а война является основным, базовым состоянием человеческого общества. При этом Арендт делает вывод, что воля отдельных субъектов этой перманентной войны не столь важна, как совершенствование потенциальных средств ее ведения: "Техническая эволюция орудий насилия достигла сейчас такой стадии, что уже невозможно представить какую бы то ни было политическую цель, которая соответствовала бы их разрушительному потенциалу или оправдывала бы их практическое применение в вооруженном конфликте". И те же самые прошедшие с момента выхода книги полвека подтверждают этот вывод: между основными субъектами глобального противостояния ведется — при наличии у них средств массового взаимного уничтожения — только "холодная" война; а вот настоящие, "горячие" войны идут там, где таких средств нет.

Вышеописанные рассуждения, конечно же, являются лишь предпосылками, отправными точками для достаточно сложных социофилософских построений Ханны Арендт. И, безусловно, особой похвалы заслуживает в этой связи перевод, в котором высочайший интеллектуальный уровень сочетается с абсолютной ясностью изложения. Увы, эта книга стала последней опубликованной переводческой работой Григория Дашевского.

А вот еще одна книга, одним из "авторов" которой является Ханна Арендт, представляет собой совершенно иной жанр — это своего рода эпистолярный роман, создававшийся на протяжении целого полувека: "Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. *Письма 1925–1975 и другие свидетельства*" (пер. с нем. А. Б. Григорьева. — М.: Издательство Института Гайдара, 2015. — 456 с.). Впрочем, перепиской оказались охвачены далеко не все эти годы. Книга делится на три части. Первая называется "Взгляд"; основную ее часть составляют письма 1925 года, то есть того времени, когда Арендт была студенткой Хайдеггера в Марбургском университете. Вторая часть — это "Второй взгляд", четверть века спустя: здесь представлены письма 1950-го и нескольких последующих годов. Ну а третья часть, еще четверть века спустя, называется "Осень" — это завершающий период их

отношений, с 1966 по 1975 годы.

Своего рода мотто к этой книге можно считать цитируемое в ней высказывание Поля Валери: “Иногда я мыслю; иногда существую”. Письма двух крупнейших интеллектуалов XX века друг другу представляют собой чистый продукт мышления, практически освобожденный от внешних “оков” материального существования. И, конечно же, особый интерес представляет то, что для обоих участников этой переписки рефлексия о сущности бытия человека в мире была основным профессиональным занятием, а здесь абстрактные размышления приобретают дополнительное, чисто человеческое, а следовательно – более конкретное измерение.

И тут невозможно удержаться от некоей прямолинейной, лобовой (и поэтому слегка претенциозной) метафорической ассоциации: эта переписка представляет собой своего рода “приложение” к самому известному философскому труду Хайдеггера “Бытие и время”, вышедшему в 1927 году, как раз в начальный период отношений с Ханной Арендт. То есть вначале было “Бытие и время”, а за ним последовали и время, и бытие.

Немецкая литература на страницах "ИЛ" [2009–2014]

2009

Ночь, когда пала Стена. Специальный номер [10]

2010

Мюллер Герта — *Рассказы из сборника "Низины".* Перевод с немецкого Марка Белорусца [1]

Шмидт Арно — *Левиафан, или Лучший из миров.* Рассказ. Перевод с немецкого Евгения Воропаева. Вступление Мариуса Фрэнцеля. Послесловие Татьяны Баскаковой [5]

Дёблин Альфред — *Горы моря и гиганты.* Фрагмент романа. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой [8]

Йиргль Райнхард — *В открытом море.* Роман сечений. Фрагменты. Перевод с немецкого и вступление Т. Баскаковой [9]

Энценсбергер Ханс Магнус — *Стихи из сборников "История облаков" и "Ребус".* Перевод с немецкого Н. Васильевой [9]

2011

Немецкое кабаре 20–30-х годов. Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс [2]

Немецкий экспрессионизм. Специальный номер [4]

Бенн Готфрид — *Позднее Я.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алексея Рашбы [4]

Бенн Готфрид — *Эпилог и лирическое Я.* Эссе. Перевод с немецкого, вступление и послесловие Татьяны Баскаковой [4]

Больдт Пауль — *Жеребята.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева [4]

Больдт Пауль — *Лунный свет.* Прозаическая миниатюра. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Дёблин Альфред — *Футуристическая словесная техника.* Открытое обращение к Ф. Т. Маринетти. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой [4]

Дёблин Альфред — *Убийство одуванчика.* Рассказ. Перевод с немецкого и вступление Татьяны Баскаковой [4]

Клемм Вильгельм — *Магическое бегство.* Стихотворения. Перевод с немецкого Евгения Воропаева, Татьяны Баскаковой [4]

Ласкер-Шюлер Эльза — *Когда б сердце мое было здорово...* Прозаическая миниатюра. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Ласкер-Шюлер Эльза — *За деревьями таюсь я.* Стихотворения. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Лихтенштейн Альфред — *Разговор о ногах. Из набросков к новелле "Кафе 'Клёцка'". Кафе "Клёцка". Куно Коэн.* Малая проза. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Лихтенштейн Альфред — *А ну-ка я надену канотье...* Стихотворения. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева [4]

Лихтенштейн Альфред — *Стихи Альфреда Лихтенштейна.* Эссе. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Пинтус Курт — *Начать с того...* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Пинтус Курт — *Сорок лет спустя.* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Райнер Вальтер — *Кокаин.* Рассказ. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Шрейер Лотар — *Экспрессионистская поэзия.* Эссе. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Штрамм Аугуст — *Эскизы.* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой, Анатолия Егоршева [4]

Штрамм Аугуст — *Крещение огнем.* Стихотворения. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева, Евгения Воропаева [4]

Эйнштейн Карл — *Бебюкин, или Дилетанты чуда.* Роман. Перевод с немецкого Евгения Воропаева. Вступление Татьяны Баскаковой[4]

Эйнштейн Карл — *О романе.* Заметки. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [4]

Эренштейн Альберт — *Тубуч.* Новелла. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [4]

Веллерсхоф Дитер — *Катастрофа.* Глава из книги "Чрезвычайное положение. Война глазами очевидца" и авторское предисловие, написанное специально для читателей "ИЛ". Перевод с немецкого и вступление Наталии Васильевой [6]

Голль Иван — *Стихи.* Вступление Клэр Голль. Перевод с немецкого и послесловие Вальдемара Вебера [9]

2012

Из современной немецкой поэзии. Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс [5]

2013

Кляйн Георг — *Будущее.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева [1]

Герман Готфрид — *Ямбы и эпиграммы неизвестного эллина.* Перевод с немецкого и вступление Александра Эстиса [4]

Квилт Линда — *Жуткие чудо-дети. Три правдивые истории, которые могут послужить предупреждением беспечным родителям.* Перевод с немецкого и послесловие Наталии Васильевой [4]

Фульд Вернер — *Энциклопедия фальсификаций.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого Наталии Васильевой [4]

Энценсбергер Ханс Магнус — *Несколько замечаний относительно Линды и Ко.* Перевод с немецкого Наталии Васильевой [4]

2014

Юнгер Эрнст	*Африканские игры.* Повесть. Перевод с немецкого Евгения Воропаева [1—2]
Ленц Зигфрид	*Перспективная работа.* Рассказ. Перевод с немецкого Л. Бухова [2]
Хайденрайх Эльке	*Любовь и колбаса.* Рассказ. Перевод с немецкого Елены Леенсон [3]
Мюллер Герта	*Человек в этом мире – большой фазан.* Повесть. Перевод с немецкого Марка Белорусца [4]
Клемм Вильгельм, Георг Тракль, Август Штрамм	*Стихи.* Перевод с немецкого Алёши Прокопьева [8]
Штраус Бото	*Неожиданное возвращение.* Пьеса. Перевод с немецкого и вступление Владимира Колязина [9]
Кельнер Фридрих	*Одураченные.* Из дневников (1939—1945). Перевод с немецкого Анатолия Егоршева [10]

Анна Вимшнайдер
Anna Wimschneider
[1919–1993]. Родилась и всю жизнь прожила в Баварии, занималась крестьянским трудом.

В 1985 г. написала автобиографическую книгу *Осеннее молоко. Воспоминания крестьянки.* В 1988 г. по ней был снят фильм [режиссер Йозеф Вильсмайер]. После экранизации книга стала бестселлером – до 1995 г. было продано более двух миллионов экземпляров, – переведена на многие языки.
Перевод фрагментов книги выполнен по изданию *Осеннее молоко. Воспоминания крестьянки* [*Herbstmilch. Lebenserinnerungen einer Bäuerin.* München–Zürich: Piper Verlag, 1987].

Маргарет Бубер-Нойман
Margarete Buber-Neumann
[1901–1989]. Немецкая коммунистка, писательница. В конце 20-х гг. вступает в КПГ, работает в журнале Коминтерна *Инпрекор.* С 1928 г. – гражданская жена немецкого коммуниста и журналиста Хайнца Ноймана. Вместе с ним, по заданию Коминтерна, едет в Испанию, Швейцарию и СССР. В 1937 г. в Москве Хайнца арестовывают и расстреливают. В 1938-м Маргарет отправляют в лагерь под Карагандой. В 1940-м с группой других немецких заключенных ее передают Германии. Как коммунистка, она пять лет проводит в немецком концентрационном лагере в Равенсбрюке. Освобождена 21 апреля 1945 г.

После войны выпускает ряд книг-свидетельств: *В заключении у Сталина и Гитлера. В кромешной темноте* [*Als Gefangene bei Stalin und Hitler. Eine Welt im Dunkel,* 1949], *Милена, подруга Кафки* [*Milena, Kafkas Freundin,* 1963], *Мировая революция и сталинский режим* [*Kriegsschauplätze der Weltrevolution,* 1967; рус. перев. 1995], *Потушенное пламя: Судьбы моей эпохи* [*Die erloschene Flamme: Schicksäle meiner Zeit,* 1976].
Перевод фрагментов книги *От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений,* вышедшей впервые в 1957 г., выполнен по изданию *Von Potsdam nach Moskau. Stationen eines Irrweges* [Ullstein-Sachbuch, 1990].

Марсель Райх-Раницки
[наст. фамилия Райх] Marcel Reich-Ranicki
[1920–2013]. Ведущий немецкий литературный критик и публи-

Автор множества книг и статей, в том числе мемуаров *Моя Жизнь* [*Mein Leben,* 1999; рус. перев. 2002].
Перевод очерка *Годы в долг* [*Geliehene Jahre*] выполнен по изданию *Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей / Сост. М. Райх-Раницки* [*Meine Schulzeit im Dritten Reich.*

цист. Обладатель Большого Креста со Звездой за заслуги перед Германией [2003], лауреат многих премий, в том числе премии культуры Европы [2004]. Родился на территории Польши в еврейской семье. В 1929 г. семья переехала в Берлин, в 1938-м — выслана обратно в Польшу. Вместе с женой Марселю удалось бежать из варшавского гетто, родители и брат были убиты. После освобождения Варшавы Марсель вступил в компартию и работал в польской спецслужбе. В 1958-м вернулся в Германию. В 1960—1973 гг. — литературный критик в газете *Ди Цайт*, в 1973—1988 гг. — ведущий сотрудник *Франкфуртер альгемайне цайтунг*, с 1988 по 2001 г. — автор и ведущий телепередачи *Литературный квартет*, получил прозвище *Папа Римский немецкой литературы*.

Erinnerungen deutscher Schriftsteller, hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1983, 1988].

Георг Хензель
Georg Hensel
[1923—1996]. Немецкий писатель, театральный критик. Лауреат премии имени Эгона Эрвина Киша [1982]. С 1984 г. — член Немецкой академии языка и поэзии. С 1975 г. — театральный критик *Франкфуртер альгемайне цайтунг*.

Автор ряда театроведческих книг, в том числе *Репертуар. Путеводитель по драматургии от античности до наших дней* [*Spielplan. Der Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart*, 1966], повести *Ночное путешествие* [*Nachtfahrt*, 1949], книги воспоминаний *Везение – сцены из жизни* [*Glück gehabt – Szenen aus einem Leben*, 1994].
Перевод очерка *Мешок на голове* [*Der Sack über dem Kopf*] выполнен по изданию *Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей / Сост. М. Райх-Раницки* [*Meine Schulzeit im Dritten Reich. Erinnerungen deutscher Schriftsteller, hrsg. v. M. Reich-Ranicki.* Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1983, 1988].

Йоахим Фест
Joachim Fest
[1926—2006]. Немецкий историк, журналист и писатель. Лауре-

Автор ряда биографий и книг по истории, в том числе: *Лицо Третьего рейха. Профиль тоталитарного общества* [*Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Gesellschaft*, 1963], *Гитлер. Биография* [*Hitler. Eine Biographie*, 1973], *Падение. Гитлер и*

ат премий имени Томаса Манна [1981], Эрхарда [2003], Ойгена Больца [за раскрытие роли немецкого сопротивления, 2004]. С начала 1950-х гг. — активный член Христианско-демократического союза. С 1963 по 1968 гг. — шеф-редактор Северогерманского радио. Затем редактор, а с 1973 г. — соиздатель *Франкфуртер альгемайне цайтунг.*

крах Третьего рейха [*Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches*, 2002] и др.
Перевод очерка *Счастливые годы* [*Glückliche Jahre*] выполнен по изданию *Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей / Сост. М. Райх-Раницки* [*Meine Schulzeit im Dritten Reich. Erinnerungen deutscher Schriftsteller, hrsg. v. M. Reich-Ranicki.* Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1983, 1988].

Гюнтер Кунерт
Günter Kunert
[р. 1929]. Немецкий писатель, поэт, драматург и художник. Обладатель Большого Креста со Звездой за заслуги перед Германией [2012], лауреат многих премий, в том числе премий Франкфуртской антологии [2011], имени Георга Тракля [1997] и др. Почетный член объединения *Немецкий язык* в Дортмунде [с 2010]. После окончания войны учился, а затем работал в ГДР. В 1972–1973 гг. подписал письмо в защиту барда и диссидента Вольфа Бирмана, после чего подвергся гонениям. В 1979 г. ему разрешили переехать в ФРГ.

Автор многих статей, книг прозы и стихов. На русский язык переведен его рассказ *Марсианин* [*Der Mann von Mars*, 1954; перев. 1970].
Перевод очерка *Мучение* [*Die Tortur*] выполнен по изданию *Мои школьные годы в третьем Рейхе. Воспоминания немецких писателей / Сост. М. Райх-Раницки* [*Meine Schulzeit im Dritten Reich. Erinnerungen deutscher Schriftsteller, hrsg. v. M. Reich-Ranicki.* Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1983, 1988].

Барбара Кёниг
Barbara König
[1925–2011]. Немецкая писательница, журналистка и сценарист. Обладательница Баварского ордена *За заслуги* [2005], ордена *За заслуги перед ФРГ* [1994], лауреат премии *Тукан* [Мюнхен, 1983] и др.

Автор повести *Ребенок и его тень* [*Das Kind und sein Schatten*, 1958], романов *Щебень* [*Kies*, 1961], *Человеческий человек* [*Die Personenperson*, 1965], *Прекрасный день, 13-е* [*Schöner Tag, dieser 13*, 1973] и др.
Перевод очерка *Упущенная возможность* [*Die verpasste Chance*] выполнен по изданию *Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей / Сост. М. Райх-Раницки* [*Meine Schulzeit im Dritten Reich. Erinnerungen deutscher Schriftsteller, hrsg. v. M. Reich-Ranicki.* Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1983, 1988].

Герхард Никау
Gerhard Nieckau
[р. 1923]. Немецкий радиожурналист. В 1944–1955 гг. – советский военнопленный. Приговорен к 12 годам лагерей. После пребывания в лагере для военнопленных отправлен на Лубянку. После освобождения работал в Германии автором и звукооператором на радио.

Написал книгу воспоминаний о ГУЛАГе. Перевод глав из этой книги выполнен по изданию *В ГУЛАГе. Записки военнопленного из советских лагерей* [*Im GULAG. Aus der Kriegsgefangenschaft ins sowjetische Arbeitslager.* Augsburg Weltbild Verlag, 2007].

Алоиз Принц
Alois Prinz
[р. 1958]. Немецкий писатель и журналист. Лауреат ряда премий, в том числе Немецкой премии за книги для юношества [2004], Евангелической литературной премии [2001] и др.

Автор книг *"Тереза Авильская". Биография* [*"Teresa von Avila". Die Biographie*, 2014], *Иисус из Назарета* [*Jesus von Nazaret*, 2013], *Поджигатель. Биография Йозефа Геббельса* [*Der Brandstifter. Die Lebensgeschichte des Joseph Goebbels*, 2011] и др.
Фрагменты книги *Ханна Арендт, или Любовь к Миру* переведены по изданию *Hannah Arendt oder die Liebe zur Welt* [Insel Verlag, 2013].

Рюдигер фон Фрич
Rüdiger von Fritsch
[р. 1953]. Немецкий дипломат. Посол Германии в России с марта 2014 г.

Автор книги воспоминаний о побеге своего двоюродного брата из ГДР в ФРГ.
Перевод фрагментов книги *Штемпель в свободный мир* выполнен по изданию *Дело Тома – побег в Германию* [*Die Sache mit Tom – eine Flucht in Deutschland.* Wjs Verlag, 2009].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008]. Кандидат филологических наук. Лауреат пре-

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

мий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики номера

Елена Ильинична Леенсон
Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

Автор книги *Таганка: Личное дело одного театра* [в соавторстве с Е. Абелюк и Ю. Любимовым, 2007]. В ее переводе вышли книги Й. Шубигера *Где лежит море?* [2013], У. Хуба *Ковчег отходит ровно в восемь* [2013]. В *ИЛ* в ее переводе напечатан рассказ Э. Хайденрайх *Любовь и колбаса* [2014, № 3].

Дарья Алексеевна Андреева
Писательница, переводчик с немецкого и английского языков.

Автор романа *Личная война Павла* [2013]. В ее переводе вышла книга Ф. Вехтера *Летающий Якоб* [2014, № 3], рассказы Ф. Хоппе [2013].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Сергеевна Алексеева
Переводчик с немецкого. Профессор кафедры перевода РГПУ имени Герцена, проректор по науке института иностранных языков Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода РГПУ имени Герцена.

Автор ряда книг по теории перевода и методике обучения переводчиков, среди них *Теория перевода* [1998], *Устный перевод. Немецкий язык* [2002], *Введение в переводоведение* [2004], *Текст и перевод* [2008] и др. В ее переводе выходили произведения Л. Тика, Э.-Т.-А. Гофмана, Г. Келлера, Г. Гауптмана, Г. Тракля, Г. Гессе, Г. Броха, Р. Музиля, Г. Бёлля, Э. Елинек и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы статья В. Бишицки [2009, № 3] и роман Г. Майера *Бородино* [2013, № 11].

Ольга Александровна Теремкова
Переводчик с немецкого.

В ее переводе вышли рассказы Ф. Хоппе *Живая изгородь* и *Свидетели* из сборника *Пикник парикмахеров* [2013], книга Й. Зёнтгена *От звезды до росинки. 120 удивительных явлений природы* [2014]. Автор научных статей, посвященных проблемам перевода рок-поэзии.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Александровна Торгашина
Переводчик с немецкого.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Андреевна Иванова
Переводчик с немецкого. Многократный призер Санкт-Петербургского конкурса молодых переводчиков *Sensum de Sensu* [2013, 2014].

В ее переводе вышел рассказ А. Пент *Лили и Дани* из книги *Привыкнуть друг к другу можно и без слов* [2014] и книга Р. Нахтигаля *Мурманская железная дорога (1915—1919 годы)* [2011].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Вера Менис
Музыкант, переводчик с немецкого.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Лазаревна Щербакова
Историк, германист, переводчик с немецкого. Обладатель Креста за заслуги от правительства ФРГ [2005]. Руководитель образовательных программ Международного общества *Мемориал*, школьного проекта Всероссийский ежегодный исторический конкурс для старшеклассников *Человек в истории. Россия — XX век.*

Автор многих книг и статей. В *ИЛ* в ее переводе опубликован роман Ю. Брезана *Портрет отца* и интервью с автором [1984, № 9] и рассказы немецких писателей [1976, № 9; 2004, № 11].

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Инолит* [1996], имени Жуковского [2002], премии за лучший перевод немецкой литературы [2014], *Мастер* [2014].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5—7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Вилленброк* К. Хайна [2001, № 7, 8], *Письма Ф. Кафки Фелиции Бауэр* [2003, № 2], книга У. Тимма *На примере брата* [2004, № 11], рассказ Г. Кляйна *Нойма* [2009, № 10], пьеса Т. Бернхарда *Знаменитые* [2010, № 2], фрагменты романа М. Кумпфмюллера *Великолепие жизни* [2012, № 10], фрагменты статей Й. Рота *Берлинские очерки* [2013, № 1] и др.

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Георга Гросса [1893—1959] *Republica автоматов* [1920].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.3.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 8274.
Тираж 3200 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат'
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[5] 2015

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “Я В БЕРЛИНЕ. СИДОРОВ” / ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ: ГЛАВЫ ИЗ БИОГРАФИИ “ГЕНРИ МИЛЛЕР” АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА / “ЯЗЫКИ КОЛИБРИ” — ИЗ АНТОЛОГИИ ИСПАНСКИХ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ МИКРОРАССКАЗОВ / ПИСЬМА К ДОЧЕРИ МАДАМ ДЕ СЕВИНЬЕ В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2015, №4, 1–288

15004
9 770130 654770